



S. A. Venegerow
C. A. ВЕНГЕРОВЪ.

КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ

(ОТЪ НАЧАЛА РУССКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ ДО НАШИХЪ ДНЕЙ).

Кромъ С. А. Венгерова, которому принадлежатъ статьи историко-литературного и критического характера и всѣ вообще неподписанные статьи, въ словарь принимаютъ участіе специалисты по разнымъ отраслямъ знанія.

Т о мъ I.

Выпуски 1 — 21.

A.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Семёновская Типо-Литографія (И. Ефона), Фонтанка № 84.

1889.

Digitized by Google

зательность не ограничивается предѣлами его тѣла, но можетъ воспринимать впечатлѣнія, какъ психическая, такъ и физическая, безъ обычнаго посредства внѣшнихъ чувствъ, и, въ свою очередь, можетъ воздѣйствовать, не только психически, но и физически (на предметы внѣшняго міра), безъ того же посредства тѣлесныхъ органовъ. Разъ признавши реальность медуническихъ фактовъ, такой выводъ— въ общемъ положеніи — неизбѣженъ; онъ на столько разнится отъ установленнаго понятія о человѣческой природѣ, что всеобщее признаніе его не можетъ не имѣть коренного значения въ разрѣшеніи величайшаго вопроса о сущности нашего бытія. Гартманъ, недавно выступившій защищникомъ [помянутыхъ фактовъ, но обличителемъ несостоятельности спиритической гипотезы, былъ вынужденъ построить все свое толкованіе на широкомъ развитіи этого самаго положенія, которое было высказано мною подробнѣе въ брошюре моей «Позитивизмъ въ области спиритуализма», стр. 225—28.]

- *Иванъ Сергеевичъ.* См. послѣ Конст. Серг. Аксакова.
- *Константина Сергеевича.* См. послѣ Серг. Тимоф. Аксакова.
- *Николай Петровичъ.* См. Дополненія къ I тому.

— *Сергий Тимофеевичъ* †), первый по времени представитель семьи Аксаковыхъ въ литературѣ. Крайне нервнымъ ребенкомъ родился онъ въ Уфѣ 20 Сентября 1791 года. Кто читалъ «Семейную

†) Биографический свѣдѣнія о немъ: 1) „Моск. Вѣд.“ 1859 № 149. 2) „Библ. д. Чтенія“ 1859, № 6. 2) „Рус. Дневникъ“ 1859, № 99, 109 и 141. 3) *A. Жемчужниковъ* въ „Моск. Вѣд.“ 1856, № 112. 4) *Хомяковъ*, въ „Русск. Бесѣдѣ“ т. XV. 5) *M. Ф.* въ „Сѣв. Цвѣткѣ“ 1859, № 27. 6) *Лонгиновъ*, въ „Русск. Вѣсти“ 1859 г. № 8. 7) *Онѣ-же*, въ „Энцикл. Словарѣ“, изд. русск. писателями и учеными, т. II, и въ № 109 и 145 „Моск. Вѣд.“ 1859 (отвѣты *Ксенофонту Полевому*). 8) *Ксенофонтъ Полевой*, въ „Сѣв. Пчелѣ“ 1859 г., № 82 и 129. 9) Энциклопед. словари Березина, Толя, Brockhaus'a Meyer'a и др.

Отзывы о его литературной дѣятельности: О „Семейной Хроникѣ“ и „Воспоминаніяхъ“. 1) *П. Анненковъ*, въ „Современникѣ“ 1856, т. 56, отд. III, стр. 1—24. 2) *Перепеч.* отзыва о „Сем. Хр.“ въ „Revue des deux Mondes“, въ „Совр.“ 1857 г. № 9. 3) *Н. Г-*овъ, въ „Русск. Бесѣдѣ“ 1856, № 1, стр. 1—69. 4) „Отеч. Зап.“ 1854, т. 94, отд. 4, стр. 59—60. 5) *Тамъ-же*, 1855, т. 104, отд. 5, стр. 91. 6) *С. Дудышкинъ* въ „Отеч. Зап.“ 1856, № 4, стр. 69—90. 7) *Тамъ-же*, 1857, т. 110, отд. 2, стр. 50—51. 8) *Ф. Дмитриевъ* въ „Русск. Вѣсти“ 1856, № 7, стр. 461—481. 9) „Русск. Вѣсти“ 1856, № 3, стр. 159 и № 5, стр. 44—50. 10) *К. П.* (*Ксенофонтъ Полевой*) въ „Сѣв. Пчелѣ“ 1856, № 52. 11) *Моск. Вѣд.* № 39, статьяка „Взглядъ нѣмецкаго критика на русскую литературу“. 12) *С. А. Рачинскій* въ „Библіогр. Зап.“ 1858, № 8 (тоже обѣ отзывахъ нѣмецк. критики обѣ „Семейной Хроникѣ“). 13) Рядъ предисловій *Ивана Аксакова* къ разнымъ изданіямъ „Сем. Хр.“ Всѣ въшли въ послѣднее полное собраніе сочиненій Сергѣя Тимофеевича. 4) „Jahreszeiten“ 1857 № 52. 15) „Literaturblatt d. deutschen Kunsthall“ 1858, № 1, 16) *Blätter f. liter. Unterhaltung* 1859, № 21. 17) „Dresdener Journal“ 1858, № 93. 18) „Oesterreichische

Хронику», тотъ помнить до какихъ чрезвычайныхъ проявлений доходила болѣзньенная впечатлительность маленькаго Багрова. Это черта автобиографическая, какъ и все остальное въ «Семейной Хроникѣ» и «Дѣтскихъ годахъ Багрова-внука», гдѣ надо только подставить вмѣсто Багровыхъ Аксаковыхъ и вмѣсто Куролесовыхъ Куроѣдовъ, чтобы получить правдивую лѣтопись событий первыхъ лѣтъ жизни Сергея Тимофеевича и обстоятельствъ, предшествовавшихъ появлению его на свѣтъ. Обаятельная фигура интеллигентной, увлекательно-краснорѣчивой, красивой, энергичной и вмѣсть съ тѣмъ безумно-нѣжной матери маленькаго Багрова несомнѣнно отзывается значительною идеализациею, вполнѣ естественной въ сынѣ, отвѣчавшемъ матери не менѣе безумною любовью. Но мать Сергея Тимофеевича (дочь важнаго оренбургскаго чиновника Зубова) и въ самомъ дѣлѣ была женщина недюжиннаго ума и сердца. И если до-

Zeitung 1858, № 172. 19) N. Zürcher Zeitung 1858 № 238 и 239. 20) „Библіот. для Чтенія“ 1856, т. 136, стр. 20—32. 21) „Русск. Вѣстн.“ 1858, № 6, стр. 199—120.

О „Дѣтскихъ годахъ Багрова-внука“: 1) С. Шевыревъ въ „Рус. Бесѣдѣ“ 1858. № 10, стр. 63—92. 2) „Атеней“ 1858 г. № 14, стр. 337—357. 3) Добролюбовъ, т. I, стр. 344—386. 4) А. Бекетовъ, въ „Рус. Вѣстн.“ 1858, № 6, стр. 99—104. 5) „Библіографическ. Зап.“ 1858 № 3. 6) М. Лонгиновъ въ „Моск. Вѣд.“ 1858. № 8. 7) „Дѣ-Пулле, Тамъ-же № 54. 8) „Моск. Обозр.“ 1859 № 1.

О „Разныхъ сочиненіяхъ“: 1) М. Лонгиновъ въ „Моск. Вѣд.“ 1858 г., № 156. 2) „Библ. для Чтенія“ 1859 № 3, стр. 16—23. 3) Добролюбовъ, т. I, стр. 886—400. 4) Т. Л. въ „Отеч. Зап.“ 1859, № 2, стр. 123—129. 5) Лонгиновъ, М. въ „Моск. Вѣд.“ 1859 № 109 и 145. 6) А. Г. въ „Рус. Сл.“ 1859, № 4, стр. 72. 6) Ксеноф. Полевой въ „Сѣв. Пчелѣ“ 1859 г. № 129 и 169.

О „Запискахъ объ уженьи“: 1) „Библ. для Чт.“ 1847 т. 82, отд. 6, стр. 42—47. 2) „Москвит.“ 1854 т. 2, № 7, кн. 1, стр. 129—131. 3) „Соврем.“ 1847, № 6, отд. 3, стр. 113—114. 4) „Финс. Вѣстн.“ 1847, т. 18, отд. 5, стр. 1—4. 5) „Моск. Вѣд.“ 1854, № 28. 6) „Труды И. В. Эк. Общ.“ 1854, т. 2, отд. 3, стр. 98—99. 7) „Соврем.“ 1857, т. 61, стр. 43.

О „Запискахъ ружейна охотника“: 1) „Москвит.“ 1852, № 8, кн. 2, стр. 106—120. 2) „Отеч. Зап.“ 1852, № 5, стр. 25—27. 3) Ив. С. Тургеневъ въ „Соврем.“ 1853 т. 37, стр. 38—44. Перепечатано въ X томѣ сочиненій Т. 4) „Сынъ Отеч.“ 1852, кн. 10, стр. 1—10. 5) Кл. въ „Сѣв. Пч.“ 1852 № 103. 6) „Труды И. В. Эк. Общ.“ 1852, т. 2, стр. 52—69.

О „Разсказахъ и воспомин. охотника о разныхъ охотахъ“: 1) „Соврем.“ 1855. № 6, т. 51, стр. 55—64. 2) „Москвит.“ 1855, № 5, кн. 1, стр. 125—136. 3) „Отеч. Зап.“ 1855, № 7. 4) „Спб. Вѣд.“ 1855, № 197. 5) „Труды Имп. В. Эк. Общ. 1855, т. 2, отд. 3, стр. 2—3.

Переводы на иностранные языки: 1) На нѣмецкій яз.: „Familien Chronik.“ пер. С. Рачинского изд. въ Лейпцигѣ 1858. 2) На чешскій: Rodinná Kronika. Z ruského preložil I. S. Tomicek Praha 1864. 3) На англійскій: „Memoirs of the Aksakov family. A sketch of russian rural life 70 years ago. Translated in to Englisch by a Russian Lady. Calcutta. 1871.

пустить, что интеллектуальные способности знаменитый писатель унаследовал непосредственно от родителей, то во всяком случае не от мало замѣтного и неблиставшаго умомъ добродушнаго отца, а отъ умной, весьма по тому времени образованной и полной высшихъ стремлений матушки своей. Она была не особенно счастлива въ семейной жизни, бракъ былъ не совсѣмъ равный для такой блестящей женщины и потому весь пыль своего страстнаго сердца молодая мать направила на воспитаніе сына. Уже по четвертому году научила она его грамотѣ и что только можно было достать, маленький Аксаковъ перечиталъ въ раннемъ дѣтствѣ. Но понимая, что на домашнемъ образованіи далеко не уѣдешь, мать рѣшилась на героическую съ ея стороны жертву—разстаться съ сыномъ и отдать его въ казанскую гимназию. Чтобы выяснить значение этой жертвы, намъ опять приходится сослаться на самого Аксакова, на тѣ глубоко-трогательныя страницы «Воспоминаній», въ которыхъ описывается его разставаніе съ матерью. Разлука чуть не стоила жизни и сыну и матери. У маленькаго Аксакова отъ тоски по матери появилось нѣчто очень близкое къ падучей болѣзни, мать вся изныла по сынѣ, составлявшемъ единственное свѣтлое мѣсто ея не-веселой жизни среди враждебно къ ней относившейся семьи мужа, непереваривавшей ея превосходства. Сосредоточила она теперь все свое душевное существованіе на письмахъ изъ Казани, а чтобы быть вполнѣ увѣренною, что отъ нея ничего не будетъ скрыто, она заставила дядьку маленькаго Аксакова—Евсеича побожиться передъ образомъ, что онъ увѣдомить ее, если его питомецъ заболѣть. Долго крѣпился вѣрный дядька, не хотѣлъ пугать мать, но когда нервные припадки маленькаго гимназиста приняли угрожающіе размѣры, онъ обо всемъ отписалъ въ Аксаково. «Письмо шло довольно долго и пришло въ деревню во время совершенной распутницы, о которой около Москвы не могутъ имѣть и понятія; дорога прорывалась на каждомъ шагу, и во всякомъ долочкѣ была зажора, т. е. снѣгъ, насыщенный водою:ѣхать было почти невозможно». Но ничто не могло удержать обезумѣвшую мать. «Она выѣхала въ тотъ же день въ Казань, съ своей Параши и молодымъ мужемъ ея, Федоромъ,ѣхали день и ночь на перемѣнныхъ крестьянскихъ, неподкованныхъ лошадяхъ, въ простыхъ крестьянскихъ саняхъ». Дорога была такъ ужасна, что подвигаться впередъ можно было только шагомъ.

«Въ десять дней» разсказываетъ далѣе Аксаковъ «дотащилась моя мать до большого села Мурзихи на берегу Камы; здѣсь вышла уже большая почтовая дорога, крѣпче уѣзженная, а потомуѣхать по ней представлялось болѣе возможно-

сти, но за то изъ Мурзихъ надобно было перебѣхать черезъ Каму, чтобы попасть въ село Шуранъ, находящееся въ 80 верстахъ отъ Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посыпѣла; наканунѣ перенесли черезъ нее на рукахъ почту; но въ ночь пошелъ дождь и никто не соглашался переправить мою мать и ея спутниковъ на другую сторону. Мать моя принуждена была почевать въ Мурзихѣ; боясь каждой минуты промедленія, она сама ходила изъ дома въ домъ по деревнѣ и умоляла добрыхъ людей помочь ей, рассказывала свое горе и предлагала въ вознагражденіе все, что имѣла. Нашлись добрые и сильные люди, понимавшіе материнское сердце, которые обѣщали ей, что если дождь въ ночь уйметься и къ утру хоть крошечку подмерзнетъ, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмутъ то, что она пожалуетъ имъ за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя на колѣняхъ передъ образомъ той избы, гдѣ провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана: вѣтъ разогналъ облака и къ утру морозъ высушилъ дорогу и тонкимъ ледочкомъ затянулъ лужи. На зарѣ шестеро молодцовъ, рыбаковъ по промыслу, выросшихъ на Камѣ и привыкшихъ обходиться съ нею во всякихъ ея видахъ, каждый съ шестомъ или багромъ, привязавъ за спину нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крестъ, взяли подъ руки обѣихъ женщинъ, обутыхъ въ мужские сапоги, дали шесть Федору, поручивъ ему тащить чуманъ, т. е. широкій лубокъ, загнутый спереди къ верху и привязанный на веревкѣ, взятый на тотъ случай, что неровно барыня устанетъ—и отправились въ путь, пустившись впередъ самого расторопнаго изъ своихъ товарищей для ощупыванія дороги. Дорога лежала вкося и надобно было пройти около трехъ верстъ. Переходить черезъ огромную рѣку въ такое время такъ страшенье, что только привычный человѣкъ можетъ совершить его, не теряя бодрости и присутствія духа. Федоръ и Параша просто ревѣли, прощались съ бѣльемъ свѣтомъ и со всѣми родными, и въ иныхъ мѣстахъ надобно было силою заставлять ихъ идти впередъ, но мать моя съ каждымъ шагомъ становилась бодрѣ и даже веселѣ. Провожатые проглядывали на нее и привѣтливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыни, перебираться, по сложеннымъ вмѣстѣ шестамъ, черезъ трещины; мать моя ни за что не хотѣла сѣсть на чуманъ, и только тогда, когда дорога, подошедъ къ противоположной сторонѣ, пошла возвѣдь самаго берега по мелкому мѣсту, когда вся опасность миновала, она почувствовала слабость; сей-часъ постали на чуманъ мѣховое одѣяло, положили подушки, мать легла на него, какъ на постель, и почти лишилась чувствъ: въ такомъ положеніи дотащили ее до ямскаго двора въ Шуранѣ. Мать моя дала сто рублей своимъ провожатымъ, то есть половину своихъ наличныхъ денегъ, но честные люди не захотѣли ими воспользоваться; они взяли по синенской на брата (по пяти рублей ассигнаціями). Съ изумлениемъ слушая изъявленіе горячей благодарности и благословенія моей матери, они сказали ей на прощанье: «дай вамъ Богъ благополучно доѣхать» и немедленно отправились домой, потому что мѣшкатъ было некогда: рѣка прошла на другой день.

Кромѣ этого трогательнаго эпизода, въ которомъ съ такою яростью сказалось, что на человѣка заразительно дѣйствуетъ не только зло, но и добро, поѣздка матери къ больному сыну ознаменовалась еще цѣлымъ рядомъ другихъ проявлений какъ силы материнскаго чувства, такъ и горячаго участія къ нему со стороны разныхъ лицъ, близкихъ къ казанской гимназіи. Кончилось тѣмъ, что

увеали «нѣженку» обратно въ деревню. Черезъ годъ, однако, благоразуміе взяло верхъ и въ 1801 г. Сергій Тимофеевичъ уже окончательно надѣль на себя гимназіческій мундиръ.

Уровень преподаванія не особенно высоко стоялъ въ казанской гимназіи и только двое изъ учителей, воспитанники московскаго университета И. И. Запольскій и Г. И. Карташевскій, выдавались своими познаніями. У обоихъ изъ нихъ Аксаковъ жилъ въ качествѣ пансионера и въ воспоминаніяхъ своихъ онъ удѣляетъ имъ, наравнѣ съ надзирателемъ В. П. Упадышевскимъ и учителемъ русскаго языка Ибрагимовымъ, очень много места. Въ особенности близки были его отношенія къ умному и образованному Карташевскому, изъ простыхъ учителей прорвавшемуся сначала въ профессора казанскаго университета, затѣмъ въ директора Департамента Иностранныхъ исповѣданій, попечители Бѣлорусскаго округа и умершему въ 1840 г. въ званіи сенатора. Карташевскій впослѣдствіи близко породнился съ Аксаковымъ, женившись на сестрѣ его Наташѣ, той самой красавицѣ Наташѣ, исторія которой составляетъ сюжетъ неоконченной повѣсти того-же названія, продиктованной Сергіемъ Тимофеевичемъ не задолго до смерти.

Учился Аксаковъ въ гимназіи довольно хорошо, переходилъ въ нѣкоторые классы съ наградами и похвальными листами, а въ 1805 году, т. е. 14 лѣтъ отъ роду онъ уже попалъ въ студенты. Произошло это не потому, однако же, чтобы онъ отличался особенно раннимъ умственнымъ развитіемъ, а совершенно случайно. Осеню 1804 послѣдовалъ указъ объ открытии казанскаго университета. Какъ и всѣ почти русскіе университеты, университетъ казанскій основывался не потому, что въ немъ ощущался дѣйствительный недостатокъ, а въ той надеждѣ, что новый умственный центръ вызоветъ къ жизни и новыя умственные потребности. Надежда, конечно, оправдалась и уже черезъ нѣсколько лѣтъ новый университетъ выдвинулъ такихъ научныхъ дѣятелей, какъ Переvoщиковъ и Лобачевскій. Но на первыхъ-то порахъ дѣло имѣло ужасно жалкій видъ. Не было ни зданія, ни профессоровъ, ни студентовъ. И то, и другое и третье надо было создать экспромтомъ. И вотъ часть гимназіи была отдана подъ университетъ, часть преподавателей назначены профессорами, а лучшіе изъ учениковъ старшихъ классовъ «произведены» въ студенты. Благодаря протекціи Карташевскаго, въ число послѣднихъ попалъ и Аксаковъ, хотя самъ онъ сознается, что по познаніямъ своимъ далеко не заслуживалъ такого «производства» и, слушая университетскія лекціи, онъ въ то-же время весьма благоразумно продолжалъ по нѣкоторымъ предметамъ учиться въ гимназіи.

Лекціи въ новомъ университетѣ открылись осенью 1805 года въ самомъ хаотическомъ безпорядкѣ и «младенческомъ составѣ» профессоровъ, какъ говорить Аксаковъ. Раздѣленія на факультеты не было, да и могло-ли оно быть при 10 профессорахъ и 35 студентахъ? Всѣ студенты безразлично слушали: высшую математику, физику, логику, русскую и всеобщую исторію, натуральную исторію, латинскую и греческую литературу, химію, анатомію и вдобавокъ еще «какой-то толстый профессоръ Бюнеманъ читалъ право естественное, политическое и народное на французскомъ языке». Все это было очень великолѣпно на бумагѣ и еще великолѣпнѣе въ аттестатахъ, которые раздавали новоиспеченнымъ студентамъ. Про себя, напр., Аксаковъ разсказываетъ: «Въ началѣ 1807 года я оставилъ казанскій университетъ и получилъ аттестатъ съ прописаніемъ такихъ наукъ, какія я зналъ только по наслышкѣ и какихъ въ университетѣ еще не преподавали. Этого мало: въ аттестатѣ было сказано, что въ нѣкоторыхъ я «оказалъ значительные успѣхи», а нѣкоторыми «занимался съ похвальнымъ прилежаніемъ».

Въ другомъ мѣстѣ своихъ многочисленныхъ воспоминаній Аксаковъ съ неменѣе чистосердечною откровенностью говорить по поводу двухлѣтняго пребыванія своего въ университетѣ: «Мало вынесъ я научныхъ свѣдѣній изъ университета, не потому, что онъ былъ еще очень молодъ, не полонъ и не устроенъ, а потому, что я былъ слишкомъ молодъ и дѣтски увлекался въ разныя стороны страстью моей природы. Во всю жизнь чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній, и это много мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ, и въ литературныхъ занятіяхъ».

«Увлеченія», о которыхъ тутъ говорить Аксаковъ, очень невиннаго свойства, но онъ дѣйствительно предавался имъ съ такою страстью, и при томъ не только въ отрочествѣ, по и въ зрѣломъ и даже преклонномъ возрастѣ, что они имѣли самое рѣшающее вліяніе на весь ходъ его жизни, литературной по крайней мѣрѣ. Этихъ «увлеченій» у Аксакова было два — охота во всѣхъ ея видахъ, начиная съ собираанія бабочекъ и уженія рыбы и кончая травлею лисицъ и волковъ, и театръ. Тому и другому онъ посвящалъ какъ въ университетѣ, такъ и въ остальные годы своей долгой жизни столько душевныхъ силъ, что они не могли не пройти красною нитью чрезъ всю его литературную дѣятельность.

Вліяніе каждой изъ «страстей» Аксакова было неодинакового характера. Про страсть къ охотѣ можно сказать, что она-то и сдѣлала Аксакова настоящимъ писателемъ. Не только потому, что

успѣхъ охотничихъ его книгъ далъ ему толчекъ написать доставившую ему знаменитость «Семейную Хронику», но и потому, что тѣсное общеніе съ природой сообщило ему ту простоту и безъискусственность, ту сѣйчестъ и непосредственность чувства, то ясное, эпическое настроеніе духа, благодаря которымъ «Семейная Хроника» такъ обаятельно дѣйствуетъ на читателя.

Діаметрально противоположное приходится сказать о страсти Аксакова къ театру. Всякаго, знакомящагося съ литературною дѣятельностью автора «Семейной Хроники», поражаетъ необыкновенно поздній разцвѣтъ его таланта. Мы говоримъ *разцвѣтъ*, а не начало, потому что писать-то Сергій Тимофеевичъ началъ очень рано—лѣтъ въ 15. Очень рано также началь Аксаковъ «печататься», и къ тому времени, когда появились его «настоящія» произведенія, онъ успѣлъ даже занять довольно видное мѣсто среди московскихъ литераторовъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Вся эта, однако же, если можно такъ выразиться, предварительная литературная дѣятельность автора «Семейной Хроники» настолько ничтожна и настолько не похожа на послѣдующую дѣятельность его, что всякий историкъ литературы, привыкшій встрѣчаться въ ходѣ литературного творчества большинства другихъ писателей съ органическимъ ростомъ таланта, привыкшій видѣть органическую связь, органическую преемственность отдельныхъ фазисовъ литературного развитія въ духовной жизни другихъ писателей, всякий такой историкъ, говоримъ мы, становится рѣшительно въ тупицѣ, когда ему приходится соединять въ одно умственное цѣлое Аксакова тѣль пустыхъ статеекъ и бездарныхъ стихотвореній, которые составляютъ 4-й томъ полнаго собранія его сочиненій и Аксакова «Записокъ объ уженинѣ рыбы», «Записокъ ружейнаго охотника» и «Семейной Хроники».

Намъ кажется, что сколько-нибудь удовлетворительное решеніе этой историко-литературной загадки можетъ быть найдено только тогда, если согласиться съ тѣмъ, что страсть къ театру задержала естественный ростъ таланта Аксакова и направила его въ такую сторону, гдѣ особенности его оригинального дарованія не могли найти ни почвы, ни соковъ для своего развитія. Если мы внимательно прослѣдимъ біографію Сергія Тимофеевича, то непреминемъ убѣдиться, что страсть къ театру отвлекала его и отъ серьезнаго чтенія, и отъ серьезныхъ общественныхъ интересовъ, и, что самое худшее, ввела его въ кругъ людей крайне невысокаго умственного развитія и пошловатаго нравственного склада. Будь еще у Аксакова хоть тѣнь драматического дарованія, постоянное общеніе съ театраль-

нымъ міркомъ могло бы быть ему въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ полезнымъ, сообщило-бы ему напр. знаніе сцены. Но въ томъ то и дѣло, что за всю жизнь Сергій Тимофеевичъ, если не считать переводовъ, не обмолвился ни единой драматической строчкой и такимъ образомъ все его общеніе съ театральными сферами сводилось къ тому, что онъ вертѣлся за кулисами.

Какъ уже было сказано, театроманія Аксакова началась еще въ университѣтѣ. Нужно замѣтить, что если у него не было писательскаго драматического таланта, то за то у него былъ несомнѣнныи актерскій драматический талантъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ какъ собственные его разсказы о многочисленныхъ успѣхахъ на домашнихъ спектакляхъ, такъ и люди, которымъ приходилось слушать его одушевленную декламацію. Первый-же разъ, когда онъ продекламировалъ наставникамъ и товарищамъ своимъ отрывки изъ тогдашнихъ модныхъ пьесъ, онъ удостоился съ ихъ стороны самыхъ восторженныхъ отзывовъ. Молодое самолюбіе было до нельзяя пользо-щено этими похвалами и вотъ все свое время молодой Аксаковъ начинаетъ проводить или въ театрѣ, или въ приготовленіяхъ къ домашнимъ спектаклямъ. Главнымъ образомъ по его ініціативѣ, студенты устроили труппу и уже, конечно, перевенствующую роль въ ней игралъ Сергій Тимофеевичъ, вносившій въ эту затѣю весь пыль молодости и страстнаго увлеченія. Опять его встрѣтило шумное одобрение и такъ какъ ничѣмъ инымъ онъ не выдѣлялся изъ среды другихъ студентовъ, то актерскій талантъ началъ играть въ его жизни роль того, что выдѣляло его изъ толпы. И неглижировалъ вслѣдствіе этого всѣмъ остальнымъ Сергій Тимофеевичъ и всѣ помыслы сосредоточилъ на усовершенствованіи сценическаго таланта. Когда въ 1807 г. онъ «окончивши» университетскій курсъ поселился въ Москвѣ вмѣсть съ родителями, успѣвшими къ тому времени получить большое наслѣдство отъ тетки Куроѣвой и потому рѣшившимися перѣѣхать для лучшаго воспитанія дочери въ столицу, то все свое время онъ опять таки посвятилъ театру, на которомъ тогда отличался знаменитый Плавильщиковъ.

Въ 1808 г. семейство Аксаковыхъ перѣѣзжаетъ въ Петербургъ, и по совѣту Карташевскаго Сергій Тимофеевичъ опредѣляется переводчикомъ комиссіи составленія законовъ. Какъ это мѣсто, такъ и время опредѣленія на него было такого рода, что не будь молодой чиновникъ всесѣло поглащенъ сценическими интересами, онъ могъ бы весьма значительно расширить свой умственный кругозоръ. Какъ известно, годы непосредственно слѣдовавшіе за тильзитскимъ миромъ были годами весьма широкихъ правительственныхъ начинаній и

значительного общественного возбуждения. Мимо Аксакова, однако, все это прошло совершенно безслѣдно. Почему? Да, потому что онъ благодаря страстному желанію усовершенствоваться въ декламації, успѣлъ близко сойтись со старикомъ Шушеринымъ—театральною знаменитостью конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія—и большую часть свободнаго времени своего проводилъ у него, то въ разговорахъ о театрѣ, то слушая чтеніе хозяина, то самъ ему читая разные монологи изъ напыщенаго репертуара тѣхъ лѣтъ.

Приходилось, конечно, Аксакову близко встрѣчаться за время пребыванія въ Петербургѣ не только съ представителями и любителями театра. Такъ напр. онъ былъ очень хорошо принятъ въ домѣ ста-риннаго пріятеля всего его семейства—В. В. Романовскаго. Романовскій, былъ ярый мартинистъ и близкій пріятель знаменитаго Лабзина. Попы-тались было и тотъ и другой завлечь въ свою среду Сергія Тимофе-евича, пробовали дать ему читать масонскія книги. Ничего, однакоже, изъ этого не вышло. Какъ онъ самъ съ обычною своею откро-венностю рассказывалъ въ статьѣ «Встрѣча съ мартинистами», ему «трудъ и сухость отвлеченной мысли были скучны и тяжелы».

Близко также сошелся Аксаковъ за время пребыванія въ Петер-бургѣ съ знаменитымъ адмираломъ Шишковымъ—обстоятельство, на первый взглядъ, какъ будто противорѣчащее тому, что мы гово-рили выше о страсти Аксакова проводить свои досуги только въ тѣхъ сферахъ, гдѣ онъ могъ говорить о театрѣ и щегольнуть декла-мациею. Но если мы, однакоже, ближе проанализируемъ воспоми-нанія С. Т. о знакомствѣ съ Шишковымъ, мы, опять-таки, не пре-минемъ убѣдиться, что главную роль въ этомъ знакомствѣ, все-таки, играли декламаторскія дарованія Аксакова. Правда, воспоминанія, о которыхъ только-что была рѣчь, начинаются съ того, какъ еще будучи студентомъ Сергій Тимофеевичъ недолюбливалъ Карамзина и пришелъ въ великий восторгъ отъ знаменитаго Шишковскаго «Раз-сужденія о старомъ и новомъ слогѣ» и «Прибавленій» къ нему. «Эти книги совершенно свели меня съ ума»,—рассказывается Сергій Тимофеевичъ. «Яувѣровалъ въ каждое ихъ слово, какъ въ святы-ни. Русское мое направлениѣ и враждебность ко всему иностран-ному укрѣпились сознательно, и темное чувство национальности вы-росло до исключительности». Такимъ образомъ между Шишковымъ, въ насмѣшку прозваннымъ своими противниками «славянофиломъ» и будущимъ отцемъ двухъ главарей направления, тоже получивша-го эту кличку, установилось известное сродство душъ. И великъ былъ восторгъ Сергія Тимофеевича, когда одинъ изъ его сослужив-цевъ по комиссіи составленія законовъ—известный впослѣдствіи

своими литературными связями А. И. Казнacheевъ оказался роднымъ племянникомъ Шишкова и когда этотъ племянникъ, такой-же ярый «славянофиль» какъ и его дядя, узнать образъ мыслей Аксакова, обѣщалъ его на слѣдующій-же день познакомить съ адмираломъ. Знакомство состоялось и Сергѣй Тимофеевичъ сталъ домашнимъ человѣкомъ у творца теоріи, по которой слѣдовало говорить вмѣсто «министръ»—«дѣловецъ государственный», вмѣсто «ассистентъ»—«присущникъ», вмѣсто «аллея» — «прохожъ» и т. д. Вначалѣ Аксаковъ игралъ чисто пассивную роль: выслушивалъ съ благоговѣніемъ, какъ Шишковъ восторгался бездарнѣйшими поэмами князя Шихматова, какъ ругалъ Карамзина, доказывая, что тотъ испортилъ русскій языкъ и т. п. Но вотъ въ одно прекрасное посльбѣда «на-конецъ вышло изъ-подъ спуда», какъ выражается Сергѣй Тимофеевичъ, его «умѣніе читать или декламировать» и знакомство Аксакова съ Шишковымъ приняло обычный характеръ всѣхъ другихъ его знакомствъ. Начался безконечный рядъ чтеній и домашнихъ спектаклей, всѣ они доставили Сергѣю Тимофеевичу кучу похвалъ, такъ что воспоминанія непосредственно о Шишковѣ уже начинаютъ отодвигаться на второй планъ, а на первый выступаютъ воспоминанія о томъ, какъ Сергѣй Тимофеевичъ былъ хорошъ въ такой-то роли, какъ онъ выразительно прочиталъ такую-то оду и т. д. Прекратились уже теперь прежнія сидѣнія въ кабинетѣ Шишкова, во время которыхъ старый «славянофиль» авторитетно раздавалъ дипломы на бессмертіе приверженцамъ своихъ теорій, а молодой безмолвно внималъ. Нѣть, теперь Сергѣю Тимофеевичу уже некогда было: надо было хлопотать по постановкѣ пьесъ, по считкамъ, репетиціямъ и другимъ приготовленіямъ. Словомъ, онъ вошелъ въ ту сферу интересовъ, которая такъ мила была его сердцу и не могла не быть ему милой, потому что, какъ мы уже сказали, сценическое дарованіе было покамѣстъ единственнымъ качествомъ, выдѣлявшимъ его изъ толпы и обращавшимъ на него вниманіе. На спектакли, устроенные Сергѣемъ Тимофеевичемъ въ домѣ Шишкова, собирались такие люди какъ Кутузовъ, Мордвиновъ, Бакунинъ (тогдашній губернаторъ Петербурга), всѣ они хвалили его, а жена Кутузова такъ даже «изъявила искреннее сожалѣніе», что «такой талантъ, уже много обработанный, не получить дальнѣйшаго развитія на сценѣ публичной». «Самолюбіе мое было утѣшено», прибавляетъ вслѣдъ затѣмъ Сергѣй Тимофеевичъ и удивительно-ли послѣ этого, что воспоминанія о сценическихъ успѣхахъ въ домѣ Шишкова настолько разогрѣли Сергѣя Тимофеевича цѣлыхъ 45 лѣтъ спустя, что именно по поводу ихъ онъ написалъ: «я имѣлъ рѣши-

тельный сценический талантъ, и теперь даже (1857—58) думаю, что театръ былъ моимъ настоящимъ призваниемъ, (!).

Печальное заблуждение, которое легко могло бы стать роковымъ еслибы не то, что Аксакову, какъ столбовому дворянину, стыдно было сдѣлаться цѣховымъ актеромъ.

По поводу той-же близости Сергея Тимофеевича съ Шишковымъ нельзя не подчеркнуть, что автору «Семейной Хроники» до встречи съ Гоголемъ, который такъ благодѣтельно подѣйствовалъ на пробужденіе его таланта, ужасно не везло на знакомства. Хотя, конечно, не только въ наше время, но еще и лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ мало кто сомнѣвался въ томъ, что Шишковъ, при всей своей личной порядочности, писатель крайне ограниченный и лишенный всякаго признака литературнаго вкуса, но если даже совершенно оставить въ сторонѣ вопросъ о литературной цѣнности Шишковскихъ теорій и взять ихъ совершенно объективно только со стороны того, что онѣ въ себѣ содержать, то и тогда нельзя будеть не признать, что Шишковъ могъ оказаться на развитіе таланта Аксакова только самое угнетающее и задерживающее вліяніе. Какое въ самомъ дѣлѣ можно себѣ представить болѣе разительное несходство какъ между авторомъ разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ, для котораго въ каждомъ литературномъ произведеніи важнѣе всего была торжественность (для большей объективности не будемъ говорить напыщенность) и авторомъ «Семейной Хроники», все художественное значеніе которой заключается въ ея поразительной простотѣ и безыскусственности? Что могло быть поощрительнаго для таланта Аксакова въ домѣ, гдѣ для хозяина и его гостей—членовъ пресловутой «Бесѣды любителей российского слова»—Карамзинъ казался опаснымъ новаторомъ, а Озеровъ слишкомъ вульгарнымъ и мало торжественнымъ писателемъ?

Точно такія-же неподходящія знакомства завязываются чрезъ нѣкоторое время Сергей Тимофеевичъ въ Москвѣ и на этотъ разъ они уже находятся въ самой непосредственной связи съ его театрамоніей. Въ Москву Аксаковъ попадаетъ въ 1812 г., послѣ того, какъ онъ въ 1811 г. бросилъ службу въ Петербургѣ и побылъ нѣкоторое время въ деревнѣ. Чрезъ старика актера Шушерина, съ которымъ, какъ уже было упомянуто, Сергей Тимофеевичъ близко сошелся еще въ Петербургѣ, онъ знакомится съ цѣльнымъ рядомъ московскихъ литераторовъ—Шатровымъ, Николевымъ, Ильинымъ, Кокошинымъ, Сергеемъ Глинкой, Вельяшевымъ-Волынцевымъ, Ивановымъ и др. Если исключить взбалмошенного, но добродушнаго и симпатичнаго Глинку, то всѣ остальные только что названные писатели, помимо

ихъ совершенного литературного и умственного ничтожества, были еще и пошлики крайніе, лѣзшіе въ аристократы и знать, къ которой они на самомъ дѣлѣ не принадлежали, преданные пустѣйшимъ забавамъ и развлеченіямъ и помышленные на совершенно мнимыхъ представленіяхъ о своемъ значеніи. Когда читаешь воспоминанія Аксакова о всѣхъ этихъ ничтожествахъ, составлявшихъ, однако, значительную часть тогдашней «литературы», то живо чувствуешь до чего былъ правъ Бѣлинскій, утверждавшій въ первой своей статьѣ, что собственно никакой-то настоящей литературы до «Горя отъ ума» у насъ и не было.

Но юный Аксаковъ былъ, конечно, другого мнѣнія и, слыша какъ литературные пріятели называли какого-нибудь Николева «бесмертнымъ», на половину этому вѣрилъ и находилъ «сильными» мѣстами такие напр. стихи изъ трагедіи Николева «Малекъ-Адель»,

Бисталь конь бѣль подъ нимъ, какъ снѣгъ Атлантскихъ горъ,
Стрѣла летяща—бѣгъ, свѣча горяща—взоръ,
Дыханье—дымъ и огнь, грудь и копыта—камень,
На немъ—Малекъ-Адель или сраженій пламень.

Какъ «бесмертный» Николевъ, такъ и остальные не менѣе мнившие о себѣ писатели, съ которыми не на пользу себѣ столкнулся Сергій Тимофеевичъ въ Москвѣ, очень ласково приняли его, такъ что вскорѣ онъ сталъ совсѣмъ своимъ человѣкомъ въ ихъ кругу. Причина этого теплаго отношенія къ ничѣмъ еще не заявившему себя молодому Аксакову была все та-же декламація. Около указанного времени, Сергій Тимофеевичъ началъ уже, впрочемъ, заявлять себя и какъ литераторъ. Именно онъ приступилъ къ переводу лагарповскаго переложенія трагедіи Софокла «Філоктетъ». Трагедія предназначалась для бенефиса Шушерина и начиналась слѣдующимъ посвященіемъ

Когда-бы я владѣль такимъ въ стихахъ искусствомъ,
Какимъ одушевленъ къ тебѣ почтенья чувствомъ,
Славный Софокловъ гремѣль-бы Філоктеть,
И въ восхищениі ему внималъ-бы свѣтъ;
Но скуденъ даръ во мнѣ чувствъ выражать премѣлы,
Гоненія судьбы, страстей противныхъ браны:
Црѣми-жъ, о Шушеринъ, любимецъ Мельпомены,
Таланту своему благоговѣнья дань.

Какъ трудно узнать въ этихъ неуклюжихъ стихахъ будущаго первокласснаго стилиста и какъ страненъ былъ самый выборъ этой ложно-классической передѣлки. Авторъ «Семейной Хроники»

ложный классицизмъ — что можетъ быть неестественнѣе такого сочетанія.

Время напшествія Наполеона и слѣдующіе два года Сергій Тимофеевичъ провелъ въ деревнѣ. Онъ не только не принялъ никакого участія въ событіяхъ этихъ бурныхъ лѣтъ, но какъ-то они даже впечатлѣнія никакого на него не произвели, такъ что въ его воспоминаніяхъ, необыкновенно подробныхъ и прямо даже утомительныхъ тѣмъ, что въ нихъ обстоятельно говорится буквально о каждомъ пустякѣ, для событій отечественной войны, какъ и для всѣхъ остальныхъ явленій общественной жизни, и мѣста не нашлось даже. Не можемъ не подчеркнуть этого обстоятельства, потому что оно очень характерно для того, чтобы показать, до чего умственная жизнь молодого Аксакова была заполнена декламаціей и всячими театральными интересами.

Годы 1814—1815 Аксаковъ проводить то въ Москвѣ, то въ Петербургѣ и въ одну изъ побывокъ въ Петербургѣ ему удалось очень близко сойтись съ Державинымъ. Читатель, думаемъ, уже догадался самъ, что главнымъ связующимъ звеномъ между дряхлымъ поэтомъ и молодымъ декламаторомъ явилось именно умѣніе послѣдняго выразительно читать. Литературныхъ разговоровъ между ними не проходило почти никакихъ, но за то чтенія и декламаціи были безъ конца и Державинъ иной разъ даже замучивалъ молодого человѣка.

Въ 1816 г. Сергій Тимофеевичъ женится на дочери Суворовскаго генерала Заплатина и на цѣлыхъ четыре года поселяется въ деревнѣ. Въ 1820 г. онъ на годъ пріѣзжаетъ въ Москву, печатаетъ переводъ 10-ї сатиры Буало, за что его удостаиваются большой по тому времени чести — избираютъ въ члены «общества любителей россійской словесности» — и завязываетъ тѣснѣшую дружбу съ Загоскинымъ, водевилистомъ Писаревымъ и директоромъ театра и драматургомъ Кокошкинымъ. Дружба не ослабѣла и за пять лѣтъ вторичного отѣзда Сергія Тимофеевича въ деревню и возобновилась съ еще большою интимностью когда Аксаковъ въ 1826 г. со всѣмъ своимъ семействомъ перѣѣхалъ въ Москву на постоянное жительство.

Близость съ только что названными писателями, къ которымъ со временемъ окончательного перѣѣзда Сергія Тимофеевича въ Москву надо еще присоединить известнаго драматурга кн. Шаховскаго, довела театрманію Аксакова до апогея. Тутъ-то онъ окончательно заверѣлся въ закулисномъ мірѣ, такъ что не только начиналь теперь послѣдній интересъ къ явленіямъ нетеатрального мірка и не только дебюты того или другого актера, успѣхъ той или другой пьесы начинали ему казаться событіями первостепенной важности, но у

него и вкусъ литературный окончательно стать пропадать и онъ вообще пошелъ по такому литературному пути, который, можетъ быть, совершенно загубилъ-бы его великое дарование, еслибы въ срединѣ тридцатыхъ годовъ встрѣча съ Гоголемъ и возмужаніе старшаго сына—Константина Сергеевича не ввело его въ сферу болѣе высокихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ. Достаточной иллюстрацію только-что сказанного можетъ служить такой, напримѣръ, печатный отзывъ (въ «Моск. Вѣстн.» 1828) по поводу смерти мелкотравчатаго водевилиста Писарева:

„Писаревъ увлекъ въ гробъ съ собою великия, блестательныя надежды друзей своихъ и всѣхъ коротко его знавшихъ. Глубокій, проницательный умъ, чуждый оковъ пристрастія и предразсудковъ литературныхъ: строгій, вѣрный вкусъ, сила мыслей новыхъ, свѣжихъ; смѣлость, рѣзкость въ ихъ выраженіи; щека, убийственная острота; любовь къ справедливости; ненависть къ пороку... все заставляло ожидать отъ него комедій Аристофановскіхъ....“

Такая характеристика прилагалась къ человѣку, правда, умершему молодымъ (27 лѣтъ), но уже успѣвшему наплодить множество водевилей и совершенно опредѣленно выяснить свою литературную физіономію. Извѣстно, конечно, что всякия некрологическія статьи, да еще писанныя о близкомъ пріятелѣ, всегда страдаютъ преувеличеніями, но все-таки для того, чтобы все произносить имя Аристофана по поводу зауряднаго каламбуриста, остроты которого никогда не переживали болѣе одного сезона, да еще произносить его въ то время, когда вся Россія зачитывалась только-что появившейся во множествѣ списковъ дѣйствительно аристофановской комедіей Грибоѣдова, для всего этого нужна была почти совершенная потеря литературнаго чутья и вкуса. И такъ какъ приведенный только-что примѣръ съ Писаревымъ всего менѣе единственный и подобными безвкусицами переполнены всѣ относящіяся къ концу 20-хъ годовъ театральныя статейки Аксакова, то въ совокупности они и подтверждаютъ сказанное нами выше о томъ, что театрomanія, слишкомъ тѣсно сближившая Сергея Тимофеевича съ московскимъ театральнымъ кружкомъ, очень неблагопріятно подействовала на ходъ его литературнаго развитія. Какую въ самомъ дѣлѣ могъ извлечь для себя пользу Сергей Тимофеевичъ изъ постояннаго и исключительного общенія съ такими людьми, какъ Загоскинъ, Кокошкинъ, Шаховской и Писаревъ. Чудаковатый Загоскинъ былъ, безспорно, человѣкъ симпатичный и талантливый, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма мало образованный и развитой. Про остальныхъ-же членовъ кружка и этого нельзя сказать, и столь-же мало выдававшіеся образованіемъ

и развитіемъ, какъ Загоскинъ, они, кромѣ того, были ниже его талантами и душевными качествами.

А между тѣмъ эта дружба съ кружкомъ московскихъ водевилистовъ и драматурговъ совершенно ненужнымъ образомъ разъединяла и даже ссорила Сергія Тимофеевича съ людьми, представлявшими собою въ литературѣ тѣхъ лѣтъ поступательное движение русской мысли. Мы говоримъ о непріятныхъ отношеніяхъ, которыхъ установились между Аксаковымъ и Полевымъ и причина которыхъ лежала исключительно въ томъ, что Полевой нападалъ на театральныхъ пріятелей Сергія Тимофеевича. Непосредственный предшественникъ Бѣлинскаго въ томъ, что касается серьезнаго взгляда на литературу, въ томъ, что онъ смотрѣлъ на литературу не какъ на пріятное времяпрепровожденіе, а какъ на дѣло первостепенной общественной важности, Полевой не могъ особенно благопріятно относиться къ тѣмъ пустячкамъ, которые поставляли для московской сцены друзья Аксакова, не на шутку убѣжденные, что

водевиль есть вещь, а прочее все гиль *).

Онъ рѣзко на нихъ напалъ въ своемъ «Телеграфѣ», они, въ свою очередь, страшно задѣтые неожиданно раздавшимся порицаніемъ, начали ему отвѣтить колкостями со сцены и разгорѣлась жестокая война. Публика, сразу оцѣнившая значеніе того серьезнаго тона, который взялъ Полевой съ первыхъ-же шаговъ своихъ на журнальномъ поприщѣ, была по собственному сознанію Аксакова на сторонѣ «Московскаго Телеграфа» и жестоко освистала Писарева, когда онъ въ одномъ изъ своихъ водевилей выпалилъ въ ненавистнаго журналиста слѣдующимъ пустымъ каламбуромъ, который, кстати, можетъ служить образчикомъ «аристофановской» соли пріятеля Сергія Тимофеевича.

Въ нашъ вѣкъ, на дѣло не похоже,
Изъ моды вышла простота,
И безъ богатства умъ—все тоже
Что безъ наряда красота.
У насъ теперь народъ затѣйный,
Пренебрегаетъ простотой:
Всѣмъ милъ цвѣтокъ оранжерейный
И всѣмъ наскучилъ *полевой*.

Аксаковъ непосредственного отношения ко всей этой свалкѣ, собственно говоря, не имѣлъ никакого. Но мягкий по натуру и отсюда

*) Любопытно отмѣтить, что по пѣкоторымъ указаніямъ этотъ язвительный стихъ, вложенный въ уста Репетизова, цѣликомъ заимствованъ Грибоѣдовымъ у Писарева.

легко поддававшійся всякому вліянію, подъ которымъ онъ въ данный моментъ своей жизни находился, Сергій Тимофеевичъ очень близко принялъ къ сердцу интересы обиженныхъ пріятелей и въ своихъ статейкахъ (онъ былъ въ то время сотрудникомъ «Москов. Вѣст.» Погодина, «Галатеи» Раича и «Атенея» Павлова) началъ за-дѣвать Полевого. Полевой, конечно, отвѣчалъ тѣмъ-же и въ резуль-татѣ между ними установились настолько непріязненные отношения, что цѣлыхъ 30 лѣтъ спустя, когда Полевого давнимъ давно уже въ живыхъ не было, Сергій Тимофеевичъ, вообще отличавшійся незлобивостью и добродушемъ, съ немалымъ злорадствомъ рассказывалъ какъ онъ разъ отдалъ ненавистнаго журналиста, именно какъ онъ въ одноть изъ засѣданій «Общества Любителей Российской Словесности» прямо въ лицо стоявшаго предъ нимъ Полевого прочи-талъ слѣдующіе стихи изъ своего перевода 8-ой сатиры Буало:

И такъ трудись теперь профессоръ мой почтенный
Копти надъ книгами, и день и ночь согбенный!
Цролей на знанія людскія новыи свѣтъ,
Пиши творенія высокія, поэты—
И жди, чтобы мелочай какой нибудь издатель,
Любимцевъ публики безсовѣтный ласкатель,
Который разумѣть языкъ недавно сталъ,
Перомъ завистливымъ тебя вездѣ маралъ...
Конечно, для него довольно и презрѣнья!...

Эта выходка шла въ тонъ съ нападками, которыми въ то время со всѣхъ сторонъ осыпали Полевого люди задѣтые его рѣзкою кри-тикою. Разныя посредственности, сброшенные Полевымъ съ неза-служеннаго ими пьедестала, не имѣя возможности возразить что ни будь по существу противъ того серьезнаго критерія, противъ тѣхъ серьезныхъ требованій, которые Полевой сталъ предъявлять къ ли-тературнымъ дѣятелямъ какъ прошлаго времени, такъ и современной ему эпохи, всѣ эти посредственности старались умалить значеніе кри-тики дерзкаго «купчишки» подчеркиваніемъ того, что онъ самоучка, нигдѣ систематически неучившійся и слѣдовательно мало свѣдущій. Нельзя отрицать того, что извѣстная доля правды была въ этихъ упре-кахъ. Невѣрно, что Полевой былъ человѣкъ мало свѣдущій. Напро-тивъ того, онъ зналъ очень много. Но нѣкоторая безсистемность несомнѣнно проглядываетъ въ его отовсюду нахватанныхъ знаніяхъ. Все это, однакоже, слѣдуетъ понимать очень относительно. Срав-ненія съ Каченовскимъ, Погодинымъ, Надеждинымъ Полевой дѣй-ствительно не выдерживалъ. Но членовъ кружка Сергія Тимофе-вича, самого Сергія Тимофеевича не исключая, Полевой могъ по-

всѣмъ областямъ знанія заткнуть за поясъ и вотъ почему колкости и упреки въ невѣжествѣ были въ ихъ устахъ совершенно не у мѣста и едва-ли даже благовидны.

Чтобы покончить съ отношеніями Аксакова къ Полевому, отмѣтимъ, что есть нѣкоторыя указанія, изъ которыхъ можно заключить, что вражда ихъ не ограничилась одною литературною аrenoю.

Это указаніе находится въ связи со службою Аксакова въ цензурѣ.

Сергій Тимофеевичъ началъ свое цензорское поприще въ самомъ началѣ 1827 года. Переѣхавъ со всѣмъ семействомъ въ Москву и опасаясь, что собственныхъ ресурсовъ, получаемыхъ изъ деревни, ему не хватить для проживанія въ столицѣ, Сергій Тимофеевичъ началъ подыскивать себѣ службу. Ничего, однако, подходящаго не находилось. Но вотъ какъ разъ прїѣзжалъ въ Москву къ коронації Шишковъ, стоявшій въ то время во главѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, которое вѣдало по тогдашнимъ порядкамъ цензуру. Сергій Тимофеевичъ и попросился въ цензора вновь учреждавшагося отдѣльного московскаго цензурнаго комитета. Шишковъ охотно исполнилъ просьбу старого своего любимца и тотъ вооружился краснымъ карандашемъ. Цѣлыхъ шесть лѣтъ т. е. вплоть до перехода своего въ инспекторы Межеваго Училища состоялъ Сергій Тимофеевичъ цензоромъ, а нѣсколько разъ онъ временно исправлялъ должность предсѣдателя комитета. Послѣднее указываетъ, что исполнялъ Сергій Тимофеевичъ свои обязанности усердно. Временамъ же тогда были строгія для печатнаго слова. Тѣмъ не менѣе 30 лѣтъ спустя, Аксаковъ, разсказывая въ «Воспоминаніяхъ» о разныхъ событияхъ жизни своей, не пропустилъ и службы въ цензурахъ, и при этомъ дѣло получало такой оттѣнокъ, что Сергій Тимофеевичъ былъ цензоромъ очень мягкимъ и что онъ не только не стѣснялъ печатнаго слова, а напротивъ того спасалъ его отъ преслѣдований такихъ напр. людей, какъ первый предсѣдатель московскаго цензурнаго комитета — кн. Мещерскій, о дѣйствіяхъ котораго Сергій Тимофеевичъ говорилъ въ выраженіяхъ крайняго негодованія.

Провѣрить справедливость утвержденія Сергія Тимофеевича могли, конечно, только люди, которымъ приходилось имѣть съ нимъ непосредственно дѣла по цензурѣ. Такимъ человѣкомъ явился известный писатель Ксенофонть Полевой, братъ издателя «Московскаго Телеграфа». Онъ-то и сдѣлалъ то указаніе, которое подало памъ поводъ утверждать, что вражда между Аксаковымъ и издателемъ «Московскаго Телеграфа» не ограничилась литературною аrenoю. Именно, разбирая въ 1859 г. воспоминанія Аксакова и коснувшись,

между прочимъ, его отношеній къ редактору «Москов. Телеграфа», Ксенофонтъ Полевой утверждалъ, что въ качествѣ ближайшаго помощника своего брата онъ былъ неоднократно свидѣтелемъ отчаянія, въ которое тотъ приходилъ отъ цензорскихъ зачеркиваній Сергія Тимофеевича. Ксенофонтъ Полевой утверждалъ, что зачеркиванія обусловливались не только одними политическими соображеніями и что Аксаковъ безпощадно вымаривалъ неодобрительные отзывы о литературныхъ пріятеляхъ своихъ и той литературной партіи, къ которой онъ примыкалъ.

Статья, въ которой сообщались только что приведенные свѣдѣнія о цензорской дѣятельности Сергія Тимофеевича, заключала въ себѣ и многія другія придирчивыя нападки на личность его. Эта придирчивость побудила одного изъ друзей Сергія Тимофеевича—бібліографа и историка литературы М. Н. Лонгинова выступить съ неменѣе рѣзкою отзѣвтою статьею, въ которой пунктъ за пунктомъ опровергались нападки Ксенофonta Полевого. Но о цензурной дѣятельности Сергія Тимофеевича отвѣтъ ничего не говорилъ. И такъ какъ въ общемъ статья Лонгинова написана если не прямо подъ диктовку Сергія Тимофеевича, то во всякомъ случаѣ на основаніи свѣдѣній отъ него полученныхъ, то остается заключить, что фактическая часть того, что сообщалъ Ксенофонтъ Полевой о цензурныхъ отношеніяхъ Сергія Тимофеевича къ издателю «Моск. Телеграфа» вѣрна и, можетъ быть, нуждается только въ иномъ освѣщеніи. Надо думать, что какъ человѣкъ мягкий, С. Т. поддался вліянію своихъ литературныхъ друзей и считая направление Полевого вреднымъ, считая его нападки «дерзостями» вѣроятно не находилъ ничего дурного въ томъ, чтобы поприжать издателя «Телеграфа». Въ одной изъ своихъ полемическихъ статеекъ конца 20-хъ годовъ Аксаковъ писалъ:

«Будь г. Полевой дурной писатель—никогда моя рука не поднялась бы противъ него; но лицо, представляемое имъ въ нашей литературѣ, не только смѣшно, но и вредно: какъ издатель журнала, который прежде имѣлъ достоинство, онъ разсѣваетъ свои кривые толки, несправедливыя и пристрастныя сужденія; слѣдовательно обличать его въ неправдѣ и невѣжествѣ, унижать его литературное лицо—есть долгъ каждого любителя словесности. (Соч. т. IV. стр. 461).

При такомъ взглядѣ на Полевого и при слабомъ развитіи гражданскихъ чувствъ въ томъ кружкѣ, эхомъ которого служилъ Сергій Тимофеевичъ, ничего нельзѣ удивительного въ томъ, что онъ поднималъ на ненавистнаго журналиста не только писательскую, но и цензорскую руку. Такимъ образомъ то, что 30 лѣтъ спустя Сер-

гей Тимофеевичъ свою цензорскую дѣятельность представлялъ не совсѣмъ въ томъ видѣ, въ какомъ она въ дѣйствительности про-исходила, кажется, не должно набрасывать тѣни на его характеръ и на достовѣрность его разсказовъ, а свидѣтельствуетъ только о томъ, что онъ поддавался одинаково какъ дурнымъ, такъ и хорошимъ вліяніямъ. 30 лѣтъ, отдѣляющихъ время цензурированія «Телеграфа» отъ времени, когда писались «Воспоминанія», Сергѣй Тимофеевичъ провелъ въ обществѣ славянофильского кружка, для котораго свобода слова была однимъ изъ основныхъ пунктовъ его общественнаго міросозерцанія. Кромѣ того, писались «Воспоминанія» въ эпоху, когда новое царствованіе установило совершенно иной взглядъ на печать. Удивительно-ли, что подъ вліяніемъ всего этого вмѣстѣ впечатлительному Сергею Тимофеевичу вполнѣ искренне показалось, что въ 1858 и 1828 году онъ держался однихъ и тѣхъ-же взглядовъ на свободу слова?

Да, Сергѣй Тимофеевичъ былъ человѣкъ очень впечатлительный, очень податливый, очень воспріимчивый къ идеямъ, взглядамъ и направленію той среды, въ которой ему приходилось вращаться. Эта воспріимчивость спасла подъ старость его талантъ и дала ему настоящее направление. 41 года отъ рода онъ встрѣтился съ Гоголемъ. Всякій другой въ такомъ возрастѣ отнесся-бы только враждебно къ писателю, шедшему совершенно въ разрѣзъ съ литературными идеями и взглядами среды, въ которой Аксаковъ провелъ наиболѣе воспріимчивые и впечатлительные годы человѣческой жизни. Но Сергѣй Тимофеевичъ, до конца дней своихъ сохранившій юношески-чистую душу, вмѣстѣ съ тѣмъ остался и юношески-доступнымъ всякому духовному воздействию. Съ первыхъ-же встрѣчъ Гоголь, почти незамѣтно для самаго Сергея Тимофеевича, произвелъ рѣшительный переворотъ въ литературныхъ вкусахъ его и съ тѣхъ поръ дѣятельность недавняго поклонника Писаревскихъ водевилей получаетъ совсѣмъ иной характеръ. Къ вліянію Гоголя на Сергѣя Тимофеевича мы, впрочемъ, еще вернемся при ознакомленіи съ литературною дѣятельностью его. А此刻же доскажемъ виѣпія событий жизни Аксакова.

Выше было упомянуто о службѣ его въ Межевомъ Училищѣ. Она длилась тоже около 6 лѣтъ, съ 1834 по 1839. Сначала Сергѣй Тимофеевичъ былъ инспекторомъ училища, а затѣмъ, когда оно было преобразовано въ «Константиновскій Межевой Институтъ» — директоромъ его. Въ 1839 году утомленный службою, которая дурно вліяла на его здоровье, Аксаковъ вышелъ окончательно въ отставку и зажилъ совершенно частнымъ человѣкомъ. За-

жилъ богато, потому что послѣ отца, умершаго въ 1837 г. (мать умерла въ 1833 г.) онъ получитъ довольно значительное наслѣдство. Панаевъ въ своихъ «Литературныхъ Воспоминаніяхъ» оставилъ любопытную картинку внѣшней стороны житья-бытъя Сергія Тимофеевича въ эту эпоху полнаго удаленія его отъ всякихъ служебныхъ дѣлъ.

«Сергій Тимофеевичъ» пишетъ онъ былъ большой хлѣбосоль и гордился этою московскою добродѣтелью. Аксаковы жили тогда въ большомъ отдельномъ, деревянномъ домѣ, на Смоленскомъ рынке. Для многочисленнаго семейства Аксакова требовалась многочисленная прислуга. Домъ его былъ биткомъ набитъ дворнею. Это была уже не городская жизнь въ томъ смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ, а патріархальная, широкая, помѣщицкая жизнь, перенесенная въ городъ. Домъ Аксакова и снаружи, и внутри по устройству и расположению, совершенно походилъ на деревенскіе барскіе дома; при немъ были: обширный дворъ, людскія, садъ и даже бани въ саду».

«Домъ Аксаковыхъ», говорить въ другомъ мѣстѣ, Панаевъ, «съ утра до вечера былъ полонъ гостями. Въ столовой ежедневно накрывался длинный и широкій семейный столъ по крайней мѣрѣ на 20 кувартовъ. Хозяева были такъ просты въ обращеніи со всѣми посѣщавшими ихъ, такъ безцеремонны и радушны, что къ нимъ нельзя было не привязаться. Я, по крайней мѣрѣ, полюбилъ ихъ всей душою».

Наружность Сергія Тимофеевича Панаевъ описываетъ такимъ образомъ: «Онъ былъ высокъ ростомъ, крѣпкаго сложенія и не обнаруживалъ еще ни малѣйшихъ признаковъ старости. Выраженіе лица его было необыкновенно симпатично, онъ говорилъ всегда звучно и сильно, но голосъ его превращался въ голосъ стентора, когда онъ декламировалъ стихи, а декламировать онъ былъ величайшій охотникъ».

Характеръ добродушной патріархальности, лежавшій на всемъ складѣ домашней обстановки Сергія Тимофеевича, остался неизмѣннымъ вплоть до самой смерти его. Панаевъ зналъ домъ Аксаковыхъ въ самомъ концѣ тридцатыхъ годовъ и началѣ сороковыхъ. Но такимъ-же его рисуютъ люди, которые столкнулись съ Сергеемъ Тимофеевичемъ въ серединѣ пятидесятыхъ годовъ. «Домъ Аксакова», пишетъ Лонгиновъ «былъ однимъ изъ пріятѣйшихъ въ Москвѣ. Нравственное вліяніе Сергія Тимофеевича было ощутительно не въ одномъ его семействѣ. Примѣрный супругъ, отецъ, братъ, онъ былъ и образцемъ друзей, къ которому смѣло шли за совѣтомъ и помощью его многочисленные друзья. Онъ умѣль съ первого раза пріобрѣсть

любовь и довѣріе всякаго и никому не отказывалъ въ своемъ содѣйствіи или участіи, а напротивъ самъ вызывался на услуги. Это была душа чистая, исполненная христіанскихъ чувствъ, и, въ тоже время, умъ свѣтлый, прямой, соединенный съ характеромъ откровеннымъ, возвышеннымъ и энергическимъ (?). Онъ сохранилъ до глубокой старости, среди тяжкихъ недуговъ, участіе ко всему прекрасному и силу воли вмѣстѣ съ какою-то младенческою ясностью души».

Приведенные слова принадлежать человѣку, о которомъ мы раньше сказали, что онъ былъ однимъ изъ близкихъ къ Сергею Тимофеевичу лицъ. Тѣмъ не менѣе мы воспользовались его свидѣтельствомъ, потому что оно вполнѣ совпадаетъ съ тѣмъ, что говорили объ авторѣ «Сем. Хроники» люди самыхъ разнообразныхъ направлений. Повидимому Сергей Тимофеевичъ былъ дѣйствительно человѣкъ высокихъ душевныхъ качествъ. Приведя слова Лонгинова, мы только поставили вопросительный знакъ по поводу мнимой «энергичности» его характера. Нѣтъ, какая уже тамъ энергія, когда напротивъ того всю свою жизнь Сергей Тимофеевичъ всегда находился подъ чьимъ нибудь вліяніемъ, которому въ данный моментъ всецѣло подчинялся.

Приводимъ въ заключеніе біографической части настоящей статьи разсказъ того-же Лонгинова о послѣднихъ годахъ жизни Сергея Тимофеевича:

«Аксаковъ отличался силою и крѣпостью тѣлосложенія, чему немало способствовали частыя прогулки и занятіе охотою. Но здоровье его начало страдать еще лѣтъ за двѣнадцать до кончины. Болѣзнь глазъ принудила его надолго запереться въ темной комнатѣ, и, непріученный къ сидячей жизни, Аксаковъ разстроилъ отчасти свой организмъ, лишась притомъ одного глаза. Бодрость, впрочемъ, никогда не покидала его, даже въ послѣдніе годы жизни, когда болѣзнь его развивалась болѣе и болѣе и заставляла его почти постоянно сидѣть въ четырехъ стѣнахъ. Онъ былъ живъ и впечатлиителенъ по прежнему; ясность духа его была не возмутима. Весною 1858 г. болѣзнь Аксакова приняла весьма опасный характеръ и стала причинять ему жесточайшія страданія; но онъ переносилъ ихъ съ чрезвычайною энергіею и терпѣніемъ. Послѣднее лѣто провѣль онъ на дачѣ близь Москвы и несмотря на тяжкую болѣзнь, имѣть силу въ рѣдкія минуты облегченія наслаждаться природою и диктовать новыя свои произведенія, которыхъ ничѣмъ не напоминаютъ того, въ какія тяжелыя минуты они созданы. Сюда принадлежать «Собираніе бабочекъ», вышедшее въ свѣтъ уже послѣ его

смерти въ «Братчинѣ»— сборникѣ въ пользу бѣдныхъ казанскихъ студентовъ, которымъ онъ особенно интересовался. Осенью 1858 г. Аксаковъ перебѣхалъ въ городъ и всю слѣдующую зиму провелъ въ ужасныхъ страданіяхъ. Ни помощь лучшихъ врачей, ни заботы семьи, не могли спасти его жизни, однако онъ продолжалъ еще иногда заниматься и написалъ статью «Зимнее утро», «Встрѣчу съ мартинистами», послѣднее изъ напечатанныхъ при жизни его сочиненій, появившееся въ «Русской Бесѣдѣ» 1859 г. и повѣсть «Наташа», которая напечатана въ томъ-же журналѣ. Весной не оставалось уже надежды, и онъ умеръ 30 Апрѣля 1859 г.».

Сочиненія Аксакова выходили много разъ отдельными изданіями. Такъ «Семейная Хроника» выдержала 4 изданія, «Записки объ уженѣ рыбы»—5, «Записки ружейнаго охотника»—6. Но первое полное собраніе сочиненій Сергѣя Тимофеевича появилось только въ концѣ 1886 года. Изданіе это (въ 6 томахъ) предпринято книгопродающимъ Н. Г. Мартыновымъ и редактировано частью Иваномъ Сергеевичемъ Аксаковымъ, а частью П. А. Ефремовымъ. Благодаря Ивану Аксакову собраніе сочиненій Сергѣя Тимофеевича снабжено весьма цѣнными примѣчаніями, дающими читателю возможность разобраться между «Warheit» и «Dichtung» какъ въ «Семейной Хроникѣ», такъ въ другихъ произведеніяхъ ея автора. Благодаря-же участію превосходнаго библіографа и знатока русской литературы—П. А. Ефремова, изданіе отличается замѣчательною полнотою. 4-й томъ напр., состоящій изъ мелкихъ журнальныхъ статеекъ Сергѣя Тимофеевича, является совершенною новинкою для самыхъ завзятыхъ библіографовъ. И не удивительно почему: журналы, изъ которыхъ П. А. Ефремовъ извлекалъ эти статейки составляютъ такую библіографическую рѣдкость, что въполномъ видѣ ихъ нѣтъ ни въ Публичной Библіотекѣ, ни въ Черковской, ни въ библіотекѣ Академіи Наукъ.

По томамъ произведенія Сергѣя Тимофеевича распределены въ изданіи, о которомъ идетъ теперь рѣчь, слѣдующимъ образомъ:

Томъ первый: Отъ издателя. Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ. А. С. Хомякова. Воспоминаніе о С. Т. Аксаковѣ. М. Н. Лонгинова. I. Семейная хроника. Предисловія къ 1 и 2 изд. Предувѣдомленіе И. С. Аксакова къ посмертному изданію. *Первый отрывокъ изъ «Семейной Хроники».* (Степанъ Михайловичъ Багровъ): Переселеніе. Оренбургская губернія. Новая мѣста. Добрый день Степана Михайловича. *Второй отрывокъ:* Михаилъ Максимовичъ Куролесовъ. *Третій отрывокъ:* Женитьба молодого Багрова. *Четвертый отрывокъ:* Молодые въ Багровѣ. *Пятый отрывокъ:* Жизнь въ Уфѣ. II. Дѣтскіе годы Багрова-внука. Предисловіе И. С. Аксакова.

сакова. Къ читателямъ. Вступленіе. Отрывочная воспоминанія. Послѣдовательный воспоминанія. Дорога до Парашина. Парашино. Дорога изъ Парашино до Багрова. Багрово. Пребываніе въ Багровѣ безъ отца и матери. Зима въ Уфѣ. Сергиевка. Воевращеніе въ Уфу къ городской жизни. Зимняя дорога въ Багрово. Багрово зимой. Уфа. Пріѣздъ на постоянное житье въ Багрово.

Томъ второй: I. *Дѣтскіе годы Багрова-человека.* (Продолженіе). Багрово послѣ Чурасова. Первая весна въ деревнѣ. Лѣтняя поѣзда въ Чурасово. Осенняя дорога въ Багрово. Жизнь въ Багровѣ, послѣ кончины бабушки. Приложеніе—«Аленькой цвѣточкѣ», сказка ключницы Палаген. II. «Воспоминанія». Гимназія. Периодъ первый. Периодъ второй. Университетъ. Собирание бабочекъ. Оглавленіе 4-хъ номеровъ журнала «Аркадскіе Пастушки»: Изъ оды Императору Александру. Осень. Швейцарія въ Казани. Путешествіе въ Болгары. Осень. Оглавленіе и содержаніе 3-хъ номеровъ «Журнала нашихъ занятій»: Двѣ первыя строфы оды. Война. Дмитрій при рѣкѣ Донѣ. О распространеніи и пользѣ литературы.

Томъ третій: I. Наташа (неоконченная повѣсть) съ примѣчаніемъ И. С. Аксакова. Очеркъ зимняго дня. Буранъ. Яковъ Емельяновичъ Шушеринъ (Дмитріевъ). Нѣсколько словъ о статьѣ «Воспоминанія старого театрала». Встрѣча съ Мартининами. Воспоминанія объ А. С. Шишковѣ. Знакомство съ Державинымъ Воспоминанія о Д. Б. Мертваго. Біографія М. Н. Загоскина. Приложенія къ біографіи: а) два письма Пушкина, б) Жуковскаго, в) Мериме и Ольберга. Знакомство съ Гоголемъ. Письмо къ друзьямъ о смерти Гоголя. Нѣсколько словъ о біографіи Гоголя. Нѣсколько словъ о М. С. Щепкинѣ. Письма къ С. П. Шевыреву. Письма къ М. А. Максимовичу. О письмахъ къ Н. И. Надеждину. Письмо А. С. Хомякова. Посланіе къ А. Н. Майкову. При вѣсти о грядущемъ освобожденіи крестьянъ стихотвореніе.

Томъ четвертый. *Литературные и театральные воспоминанія:* 1812, 1815, 1816 1820 и 1821 годы. 1826 годъ. Приложенія къ «Литератур. и театр. восп.»: I. О заслугахъ кн. Шаховскаго въ драматической словесности. II. Два письма кн. А. А. Шаховскаго къ С. Т. Аксакову. III. Письмо къ издателю «Москов. Вѣст.» о значеніи поэзіи Пушкина.

Произведенія раннію періода дѣятельности С. Т. Аксакова:

I. *Стихотворенія:* 1. Посланіе къ А. И. Казначееву. 2. Пѣснь пира. 3. «За престолы міра». 4. Десятая сатира Буало: на женщинъ. 5. Посланіе къ кн. Вя-емскому. 6. Элегія въ [новомъ] вкусѣ. 7. Призываю (подражаніе вѣмецкому). 8. Уральский казакъ. 9. Роза и пчела (басня). 10. Отрывки изъ 8 сатиры Буало: на человѣка. 11. Рыбачье горе (русская идиллія). 12. Эпиграмма.

II. *Драматический произведенія* (переводы).

1. «Філоктеть», трагедія въ трехъ дѣст. Софокла. 2. «Школа мужей». комедія Мольера. 3. «Скупой» комедія Мольера.

III. «*Театральная и литературная статьи и замѣтки*». (изъ «Вѣст. Евр.» и «Моск. Вѣст.»).

Томъ пятый: Записки объ ужении рыбы. *Рассказы и воспоминанія охотника о разныхъ охотахъ.* I. Записки объ ужении рыбы, съ политическими и примѣчаніями К. Ф. Рулье.— Вступленіе.— Происхожденіе удочки.— Удилище.— Леса.— Поплавок.— Грузило.— Крючекъ.— Поводокъ.— Устройство удочки.— Насадка.— О выборѣ мѣста.— Птичка.— Объ умѣніи удить.— О рыбахъ вообще.— Лотокъ.— Верховка.— Голецъ.— Пескарь.— Уклейка.— Елецъ.— Ершъ.— Плотица.— Красноперка.— Язъ.—

Роловль.—Лещь.—Сазань.—Карпъ или Карпія.—Линь.—Карась.—Окунь.—Щука.—Жерехъ, шересперъ.—Судакъ.—Лохъ красуля.—Форель.—Пеструшка.—Кутема.—Налимъ.—Сомъ.—Раки.—Крючки и жерлицы.—Блеска.—Ходъ рыбы противъ течения воды» (статья К. Ф. Руле). П. *Рассказы и воспоминания охотника*. Читателямъ.—Вступление.—Полая вода и ловля рыбы въ водопойе, охота съ острогою.—Странный случай. О соколиной охотѣ. Новые охотничьи замѣтки.—Охота съ истребомъ и перепелами.—Прилетъ дичи въ Оренбургской губерніи.—Ловля шагромъ тетеревовъ и куропатокъ.—Выниманье лисять.—Ловля мелкихъ звѣрьковъ.—Капканный промысел.—Гоньба лисицы и волковъ въ Оренбургской губ.—О соловьяхъ, письмо И. С. Тургенева.—Нѣсколько словъ о сувѣріяхъ и примѣтахъ.—Пари охотниковъ.—Счастливый случай.—Странный случай на охотѣ.—Самый необыкновенный случай.—Замѣчанія и наблюденія охотника братъ грибы (съ политиражами).

Томъ шестой: Записки ружейного охотника, съ политиражами и примѣчаніями К. Ф. Руле. *Вступленіе*. Техническая часть ружейной охоты.—Ружье, ружейный стволъ.—Ложе, прикладъ, шомполъ или прибойникъ.—Зарядъ.—Порохъ.—Дробь, картечь, пулья, жеребья. Пыжи.—Пистоны.—Лягавая собака.—Пролеть и прилетъ дичи.—Раздѣленіе дичи на разряды. I. *Болотная дичь*.—Приступъ къ описанію болотной дичи.—Болота.—Бекасъ.—Дупельникъ.—Гарпунецъ.—О вкусѣ мяса и приготовленіе бекасинныхъ породъ.—Болотный куликъ.—Красноножка или щеголь.—Куликъ.—Сорока.—Рѣчной куликъ.—Травникъ.—Поручейникъ.—Черпышъ.—Фи-фи—Поплавокъ.—Чернозобикъ или краснозобикъ.—Морской куличекъ.—Зуекъ или переворотникъ.—Песочникъ или песчаникъ.—Куличекъ воробей.—Болотный турхтанъ.—Болотная курица.—Болотный коростель или коростеликъ.—Чибисъ или пиголица.—Разрядъ II: *Водяная или водоплавающая дичь*: Приступъ къ описанію дичи: Воды.—Лебедь.—Гусь.—Утки вообще.—Кряковая утка.—Шилохвость.—Сѣрая утка.—Свиязь-широконоска.—Чирокъ.—Нырокъ.—Чернь.—Гагара.—Гоголь.—Лысуха или лысена (водяная птица). Разрядъ III: *Степная или полевая дичь*: Степь.—Дрозды.—Тудакъ или дудакъ.—Журавль.—Стрепетъ.—Кроншнепъ, или степной куликъ.—Кречетка, степная пиголица.—Куропатка полевая или сѣрая.—Сикия-ржалки, озимыя куры.—Морская ласточка. Красноустъ (Курухтаны полевые).—Корестель полевой или луговой.—Перепелка.—Разрядъ IV. *Лысая дичь. Лѣсь*.—Глухой тетеревъ, глухарь, моховикъ.—Тетеревъ березовикъ.—Рябчикъ.—Бѣлая лѣсная куропатка.—Голуби.—Вяхарь или витюшть.—Клинтухъ, дикий голубь.—Горлица или горлинка.—Дрозды.—Вальдшнепъ, лѣсной куликъ.—Зайцы.—Мелкія птички.

Хронологически литературная дѣятельность Сергея Тимофеевича слагалась въ совершенно иномъ порядке.

Началь онъ писать еще въ послѣдній годъ пребыванія въ гимназіи. Какъ всѣ гимназисты на свѣтѣ, товарищи Сергея Тимофеевича издавали рукописный журналъ, который, отражая духъ времени, былъ наполненъ сентиментальными, цвѣтистыми статееками и стихами во вкусѣ Карамзина. Назывался журналъ «Аркадскіе Пастушки» и подписывались сотрудники его разными мифологическими пастушескими именами, какъ напр.: Адонисъ, Дафнисъ, Аминть, Ирисъ, Дамонъ, Палемонъ и т. д. Сергей Тимофеевичъ прямого участія въ «Аркадскихъ Пастушкахъ» не принималъ, за то, подстрем-

каемый примѣромъ, втихомолку писалъ очень много. Долго крѣпился молодой сочинитель, но, наконецъ, не выдержалъ и въ 1805 г. дебютировалъ въ кругу товарищѣй стихотворенъемъ «Къ Соловью»:

Другъ весны, пѣвецъ любезнѣйшій
Будь единой мнѣ отрадою,
Уменьши тоску жестокую,
Что снѣдаетъ сердце страстное,
Пой красы моей возлюбленной,
Пой любовь мою къ ней пламенную,
Исчислай мои страданья всѣ,
Исчислай моей дни горести и т. д.

Само собою разумѣется, что никакой такой жестокой красавицы на свѣтѣ не было и юный авторъ даже и не знакомъ былъ ни съ какой дѣвушкой. Стихотвореніе имѣло успѣхъ и поощреній имъ Сергѣй Тимофеевичъ вмѣстѣ съ закадычнымъ другомъ своимъ Александромъ Панаевымъ и извѣстнымъ впослѣдствіи математикомъ Перецовщикомъ основывалось въ 1806 г. новый литературный органъ — «Журналъ нашихъ занятій». «Это было предпріятіе уже болѣе серьезное», разсказываетъ Сергѣй Тимофеевичъ, и съ другимъ направлениемъ, чѣмъ «Аркадскіе Пастушки». Въ «Аркадскихъ Пастушкахъ» господствовали идеи Карамзина, въ «Журналѣ-же нашихъ занятій» Аксаковъ, пришедший, какъ мы уже знаемъ, въ необыкновенный восторгъ отъ Шишковскаго «Разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ», старался проводить и отстаивать идеи первого зачинателя «славянофильства». Нельзя не остановиться на этомъ раннемъ проявленіи умственной оригинальности Аксакова. Чтобы выступить противъ всеобщихъ симпатій, которыми пользовался Карамзинъ среди товарищѣй Сергѣя Тимофеевича, надо было обладать не малымъ запасомъ духовной самостоятельности и вотъ почему мы тутъ не можемъ не усмотреть еще одного доказательства того, что такъ настойчиво старались доказать на предыдущихъ страницахъ настоящей статьи, именно, что не попади Аксаковъ въ мелкую сферу театральныхъ интересовъ, не сосредоточь онъ всей своей духовной дѣятельности на декламаціи и на желаніи по возможности тѣснѣе примкнуть къ закулисному миру, который на самомъ-то дѣлѣ былъ совершенно чуждъ основному характеру его литературного дарованія, и это оригинальное дарование несомнѣнно гораздо раньше проявилось-бы. Примѣръ «Журнала нашихъ занятій» показываетъ, что Аксакову было что сказать, что писательская личность начинала уже въ немъ складываться и что ей только недоставало надлежащаго повода, чтобы развернуться. Но могла-ли она оказаться въ стихотворномъ перевѣдѣ «Філоктета», который является ближайшимъ, въ хронологіи

ческомъ порядке, послѣ «Журнала моихъ занятій» проявленіемъ литературныхъ наклонностей Сергея Тимофеевича, когда стихотворный талантъ не былъ его удѣломъ и когда переводъ былъ затѣянъ не потому, что переводчика къ тому побуждала внутренняя потребность, а единствено затѣмъ, чтобы доставить Шушерину эффеクトную пьесу для бенефиса? Нельзя, конечно, сказать, чтобы сравнительно съ другими стихотворными переводами того времени «Филоктетъ» былъ особенно уже плохъ, но все таки любой отрывокъ изъ него показываетъ, что стихи не были тѣмъ поприщемъ, на которомъ переводчикъ могъ прославиться. Беремъ нѣсколько строкъ для примѣра совершенно наудачу

Ты хочешь, чтобы уэрѣль Фебъ, пламенемъ горящъ,
Какъ робкій Филоктетъ, Ул исса близъ сѣдашъ,
Спокойно на сыновъ Атрѣя мещеть взоры;
Скорѣ въ пропасти преобразятся горы!
И отчего, скажи, ты въ грекахъ ждешь премѣнъ,
Надѣвшись впередъ счастливѣйшихъ временъ? и т. д.

За «Филоктетомъ», законченномъ въ 1812 году, но напечатанномъ въ 1816 г., послѣдовало оставшееся въ рукописи «посланіе къ А. И. Казначееву» (напеч. впервые въ «Рус. Арх.» 1878 г.) Въ немъ молодой другъ Шишкова выражалъ негодованіе по поводу того, что нашествіе французовъ ничуть не уменьшило галломанія тогдашняго общества. Онь было думалъ, что

. сія ужасная година
Не только будетъ зла, но и добра причина
именно, что она
Къ французамъ поселить навѣки отвращеніе,
Что будемъ ненависть питать къ нимъ безконечну
За мысль одну: народъ Россійскій низложить!
За мысль, что будетъ Россъ подвластнымъ Галлу жить!

А вышло совсѣмъ не то. Французскіе плѣнники
Гораздо болѣе вдыхаютъ сожалѣнья,
Чѣмъ россіи воины, изранены въ сраженьяхъ!
Имъ ввѣряютъ воспитаніе дѣтей, ихъ знакомствомъ дорожатъ.

А барынь и дѣвицъ чувствительны сердца
(Хотя липилися—кто мужа, кто отца)
Столь были тронуты французовъ заключенемъ,
Что всѣ на перерывѣ метались съ угѣшенiemъ.
Поруганный законъ, сожженье городовъ,
Убийство тысячей, сиротъ рыданье, вдовъ,
Могила свѣжая Москвы опустошенной,
Къ спасенюю жертвою святой опредѣленной—
Забыто все. Зови французовъ къ намъ на балъ!
Всѣ скачутъ, всѣ бѣгутъ къ тому, кто ихъ позвалъ!

И воть прелестныя россійскія дѣвицы,
 Руками обхватясь, уставя томны лицы
 На раззорителей отеческой страны
 (Дѣсториныхъ сихъ друзей, питомцевъ сатаны)
 Вертятся вихрями, себя позабываютъ,
 Французовъ—языкомъ французскимъ восхищаются.
 Иль брата, иль отца на комъ дымится кровь—
 Тотъ дочекъ, иль сестрѣ болтаеть про любовь!...
 Тамъ—мужа свѣтлый взоръ мракъ смертный покрываетъ,
 А здѣсь—его жена его убийцъ ласкаетъ...

Какъ и относительно «Филоктета» приходится сказать, что по тому времени стихи эти не то чтобы уже очень плохи были. Но и хорошаго за то мало. И во всякомъ случаѣ даже приблизительно ничего такого, чтобы предвѣщало виднаго литературнаго дѣятеля. А между тѣмъ Сергию Тимофеевичу въ это время уже было 23 года—возрастъ когда всякое *крупное* дарованіе почти всегда уже успѣваетъ опредѣлиться.

«Посланіе» къ Казначееву принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ писаній «предварительнаго» періода литературной дѣятельности Сергию Тимофеевича, которая не имѣютъ прямаго или косвеннаго отношенія къ театрманіи его. Такихъ произведеній — нѣсколько «шѣсень», басенъ, эпиграммъ, пародій—мы насчитали менѣе десятка. Заглавія ихъ мы привели выше въ оглавленіи полнаго [собранія], останавливаться же на содержаніи ихъ не стоить: они приблизительно такого-же литературнаго достоинства, какъ цитированное нами «посланіе» къ Казначееву, нѣкотораяя немножко хуже, нѣкотораяя немножко лучше, а въ общемъ всѣ онѣ одинаково мало говорили о сколько-нибудь замѣтномъ дарованіи.

Большая-же часть «предварительнаго» періода литературной дѣятельности Сергию Тимофеевича, говоря арифметически $\frac{9}{10}$ ея, имѣть непосредственное отношеніе къ театру и къ вкусамъ того кружка, къ которому Аксаковъ крѣпко привязался благодаря своей страсти въ декламаціи. Въ этомъ кружкѣ господствовали ложно-классическіе вкусы, для этого кружка законодателемъ литературнымъ былъ Буало и воть молодой литераторъ садится за переводъ его сатиръ, сначала десятой (1821 г.), а затѣмъ восьмой (1829 г.), хотя ёдкость всего менѣе уже была удѣломъ мягкосердечнаго Сергию Тимофеевича. Этому-же кружку, всѣ члены котораго, начиная съ «почтеннѣйшаго друга Федора Федоровича Кокошкина» (такъ гласило посвященіе перевода X сатиры Буало) и кончая Шаховскимъ, Верстовскимъ, Загоскинымъ и Писаревымъ были чиновниками московской театральной дирекціи, этому-же кружку, хотѣли мы сказать, нужны

были пьесы для постановки и опять Сергѣй Тимофеевичъ является къ его услугамъ: берется за нелегкій трудъ стихотворного перевода «Школы Мужей» Мольера (1819 г.) и за прозаический «Скупшого» (1828 г.) †. Наконецъ этому-же кружку, въ виду ожесточенныхъ нападокъ на него Полевого, понадобился защитникъ въ текущей журналистикѣ и Сергѣй Тимофеевичъ берется пособить горю: онъ уговариваетъ Погодина, издававшаго въ концѣ двадцатыхъ годовъ «Московскій Вѣстникъ» и отъ времени до времени и безъ того удѣлявшаго мѣсто театральнымъ статейкамъ Аксакова, завести особые «Драматическое прибавленіе», которое сплошь однимъ Сергѣемъ Тимофеевичемъ и писалось.

Обозрѣвая всю эту театральную часть литературной дѣятельности Сергѣя Тимофеевича, не можемъ не вторить опять, что для всякаго другого опа была-бы доволынъ почтенна. Такъ, переводы Буало хотя и не отличаются особенними тонкостами, но вполнѣ удовлетворительны. Переводъ «Школы Мужей» представляетъ шагъ впередъ по сравненію съ «Филоктетомъ» и понятно почему. Въ «Филоктетѣ» слогъ торжественный и мѣстами, благодаря Лагарповскимъ вставкамъ, пышечный, въ «Школѣ Мужей» простой и естественный. Еще лучше прозаический переводъ «Скупшого» и опять понятно почему: помимо простоты и естественности содержанія Сергѣй Тимофеевичъ могъ тутъ пустить въ ходъ обыкновенную разговорную рѣчь, которую онъ владѣль съ такимъ величиемъ совершенствомъ. Что касается, наконецъ, театральныхъ статеекъ, то изобилуя множествомъ безвкусицъ, преклоненiemъ напр. предъ пустыми водевилями Писарева, и главнымъ образомъ представляя собою рядъ чисто-репортерскихъ отмѣтокъ объ игрѣ актеровъ, онъ все-таки порою проводятъ мысли довольно замѣчательныя. Такъ, Аксаковъ неоднократно совѣтовалъ актерамъ играть по возможности просто и ближе къ дѣйствительной жизни. Для тѣхъ временъ, когда рыканіе и завываніе Каратахина давало тонъ актерской техники, подобный совѣтъ былъ рѣшительно въ диковинку. Много и другихъ весьма дальнихъ совѣтовъ давалъ Сергѣй Тимофеевичъ современнымъ актерамъ, и тѣ ихъ очень цѣнили, о чемъ даже разъ печатно заявили, когда рецензентъ «Моск. Телеграфа» Ущаковъ въ одной полемической статьѣ написалъ, что московскіе актеры не обращаютъ вниманія на указанія Аксакова.

† Ни «Школа Мужей», ни «Скупой» своевременно напечатаны не были и впервые появляются въ свѣтѣ въ недавнемъ полномъ собраніи сочиненій Сергѣя Тимофеевича. Давали-же ихъ на сценѣ по рукописи.

Такимъ образомъ въ совокупности и получается то, что мы уже разъ оказали по поводу позднаго разцвѣта таланта Сергія Тимофеевича, именно, что еще до появленія его «настоящихъ», произведеній онъ успѣлъ занять довольно видное мѣсто среди московскихъ литераторовъ двадцатыхъ годовъ. Но, конечно, вмѣстѣ съ этими литераторами онъ потонулъ бы въ рѣкѣ забвенія, еслибы въ началѣ тридцатыхъ годовъ въ условіяхъ духовной жизни его не произошли бы важныхъ измѣненій, выведшихъ, наконецъ, его талантъ изъ спер-таго воздуха московскихъ кулисъ на широкую дорогу изображеній дѣйствительной жизни.

Къ началу тридцатыхъ годовъ кругъ знакомства Сергія Тимофеевича становится рѣшительно инымъ. Умираетъ Писаревъ, стущевывается Кокошкинъ и Шаховскій и съ однимъ только добродушнымъ Загоскинымъ, который, къ тому-же, въ это время и самъ отъ мелкихъ театральныхъ пьесъ переходить къ болѣе широкой области исторического романа, Аксаковъ по прежнему ведеть тѣсную дружбу. Но уже дружбу чисто-личного свойства. Въ идейномъ-же отношеніи Сергій Тимофеевичъ начинаетъ подпадать подъ вліяніе молодого университетскаго кружка. Ближайшими къ нему людьми становятся теперь талантливый шеллингистъ Павловъ, отзывчивый Погодинъ, умный и ядовитый Надеждинъ и, наконецъ, собственный первый его — восторженный, ученый, переживавшій тогда свой *Sturm und Drang* Константина Сергіевичъ. Сергій Тимофеевичъ любовно подчинялся высокодаровитому сыну, который такъ сильно пре-восходилъ его и ученоствомъ, и широтою мышленія. Сынъ въ свою очѣредь платилъ отцу безконечною привязанностью, съ образчиками, которой мы ближе познакомимся при біографіи Константина Сергіевича, и въ результатѣ получалось необыкновенно гармоничное общеніе. Главныя выгоды его выпали на долю Сергія Тимофеевича, который впервые за 40 лѣтъ своей жизни попалъ, наконецъ, въ атмо-сферу серьезныхъ умственныхъ и общественныхъ интересовъ. Весь великий расколъ русской общественной мысли, которымъ означенено-вывается конецъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, вся история выдѣленія славянофильства и западничества происходить, благодаря сыну, на глазахъ и даже въ домѣ Сергія Тимофеевича. Не могло же все это пройти безслѣдно для умственного развитія его.

Какъ для человѣка съ дарованіемъ беллетристическимъ, наиболѣе благотворнымъ послѣдствіемъ перемѣны умственной атмосферы, которую теперь началь дышать Сергій Тимофеевичъ, была близость къ Гоголю. Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что продолжай Аксаковъ вращаться въ кружкѣ прежнихъ своихъ зна-
Digitized by Google

мыхъ и этой близости-бы не было. Извѣстно, что къ Гоголю дурно относились не только самые старинные литературные друзья Сергея Тимофеевича—разные ископаемые приверженцы Шишковскихъ теорій, но почти вся тогдашняя литература. Еще люди добродушные, въ родѣ послѣдняго изъ прежнихъ знакомцевъ Сергея Тимофеевича—Загоскина, просто не понимали Гоголя, но большинство литераторовъ прямо вознавидѣлъ малороссийскаго «шута», когда публика начала зачитываться его «сказками». Исключение составлять молодой московскій университетскій кружокъ какъ въ профессорской своей части, такъ еще болѣе въ свой студенческой части, группировавшейся около проходившихъ тогда университетскій курсъ Константина Аксакова, Станкевича и Вѣлинскаго. Въ своихъ неоконченныхъ воспоминаніяхъ о Гоголѣ Сергей Тимофеевичъ прямо говоритъ, что только одна московская университетская молодежь и прозрѣла сразу, что въ лицѣ Гоголя народился геніальный писатель.

Во главѣ этихъ молодыхъ энтузиастовъ шель Константинъ Сергеевичъ, сразу повысившій температуру отношеній, завязавшихся въ началѣ тридцатыхъ годовъ между домомъ Сергея Тимофеевича и Гоголемъ до точки, которой они никогда-бы не достигли, если-бы домъ Аксаковыхъ имѣлъ своимъ представителемъ одного только стѣпенного и уже пожилого тогда Сергея Тимофеевича. Константинъ Аксаковъ относился къ Гоголю съ такимъ молитвеннымъ восторгомъ, что заражалъ имъ рѣшительно всѣхъ окружающихъ, и въ результатѣ автора «Вечеровъ ва хуторѣ близь Диканьки» такъ тепло принимали въ домѣ Сергея Тимофеевича, такъ баловали и окружали всякаго рода предупредительностью, что и онъ, въ свою очередь, не могъ не платить такимъ-же отношеніемъ. Цѣлыхъ двадцать лѣтъ, съ 1832 до самой смерти Гоголя, тянулась эта дружба, поддерживаемая и личными спопшніями, и перепиской и вообще всякаго рода духовнымъ общеніемъ. Въ домѣ Сергея Тимофеевича Гоголь обыкновенно читалъ въ первый разъ свои новыя произведенія, и въ свою очередь Сергей Тимофеевичъ Гоголю первому читалъ свои беллетристическія произведенія еще въ то время, когда ни онъ самъ, ни его окружающіе не подозрѣвали въ немъ будущаго знаменитаго писателя.

Близость съ Гоголемъ до страннаго скоро подѣйствовала на соображеніе литературной дѣятельности Сергея Тимофеевича направление діаметрально—противоположнаго тому, котораго онъ до того держался. Есть между беллетристическими произведеніями Сергея Тимофеевича небольшой очеркъ «Буранъ». На ряду съ «Семейной Хроникой» этотъ очеркъ не имѣетъ особеннаго значенія, хотя напи-

санъ прекраснымъ слогомъ и съ интересомъ читается. Но для того времени когда «Буранъ» появился, для 1834 года онъ имѣлъ рѣши-тельныя литературныя достоинства, лучшимъ доказательствомъ чего можетъ служить нижеслѣдующая исторія, съ большимъ злорадствомъ разсказанная Сергеемъ Тимофеевичемъ, когда онъ въ концѣ 50-хъ годовъ включалъ «Буранъ» въ отдельное изданіе своихъ сочиненій

Въ 1833 г. извѣстный ученый и другъ Гоголя — Максимовичъ за-тѣять альманахъ «Денница» и обратился къ Аксакову съ просьбою что-нибудь написать для него. Просьба эта нѣсколько затруднила Сергея Тимофеевича, очень занятаго тогда работами по преобразо-ванію Межеваго Института.

«Я по истинѣ не имѣлъ свободнаго досуга», сообщаетъ онъ «но обѣщаніе Максимовичу надо было исполнить. Хотя прошло уже шесть лѣтъ, какъ я остав-илъ Оренбургскій край, но картины лѣтней и зимней природы его были свѣжи въ моей памяти. Я вспомнилъ страшныя, зимнія метели, отъ которыхъ и самъ бывалъ въ опасности и даже одинъ разъ ночевалъ въ стогѣ сѣна; вспомнилъ слышанный мною разсказъ о пострадавшемъ обозѣ — и написалъ «Буранъ». Я на-ходился тогда (какъ и всегда) въ враждебныхъ литературныхъ отношеніяхъ съ издателемъ «Московскаго Телеграфа», а издатель «Денницы» былъ съ нимъ ко-ротко знакомъ, участвовалъ прежде въ его журналь и потому могъ надѣяться, что его альманахъ будетъ встрѣченъ въ «Телеграфѣ» благосклонно. Благосклон-ный отзывъ „Телеграфа“ имѣлъ тогда важное значеніе въ читающей публикѣ и былъ очень нуженъ для успѣшнаго расхода книги. Я очень хорошо зналъ, что помѣщеніе моей статьи возбудить гневъ г. Полевого и повредить «Денницѣ». Брань издателя «Телеграфа» для меня была не новость: я давно уже былъ къ вѣй совершенно равнодушенъ; но, не желая вредить успѣху «Денницы», я дала мою статейку съ условіемъ — не подписывать своего имени, съ условіемъ, чтобы никто, кроме г. Максимовича, не зналъ, что «Буранъ» написанъ мною. Условіе было соблюдено въ точности. Когда «Денница» вышла въ свѣтъ, «Московскій Телеграфъ» расхвалилъ ее и особенно мою статейку. Рецензентъ «Телеграфа» сказа-ть, что это «мастерское изображеніе зимней вынужи въ степяхъ Оренбург-скихъ» и что, «если это отрывокъ изъ романа или повѣсти, то онъ поздравляетъ публику съ художественнымъ произведеніемъ». Не ручаюсь за буквальную точ-ность приводимыхъ мною словъ, но именно въ такомъ смыслѣ и въ такихъ выра-женіяхъ былъ напечатанъ отзывъ «Телеграфа». Какова же была досада г-на По-левого, когда онъ узналъ имя сочинителя статьи! Онъ едва не поссорился за это съ издателемъ «Денницы». Я помню, что одинъ изъ общихъ нашихъ знакомыхъ, боль-шой хотникъ дразнить людей, преславировалъ г. Полевого похвалами за его благо-родное безпристрастіе къ своему извѣстному врагу. Положеніе вышло затрудни-тельное: издателю «Московскаго Телеграфа» нельзя было признаться, что онъ не зналъ имени сочинителя, нельзя и отступиться отъ своихъ словъ, и г. Полево-вой долженъ былъ молча глотать эти поззолоченные пилюли, то есть слушать похвалы своему благородному безпристастію».

Рассказывая эту исторію, Сергей Тимофеевичъ такъ увлекся злорадствомъ, что совершенно не замѣтилъ какой онъ прекрасный атtestать выдасть литературному вкусу своего недруга. Отнесшись

къ неподписанной никакимъ громкимъ литературнымъ именемъ маленькой статьѣ съ такими похвалами, значить дѣйствительно обладать даромъ значительной литературной проницательности. И не будь Сергій Тимофеевичъ такъ овобленъ на Полевого, онъ можетъ быть, увидѣлъ бы тутъ, что въ распѣ между его кружкомъ и издателемъ «Моск. Телеграфа», литературная правда, т. е. вопросъ о томъ, кто изъ спорившихъ партіи болѣе представлялъ собою литературные потребности и литературный прогрессъ эпохи, была не на сторонѣ друзей Сергія Тимофеевича. Насъ, впрочемъ, во всей истории съ «Бураномъ» интересуютъ совсѣмъ другое, именно то, что какихъ-нибудь 5—6 страничекъ могли обратить на себя вниманіе. Значитъ въ нихъ было нѣчто такое, что выдвигало ихъ надъ литературнымъ уровнемъ времени.

И дѣйствительно, въ нихъ было нѣчто совсѣмъ новое сравнительно съ литературными вкусами тридцатыхъ годовъ, было нѣчто, что покажется въ «изящной словесности» того времени представлялось однимъ Гоголемъ — *обращеніе къ живой дѣйствительности*.

Въ разсказѣ Сергія Тимофеевича о «Буранѣ» чрезвычайно характерно то, что онъ «не имѣлъ свободнаго досуга» и потому далъ Максимовичу *только воспоминаніе* о дѣйствительномъ случаѣ. Имѣй онъ, значитъ, свободное время и онъ-бы далъ Максимовичу что нибудь «солидное» по литературнымъ вкусамъ своихъ прежнихъ пріятелей — какой-нибудь переводъ изъ Буало, какую-нибудь идилю, басню, поэму.

Такимъ образомъ теоретически Сергій Тимофеевичъ продолжалъ еще жить старыми литературными традиціями своими, но безсознательно онъ всесдѣло принадлежалъ уже новому направленію, внесенному Гоголемъ и удивительно подходившему къ характеру его таланта. При всей своей относительной незначительности «Буранъ» — первое изъ произведеній Сергія Тимофеевича, гдѣ чувствуется хороший писатель, первое, гдѣ вы видите, что исключительно реалистическое дарование автора нашло, наконецъ, свое настоящее примененіе. Въ общемъ ансамблѣ произведеній Сергія Аксакова «Буранъ», конечно, занимаетъ слишкомъ второстепенное мѣсто, чтобы къ нему прилагать какіе-нибудь особенно громкие эпитеты, но такъ какъ въ немъ слѣдуетъ цѣнить литературный поворотъ, новизну литературнаго метода, то по поводу «Бурана» безъ всякаго риторизма можно сказать, что Аксаковъ, пріобщившійся къ новому направленію, внесенному Гоголемъ, точно Антей, приложившійся къ землѣ, нашелъ въ себѣ новые силы, которыя вывели его наконецъ на настоящую дорогу.

Во всей дальнѣйшей своей литературной дѣятельности Аксаковъ уже не сворачивалъ съ пути, на который его натолкнуль Гоголь. Освободившись отъ поглощавшей все его время службы въ Межевомъ Институтѣ, Сергѣй Тимофеевичъ уже въ 1840 г. началъ набрасывать «Семейную Хронику», которая, впрочемъ, въ окончательномъ видѣ появилась только въ 1856 г. Отрывки-же изъ нея были безъ имени автора напечатаны въ «Моск. Сборникѣ» 1846 г.: Гоголь, какъ мы уже выше сказали, первый узналъ про эти отрывки и первый оцѣнилъ по достоинству ихъ высокія литературныя достоинства, прямо вытекавшія изъ того, что авторъ глубоко захватилъ живую, реальную дѣйствительность.

Публика-же впервые познакомилась съ удивительно-жизненнымъ талантомъ Сергѣя Аксакова по охотничимъ книгамъ его—«Запискамъ обѣ уженѣй рыбѣ», появившимся въ 1847 г. «Запискамъ ружейнаго охотника оренбургской губерніи», появившимся въ 1852 г. и «Разсказамъ и воспоминаніямъ охотника»—появившимся въ 1855 г.

«Записки обѣ уженѣй рыбѣ», «Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи» и «Разсказы и воспоминанія охотника», это не тѣ «Записки» или «Разсказы охотника», въ родѣ Тургеневскихъ напр., гдѣ охота играетъ роль аксессуара, нужнаго для того, чтобы удобнѣе преподнести читателю ту или другую романическую исторію, будто-бы наблюденную или подслушанную авторомъ-охотникомъ. Нѣть, по основнымъ авторскимъ намѣреніемъ и по самому характеру выполненія обѣ охотничии книги Сергѣя Тимофеевича имѣли цѣли самыя незатѣйливыя и непосредственные. И это, не смотря на то, что при сочиненіи второй своей звѣроловной книжки — «Записокъ ружейнаго охотника», авторъ изъ неожиданнаго *литературно-успѣха* «Записокъ обѣ уженѣй рыбѣ», изъ тѣхъ единодушныхъ похвалъ, которыя были вызваны чисто *художественными* сторонами ихъ, не могъ, конечно, не понять, что въ немъ кроется серьезное писательское дарованіе. Всякий другой на его мѣстѣ навѣрное увлекся-бы, не удержался бы въ скромныхъ предѣлахъ разныхъ техническихъ указаній и совѣтовъ обѣ охотѣ. Но Сергѣй Тимофеевичъ не поддался искушенію и зная, напр., за собою мастерское умѣніе рисовать картины природы, не злоупотребилъ этимъ умѣніемъ и давать ихъ какъ разъ въ томъ количествѣ, въ какомъ оно требовалось ходомъ изложенія. И вотъ почему вторая охотничья книга его сохранила главную прелесть первой — простоту, непосредственность и свѣжесть.

Строго говоря, охотничии книги Сергѣя Тимофеевича для современного читателя имѣютъ мало значенія и даже прямо скучны. Въ

литературѣ конца сороковыхъ и начала пятидесятыхъ годовъ, которая до того зчала Сергѣя Тимофеевича какъ автора мелкихъ журнальныхъ статеекъ, плохихъ стиховъ и посредственныхъ переводовъ, и «Записки объ ужены рыбы» и «Записки ружейного охотника» были очень пріятнымъ сюрпризомъ. Для читателя тѣхъ лѣтъ, приступавшаго къ обѣмъ этимъ книгамъ въ надеждѣ узнать что-нибудь о пискаряхъ и куликахъ и вдругъ натыкавшагося на первоклассныя описанія природы, на чуднымъ языкомъ изложенные и ярко, выпукло набросанныя характеристики представителей животнаго царства, для такого читателя охотничыи книги Сергѣя Тимофеевича были цѣннымъ литературнымъ приобрѣтеніемъ и могли служить источникомъ большого художественаго наслажденія. Но для читателя позднѣйшаго времени, который имѣеть въ своемъ распоряженіи «Семейную Хронику», гдѣ есть всѣ качества, придающія обаяніе «Запискамъ» объ ужены рыбы и ружейного охотника и гдѣ, кроме того, есть много другихъ первоклассныхъ достоинствъ, а главное гдѣ все это не разбросано рѣдкими оазисами среди десятковъ страницъ, наполненныхъ скучными техническими подробностями, а скомпоновано въ одинъ цѣлый, гармоничный художественный разсказъ, для этого позднѣйшаго читателя, говоримъ мы, нѣть надобности читать охотничыи книги Сергѣя Тимофеевича, такъ какъ «Семейная Хроника» даетъ ему полное представление о всѣхъ сторонахъ духовной физіономіи ея автора.

Но такая точка зрѣнія не можетъ имѣть мѣста въ исторіи литературы, не можетъ также называться подходящей для литературной критики, которая, выше всего, правда, цѣнить въ каждомъ авторѣ умѣніе сливать всѣ стороны художественного творчества въ одно гармоничное цѣлое, но которую, вмѣстѣ съ тѣмъ, прежде всего интересуетъ размахъ таланта.

Съ послѣдней точки зрѣнія охотничыи «записки» Аксакова несомнѣнно должны быть признаны весьма замѣчательными литературными произведеніями, въ которыхъ великое умѣніе живописать словами проявилось весьма ярко. А еще болѣе въ нихъ проявился тотъ художественный пантегизмъ, та способность

Съ природою жизнью одною дышать
которая дается весьма немногимъ избранникамъ.

Такъ, если мы присмотримся къ Аксаковскому пейзажу, намъ въ немъ сразу бросится въ глаза одно изъ самыхъ высокихъ достоинствъ какъ литературнаго, такъ и живописнаго пейзажа — полное отраженіе авторской личности и авторскаго настроенія. И въ живописи и въ литературѣ пейзажъ самъ по себѣ совершенно не интересенъ.

По существу его можетъ замѣнить фотографія и естественная исторія. Художественное же значеніе пейзажъ имѣть лишь постольку, по скольку онъ прочувствованъ, по скольку читателю становится яснымъ то настроеніе, которое охватывало автора, когда онъ наблюдалъ природу, по скольку природа, сама по себѣ безразличная и голодная, прошедши чрезъ нравственноѣ существо наблюдателя—творца оживляется имъ и становится явленіемъ не только физического, но и духовнаго міра.

На первыхъ-же страницахъ «Записокъ объ уженьѣ рыбы» Аксаковъ самъ очень ясно формулировалъ то настроеніе, которое его охватываетъ при созерцаніи природы.

„Чувство природы «говорить онъ» врождено намъ, отъ грубаго дикаря до самого образованнаго человѣка. Противу-естественное воспитаніе, насильственный зовитія, ложное направлениe, должна жизнь—все это стремится заглушить мощный голосъ природы, и часто заглушаетъ, или даетъ искаженное развитіе этому чувству. Конечно, не найдется почти ни одного человѣка, который бы совершило равнодушіе къ такъ называемымъ красотамъ природы, то есть: къ прекрасному гѣстоположенію, живописному далекому виду, великолѣпному восходу или закату солнца, къ свѣтлой мѣсячной ночи, но это еще не любовь къ природѣ: это любовь къ ландшафтамъ, декорациямъ, къ приватическимъ переломленіямъ свѣта; это могутъ любить люди самые черствые, сухіе, въ которыхъ никогда не зарождалось или совсѣмъ заглохло всякое поэтическое чувство: за то ихъ любовь этимъ оканчивается. Приведите ихъ въ таинственную сѣнь и прохладу дремучаго лѣса, въ равнину необозримой степи, покрытой тучною, высокою травою; поставьте ихъ въ тихую, жаркую лѣтнюю ночь на берегъ рѣки, сверкающей въ тишинѣ юнаго мрака, или на берегъ соннаго озера, обросшаго камышами; окружите ихъ благовоніемъ цветовъ и травъ, прохладнымъ дыханіемъ водъ и лѣсовъ, не-уклоняющими голосами ночныхъ птицъ и насѣкомыхъ, всею жизнью творенія: да нихъ тутъ нѣтъ красоты природы, они непоймутъ ничего! Ихъ любовь къ природѣ вѣнчаная, наглядная они любятъ картины, и то не надолго; смотря за нихъ, они уже думаютъ о своихъ пошлихъ дѣлышкахъ и спѣшать домой въ свой грязный омутъ, въ пыльную душную атмосферу города, на свои балконы и террасы, подышать благовоніемъ загнившихъ прудовъ въ ихъ жалкихъ садахъ или вечерними испареніями мостовой, раскаленной дневнымъ солнцемъ... Но Богъ съ ними, деревня, не подмосковная, далекая деревня,—въ ней только можно чувствовать полную, неоскорблennую людми жизнь природы. Деревня, миръ тишина, спокойствіе! Безъискусственность жизни, простота отношеній! Туда бѣжать отъ праздности, пустоты и недостатка интересовъ; туда же бѣжать отъ неугомонной, вѣнчаной дѣятельности, мелочныхъ, своеокорыстныхъ, хлопотъ, безплодныхъ, безъцѣльныхъ, хотя и добросовѣстныхъ мыслей, заботъ и попеченій! На зеленомъ, шѣтущемъ берегу, надъ темной глубью рѣки или озера, въ тѣни кустовъ, подъ затѣмъ исполинскаго осокоря, или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями въ свѣтломъ зеркальѣ воды, на которомъ колеблются или неподвижно лежатъ наплавки ваши,—улягутся инимыя страсти, утихнутъ инимыя бури, разсыплются самолюбивыя мечты, разлетятся несбыточныя надежды! Природа вступить въ вѣчныя права свои, вы услышите ея голосъ, заглушенный на время

суетней, хлопотней, смѣхомъ, крикомъ и всей юношествомъ человѣческой рѣчи! Вѣѣтъ съ благовоннымъ, свободнымъ, освѣжительнымъ воздухомъ, вдохнете вы въ себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхожденіе къ другимъ и даже къ самому себѣ. Непримѣтно, мало-помалу, разсѣется это недовольство собою, эта презрительная недовѣрчивость къ собственнымъ силамъ, твердости воли и чистотѣ помышленій—эта эпидемія нашего вѣка, эта черная немочь души, чуждая здоровой натурѣ русского человѣка, но „заглядывающая и къ памъ за грѣхи наши....

Мы не станемъ утверждать, чтобы очерченное здѣсь настроеніе обнимало всѣ роды настроеній, которыя возможны для тонко—чувствующаго созерцателя, но въ данномъ случаѣ Аксаковъ и не выступаетъ въ роли критика-эстетика, а передаетъ свои личные ощущенія. Ему напр. съ его патріахально—добродушнымъ складомъ характера пріятны такие моменты въ жизни природы:

„Полдневное уженье на лодкѣ имѣть, по крайней мѣрѣ для меня, своего рода совершенство особенную прелесть. Для многихъ она покажется непонятною; для многихъ даже невыносимы палящіе лучи лѣтняго, полдневнаго солнца, которые, отражаясь въ водѣ, дѣйствуютъ съ удвоенною силою; но я всегда любилъ и люблю жары нашего кратковременного лѣта....

„Пишетъ знайный полдень. Совершенная гиша. Не колыхнеть зеленый, какъ весенній лугъ, широкій прудъ, затканый травами, точно спить въ отложихъ берегахъ своихъ; камыши стоять неподвижно. Материкъ и чистые отъ травъ протоки блестять, какъ зеркала: все остальное пространство воды сквозь проросло разновидными водяными растеніями. То яркозеленые, то темноцѣтѣные листья стоятъ по водѣ, но глубоко ушли корни ихъ въ тинистое дно; бѣлыя и желтые водяныя лилии, цвѣтъ лопуховъ, попросту называемыя кувшинчиками, и красные цвѣточки темной травы торчащіе надъ длинными вырезанными листьями—разнообразить зеленый коверъ покрывающій поверхность пруда. Какая роскошь тепла! Какая нѣга и льгота тѣлу! Какъ пріятна близость воды и возможность освѣжить его лицо и голову! Рыбъ также жарко: она какъ-будто сонная стоитъ подъ тѣнью травъ. Завида лакомую пищу, только на мгновеніе лѣниво выплываетъ она на чистыя мѣста, проинеемыя солнечными лучами, хватаетъ добычу и спѣшить подъ зеленые свои навѣси».

Приведенная только что картинка, при всей незначительности своего объема, даетъ полное представление о художественной манерѣ, которой держится Аксаковъ при воспроизведеніи картинъ природы. Чтобы лучше освѣтить ее, мы приведемъ небольшую цитату изъ рецензіи написанной Тургеневымъ въ 1853 г. по поводу «Записокъ ружейнаго охотника». Со многими частностями этой рецензіи трудно согласиться, но въ ней очень знаменательна экспертиза Тургенева, этого великаго мастера рисовать картины природы.

„Влестящея риторическія описанія“ говорилъ онъ „краснорѣчивыя разрисовки представляютъ гораздо менѣе затрудненій чѣмъ настоящія, теплые и живыя описанія; несравненно легче сказать утесу—что онъ *хочетъ*, молни, что она

фосфорическая змѣя, чѣмъ поэтически ясно передать намъ величавость утеса надъ моремъ или рѣзкую вспышку молніи. И оно понятно; ничего не можетъ быть труднѣе человѣку, какъ отдѣлиться отъ самого себя и вдуматься въ явленія природы... Бываютъ тонко развитыя, нервическія, раздражительно—поэтическія личности, которыхъ обладаютъ какимъ-то особыеннымъ возврѣнемъ на природу, особыеннымъ чутью къ красотѣ; они подмѣ чаютъ многіе оттѣки, многія часто почти неуловимыя частности, и имъ удается выразить ихъ иногда чрезвычайно счастливо, мѣтко и граціозно; правда, большія линіи картины отъ нихъ ускользаютъ, либо они не имѣютъ довольно силы, чтобы схватить и удержать ихъ. Про нихъ можно сказать, что имъ болѣе всего доступенъ запахъ красоты, и слова ихъ душисты. Частиности у нихъ выигрываютъ на счетъ общаго впечатлѣнія. Къ подобнымъ личностямъ не принадлежитъ г. Аксаковъ, и я очень этому радъ. Онъ не подмѣ чаетъ ничего необыкновеннаго, ничего такого, до чего добираются немногіе; но то, что онъ видѣтъ, видѣтъ онъ ясно и твердой рукой, сильной кистью пишетъ стройную и широкую картину. Мне кажется, что такого рода описанія ближе къ дѣлу и вѣрнѣе“.

Повторяемъ еще разъ, въ этомъ отзывѣ въ высшей степени знаменательна экспертиза Тургенева. Именно отъ автора «Бѣжина луга», гдѣ описанія природы носятъ тотъ «нервический» характеръ, о которомъ была рѣчь въ только-что приведенной цитатѣ, именно отъ представителя манеры совсѣмъ иной и интересно услышать, что умѣніе изображать природу съ тою, на первый взглядъ столь легкой и каждому беллетристу доступною, *простотою*, съ какою ее изображалъ Сергѣй Тимофеевичъ, есть по существу искусство великое и даръ очень рѣдкій. И если вспомнить, что въ концѣ 40-хъ годовъ никто еще въ литературѣ того времени не возвышался до такой удивительной простоты, то художественное значеніе ея должно, конечно, удвоится. Лучшимъ доказательствомъ этого значенія могутъ служить сохранившіяся указанія о томъ, что самъ великий творецъ «Мертвыхъ душъ» поддался вліянію охотничьихъ записокъ Аксакова. И дѣйствительно, во второй части гениальной «поэмы» Гоголя есть мѣста, общимъ колоритомъ замѣчательно напоминающія звѣроловныя книжки Сергѣя Тимофеевича¹⁾.

Переходя отъ природы неодушевленной къ одушевленной, отъ Аксаковскаго пейзажа къ Аксаковскимъ куличкамъ, тетеревамъ, плотичкамъ, щукамъ, головлямъ, язямъ и т. д., составляющимъ непосредственный предметъ охотничьихъ записокъ разматриваемаго нами писателя, мы въ ихъ характеристикахъ, прежде всего, опять встрѣчаемся съ тѣмъ полнымъ отсутствиемъ какихъ-бы то ни было вычурностей, которое въ свое время такъ выдвинуло писательскую манеру Сергѣя Тимофеевича. А между тѣмъ тутъ соблазнъ былъ еще болѣшій, чѣмъ при описаніяхъ природы, потому что самъ по себѣ пей-

¹⁾ Подробнѣе объ этомъ будетъ сказано въ статьѣ о Гоголѣ.

зажъ для большинства публики, все-таки, гораздо интереснѣе, чѣмъ кулички и пискари и вслѣдствіе этого меныше нуждается въ какихъ-нибудь спеціальныхъ раззвѣчиваніяхъ. Всякій другой на мѣстѣ Аксакова, если-бы хотѣлъ заинтересовать читателя куликами и пискарями, уже навѣрное прибѣгъ-бы или къ рассказамъ о какихъ нибудь необыкновенныхъ охотничыхъ случаяхъ, или къ уподобленіямъ и сближеніямъ психологіи животныхъ и людей, какъ это дѣлаютъ даже очень хороши писатели, или наконецъ къ чему-нибудь, иному изъ разряды «эффектнаго».

Но Сергій Тимофеевичъ предпочелъ взять другимъ—тѣмъ необыкновеннымъ обиліемъ подробностей, которое въ результатѣ привело къ чрезвычайно выпуклымъ, рельефнымъ изображеніямъ. Подробностей, конечно, не естественно-научныхъ, которыхъ можно набрать сколько угодно въ любомъ руководствѣ по зоологіи, а художественныхъ, для уловленія которыхъ требуется тонкая художественная наблюдательность и тѣсно всегда съ нею связанныя художественная память. Безспорно, въ известной степени Сергій Аксаковъ обиліемъ деталей, которое придаетъ такую сочность его птичимъ и инымъ звѣринымъ характеристикамъ, обязанъ своей долголѣтней охотничьей опытности. Но несомнѣнно, однако-же, что съ помощью одной охотничьей опытности и безъ руководительства художественного такта, онъ-бы наплодилъ только безъ разбора сложенную кучу подробностей, весьма, можетъ быть, высокой технической цѣнности, но совсѣмъ не замѣчательныхъ съ точки зрѣнія литературной. Нѣть, Сергій Тимофеевичъ не всѣ известны ему подробности выложилъ читателю. Какъ художникъ высокой пробы, онъ взялъ только подробности безусловно характерныя, только тѣ подробности, которыхъ обрисовываютъ индивидуальность каждой описываемой имъ птицы, рыбы или звѣря и оттого его характеристики такъ выпуклы и ярки, оттого его охотничьи записки представляютъ собою не собраніе замѣтокъ досужаго охотника, а высоко замѣчательную галлерею звѣриныхъ портретовъ. И если вспомнить, что такихъ портретовъ у него цѣлыхъ сотни и что для каждого изъ этихъ портретовъ нашлись у него новыя опредѣленія, новые эпитеты и новыя живописующія слова, то нельзя, конечно, не прийти въ изумленіе предъ такимъ огромнымъ художественнымъ богатствомъ, предъ такою роскошью художественныхъ средствъ, которая можетъ быть удѣломъ только высокаго дарованія. Невольно намъ по данному поводу приходить на умъ разговоръ съ однимъ изъ самыхъ выдающихся современныхъ беллетристовъ нашихъ по поводу одной повѣсти, въ которой авторъ выводить подъ

рядъ двѣнадцать женщинъ, описывая при этомъ ихъ наружность. Собесѣдникъ нашъ находилъ, что такая задача до нельзя сложна и трудна.

Нарисовать портретъ птицы или животнаго, какъ живописцу, такъ и беллетристу, едва-ли легче, чѣмъ нарисовать портретъ человѣка. Вотъ почему мы и привели нашъ разговоръ съ выдающимся беллетристомъ. Не сомнѣваемся, что если онъ двѣнадцать портретовъ призналъ задачею сложною и трудною, то сотню портретовъ уже прямо назвалъ бы дѣломъ первокласснаго таланта. Въ сотняхъ портретовъ есть тысячи подробностей. Уже для того, чтобы подсмотрѣть ихъ, уже для того, чтобы подмѣтить, чѣмъ отличается полетъ одной птицы отъ полета десятковъ другихъ птицъ, какъ холится клинтухъ и какъ дубоноска, на что похожъ крикъ тетерева и на что крикъ дрозда, какъ хватаетъ приманку ершъ и какъ жерехъ и т. д. и т. д. уже для того, говоримъ мы, чтобы подмѣтить всѣ эти *отнюдь не относящіяся до естественной истории* подробности нужно въ высокой степени обладать тѣмъ, что называется художественнымъ глазомъ и что составляетъ основу художественной памяти, которая, въ свою очередь, составляетъ одну изъ главныхъ основъ всякаго художественнаго дарованія. А для того, чтобы съумѣть точно передать эти сотни и тысячи оттѣнковъ и такимъ образомъ создать сотни и тысячи различныхъ другъ отъ друга характеристикъ, для всего этого нужно обладать тою полною гармоніею чувствованій и способовъ ихъ выраженія, которая, опять таки, составляетъ удѣль только первоклассныхъ талантовъ, нужно обладать тѣмъ словеснымъ богатствомъ, тѣмъ обилиемъ глаголовъ и именъ существительныхъ которое дается только первокласснымъ мастерамъ слова. Возьмемъ, въ самомъ дѣлѣ, первый попавшійся отрывокъ изъ охотничихъ записокъ Аксакова:

«На вѣтвяхъ деревъ, въ чащѣ зеленыхъ листьевъ, и вообще въ лѣсу, живутъ пестрыя красивыя, разноголосныя, безконечно разнообразныя породы птицъ; токуютъ глухіе и простые тетерева, пищать рябчики, хрюпать на тягахъ вальдшнепы, воркуютъ, каждая по своему, всѣ породы дикихъ голубей, взвизгиваютъ и чокаются дрозды, заунывпо-мелодически перекликаются иволги, стонутъ рябия куушки, постукиваютъ, долбы деревья, разноперые дятлы, трубятъ желны, трещать сойки, свистели, лѣсные жаворонки, дубоноски и все многочисленное, крылатое, мелкое пѣвчее племя наполняетъ воздухъ разными голосами и оживляетъ тишину лѣсовъ...»

На пространствѣ нѣсколькихъ строкъ здѣсь употреблено болѣе десяти различныхъ, опредѣляющихъ различные оттѣнки птичьего крика, глаголовъ, изъ которыхъ большинство не составляетъ обычнаго въ такихъ случаяхъ опредѣленія, (какъ напр. токование по отношению къ глухарямъ и воркование по отношению къ голубямъ)

а специально придуманы самимъ Сергѣемъ Тимофеевичемъ, чтобы болѣе точно передать разновидности птичихъ голосовъ.

На подобное-же словесное богатство читатель натыкается буквально на каждой страницѣ охотничихъ записокъ Сергѣя Тимофеевича. Академія Наукъ въ настоящее время предпринимаетъ, начавъ съ Ломоносова, изданіе словарей языка нашихъ классическихъ писателей. Не сомнѣваемся, что если когда-нибудь дойдетъ очередь до Сергѣя Аксакова, то словарь его языка будетъ одинъ изъ самыхъ полныхъ, одинъ изъ самыхъ обильныхъ тонкими и разнообразными оттѣнками. И будетъ этотъ словарь богатъ и обиленъ, конечно, не отвлечеными словами, а конкретными, нужными для обрисовки реальныхъ качествъ и свойствъ. Словомъ, будетъ это словарь истиннаго художника, говорящаго не аллегоріями и тропами, а образами и картинами.

Чтобы покончить съ звѣроловными книжками Сергѣя Тимофеевича, намъ остается отмѣтить, что, помимо только что указанныхъ сторонъ, свидѣтельствующихъ объ истинно-художественномъ методѣ и истинно-художественныхъ средствахъ рассматриваемаго нами теперь писателя, въ его охотничихъ запискахъ есть иѣчто такое, что уже представляеть собою не только одинъ матеріаль для сужденія о характерѣ и размахѣ таланта, а кое-что болѣе цѣнное въ художественномъ отношеніи. Это—общій колоритъ звѣроловныхъ книжекъ Сергѣя Тимофеевича, ихъ удивительная свѣжесть и непосредственность, дѣйствующая обаятельно даже и теперь, не смотря на сорокъ лѣтъ, прошедшихъ со времени ихъ появленія въ свѣтъ. Тутъ, впрочемъ, и старѣться нечemu. Старѣются типы, вывѣтряются настроенія, теряютъ прелестъ новизны идеи. Но природа и впечатлѣніе, которое она производить на воспріимчиваго наблюдателя, болѣе или менѣе всегда одни и тѣ же. И вотъ почему какъ читателя сороковыхъ, такъ и читателя восьмидесятыхъ годовъ охватываетъ при ознакомленіи съ звѣроловными книжками Сергѣя Тимофеевича одно и тоже ощущеніе какого-то благоуханія. Вы точно сами начинаете вдыхать и запахъ степей, и освѣжающую прелестъ весеннаго утра, вы точно вмѣстѣ съ «ружейнымъ охотникомъ» входите подъ мистическую сѣнь полнаго таинственныхъ шумовъ лѣса и на вѣсъ самыхъ спускается то общее чувство необыкновенного умиротворенія, ради котораго авторъ такъ радъ быть всегда убѣжать изъ душной городской жизни и броситься въ объятія чуждой мелкихъ треволненій жизни природы.

Охотничіи «Записки» Сергія Тимофеевича имѣли огромный успѣхъ. Имя автора, до сихъ поръ извѣстное лишь литературнымъ приятелямъ его, програмѣло по всей читающей Россіи. Его изложеніе было признано образцомъ прекраснаго стиля, его описанія природы—дышущими поэзіей, его звѣринныя характеристики—мастерскими портретами. «Въ вашихъ птицахъ больше жизни, чѣмъ въ моихъ людяхъ» говорилъ ему Гоголь. Какъ относился Тургеневъ мы можемъ судить по приведенному выше мнѣнію его объ Аксаковскомъ пейзажѣ.

Ободренный такимъ неожиданнымъ успѣхомъ, Сергій Тимофеевичъ, одною ногою уже стоявшій въ гробѣ, дѣятельно взялся за перо и явился передъ публикой съ цѣлью рядомъ новыхъ произведеній. Относительно выбора сюжетовъ у него сомнѣній не могло тешеръ быть. Ему было достаточно ясно, что литературные лавры, не дававшіеся ему въ теченіи всей предыдущей шестидесятлѣтней жизни, теперь вышли на его долю единственно за то, что бросивши совершенно неподходящую для основныхъ свойствъ его таланта область выдумки, онъ началъ черпать литературный материалъ изъ богатаго запаса непосредственныхъ чувствъ своихъ и непосредственно видѣннаго имъ. И вотъ онъ берется за воспоминанія, какъ литературнаго, такъ, главнымъ образомъ, семейнаго характера. Въ резулѣтѣ получился рядъ статей и очерковъ, частью напечатанныхъ въ журналахъ, частью въ первый разъ предложенныхъ публикѣ въ книгѣ, появившейся въ 1856 г. подъ заглавиемъ «Семейная хроника и воспоминанія».

Успѣхъ «Семейной хроники» превзошелъ самыя смѣлѣя ожиданія автора. Въ печати тѣхъ лѣтъ говорилось, что со временемъ «Мертвыхъ душъ» ни одно литературное произведеніе не возбудило столько вниманія. Яркимъ свидѣтельствомъ этого успѣха можетъ служить небольшая выдержка, которую мы сейчасъ приведемъ изъ статьи, писанной Добролюбовымъ въ 1858 году по поводу «Дѣтскихъ годовъ Багрова-внука», составляющихъ вторую часть «Семейной Хроники». Какъ читатель увидѣть сейчасъ, Добролюбовъ относился къ Сергію Тимофеевичу нѣсколько настѣнчиво и неблагожелательно, но тѣмъ дѣнѣще, значитъ, его свидѣтельство.

«Ровно два года тому назадъ,» писалъ критикъ «Современника», «всѣ журналы полны были восторженными похвалами художественному таланту г. Аксакова, обнаруженному имъ въ «Семейной Хроникѣ». Авторитетъ С. Т. Аксакова уставился съ тѣхъ поръ незыблемо. Его некоторые поставили главою современной русской литературы, и этому никто не думалъ противорѣчить, исключая г. К. С. Аксакова, который въ началѣ прошлаго года, обозрѣвая въ «Русской Бесѣдѣ» современную нашу литературу, выразилъ мнѣніе, диаметрально противоположное

взглядамъ поклонниковъ С. Т. Аксакова. Именно, г. К. С. Аксаковъ объявилъ, что С. Т. Аксаковъ не только не есть глава современной русской литературы, но даже вовсе и не принадлежитъ къ ней, а стоить какъ-то «совершенно особнякомъ». Должно полагать, впрочемъ, что этотъ, столь неблагоприятный, отзывъ вызванъ былъ болѣе потребностью сказать и здѣсь хоть что-нибудь въ пику западникамъ, превозносившимъ «Семейную Хронику», нежели дѣйствительнымъ желаніемъ отнять С. Т. Аксакова у современной русской литературы. Кажь бы то ни было, въ послѣдніе два года С. Т. Аксаковъ, по признанию всѣхъ своихъ поклонниковъ, занялъ безспорно первое мѣсто въ ряду русскихъ писателей. Этого мало: художественныя достоинства произведеній С. Т. Аксакова были такъ ярки, что обратили внимание многихъ на нравственные качества самого автора и доставили ему всеобщее уваженіе, уже просто какъ человѣку; поразительное доказательство этого уваженія мы видѣли недавно въ студентахъ казанского университета, праздновавшихъ свой университетскій юбилей. Но еще болѣе разительный примѣръ представили петербургскіе студенты: задумавши издаватъ «Сборникъ» своихъ ученыхъ трудовъ, они сочли долгомъ испросить на это одобрение г. Аксакова, и были въ великомъ восторгѣ, когда авторъ «Семейной Хроники» одобрилъ ихъ намѣреніе издавать ученый сборникъ. Вскорѣ послѣ этого одинъ студентъ, писавшій въ «Молву» письма о томъ, что онъ «Мольеръ» очень сочувствуетъ, а петербургскіе журналы не терпятъ за то, что они ограничиваются случайными возврѣніями своихъ случайныхъ сотрудниковъ, этотъ самыи студентъ, отъ лица всего петербургскаго университета, называлъ С. Т. Аксакова другомъ человѣчества и русскаго народа и даже «мъриломъ истины и справедливости».

Вернувшись черезъ нѣсколько мѣсяцевъ къ Сергею Тимофеевичу по поводу литературныхъ воспоминаній послѣдняго, Добролюбовъ опять повелъ рѣчь объ успѣхѣ «Семейной Хроники» и хотя на этотъ разъ еще насыщеннѣе относился къ нему, но опять сообщалъ подробности успѣха, которыми мы воспользуемся:

«Издание Семейной Хроники» встрѣчено было съ такимъ восторгомъ, какого, говорить, не бывало со времени появленія «Мертвыхъ Душъ». Всѣ журналы наполнились статьями о С. Т. Аксаковѣ. Не всѣ критики выказали одинаковую проницательность въ опредѣленіи достоинствъ «Семейной Хроники»; но всѣ одинаково напоминали намъ тѣ времена, въ которыхъ существовали у насъ россійскіе Пиндары, Мольеры и Вольтеры. Одни изъ критиковъ увѣряли, что С. Т. Аксаковъ по спокойствію и ясности своего міросозерцанія есть не что иное, какъ новый Гомеръ; другіе утверждали, что по удивительному искусству въ развитіи характеровъ онъ скорѣе всего есть русскій Шекспиръ; третыи, гораздо умѣренѣе, говорили, что С. Т. Аксаковъ есть не болѣе каъ нашъ Вальтеръ Скоттъ. Ниже Вальтеръ Скотта впрочемъ ни одинъ изъ критиковъ не спускался».

Если знать, что Вальтеръ Скоттомъ называлъ Сергея Аксакова Анненковъ въ томъ самомъ «Современникѣ», въ которомъ были напечатаны и приведенные строки, то читателю станетъ яснымъ, что насыщенный тонъ ихъ есть въ данномъ случаѣ ничто иное, какъ та *facon de parler*, которая установилась въ нашей литературѣ конца 50-хъ годовъ, и что, следовательно, свидѣтельство Добролюбова въ его фактической части тѣмъ въ большей степени цѣнно.

Мы привели выдержку изъ Добролюбова еще по одной причинѣ. Нужно сказать, что если «Семейной Хроникѣ», очень повезло въ отношении успѣха и сочувствія публики, то ей совсѣмъ не повезло въ отношеніи дѣльной критики. Водянистая статья Анненкова въ «Современникѣ», еще болѣе водянистая статья Шевырева и нѣкоего Н. Г-ва въ «Рус. Бесѣдѣ», вотъ главныя изъ критикъ, вызванныхъ «Сем. Хроникой». Въ ряду этихъ и другихъ незначительныхъ статей, написанныхъ по поводу послѣднаго періода литературной дѣятельности Сергея Тимофеевича, мнѣніе Добролюбова о «Семейной Хроникѣ», хотя и мимоходомъ высказанное, пріобрѣтаетъ особенную цѣнность и интересъ. И вотъ почему мы считаемъ нужнымъ спорить съ нѣкоторыми частностями этого мнѣнія и болѣе всего противъ той ироніи, съ которой даровитый критикъ говорить объ утвержденіи Константина Аксакова, что Сергей Тимофеевичъ стоитъ особнякомъ въ литературѣ. По нашему мнѣнію, мнѣніе Константина Аксакова не только безусловно вѣрно, но въ извѣстной степени объясняетъ причины успѣха «Семейной Хроники».

Какъ-же, въ самомъ дѣлѣ, не особнякомъ стоитъ она въ литературѣ, когда даже нѣть почти возможности подвести ее подъ какой-нибудь определенный типъ литературныхъ произведеній? Что такое представляетъ собою «Сем. Хроника» по формѣ и содержанію? Романъ, повѣсть, мемуары? Ни то, ни другое, ни третье. Въ романѣ или повѣсти даже самого протокольного свойства, выражаясь современной терминологіей, нужна все таки выдумка, нужна какая нибудь завязка и развязка. Но ничего подобнаго вѣтъ въ «Сем. Хроникѣ», гдѣ все отъ первой строки до послѣдней есть правдивый разсказъ о событияхъ, разыгравшихся въ нѣдрахъ Аксаковскаго семейства. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, «Семейная Хроника» не есть и мемуары, потому что въ ней, все таки, не строго-историческая, а беллетристическая группировка событий и авторъ фактическую основу дополняетъ подробностями исключительно художественного значенія, подробностями вполнѣ имѣвшими мѣсто. И выходитъ, слѣдовательно, въ общемъ итогѣ, что уже по вицѣннымъ качествамъ своимъ «Семейная Хроника» произведеніе въ высшей степени своеобразное, ни подъ одинъ изъ обычныхъ разрядовъ литературныхъ произведеній не подводимое и, значитъ, дѣйствительно «особнякомъ» стоящее.

Стоять она особнякомъ и другими сторонами своими, которыя становятся ясными при сколько нибудь внимательномъ и непредвзятомъ анализѣ.

Въ этомъ анализѣ мы можемъ быть кратки. Намъ нѣть, напр. надобности приводить какія-бы то ни было выдержки: «Сем. Хро-

ника» принадлежить къ числу тѣхъ составляющихъ гордость русскаго слова литературныхъ произведений, которыя должны быть знакомы каждому образованному русскому.

Намъ нѣтъ также надобности останавливаться на виѣшнихъ художественныхъ средствахъ «Сем. Хроники», потому что онъ тѣ-же самая, что и въ охотничихъ запискахъ Сергѣя Тимофеевича. Такъ, всѣ особенности Аксаковскаго пейзажа, отмѣченныя нами при разборѣ «Записокъ обѣ уженьѣ рыбы» и «Записокъ ружейнаго охотника» остались тѣми же въ «Сем. Хроникѣ». Съ первыхъ-же строкъ «Хроники» вѣсть охватываетъ та освѣжающая непосредственность Аксаковскихъ описаній природы, которая не можетъ не очаровывать всякаго сколько-нибудь чуткаго къ истинной художественной красотѣ читателя. Уже отъ первой главы «Хроники», въ которой развертывается широкое приволье оренбургскихъ степей вѣеть такою бодрящею прелестью, что вы вполнѣ начинаете понимать, почему Степанъ Михайловичъ Багровъ, разъ присмотрѣвшись къ этому благословленному краю, рѣшилъ остаться въ немъ навсегда и не успокоился до тѣхъ поръ, пока не привель въ исполненіе трудное дѣло переселенія цѣлой большой деревни. Про сельскіе романы Жоржъ Зандъ и ея описанія сельской жизни французская критика говорила, что они благоухаютъ какимъ-то особыеннымъ *parfum des champs*. Про «Сем. Хронику» можно сказать, что отъ нея идетъ запахъ нови, запахъ невспаханной, черноземной цѣлины. Анненковъ весьма неудачно сравнилъ Сергѣя Аксакова съ Вальтеромъ Скоттомъ. Уже если необходимо съ кѣмъ-нибудь сравнивать Сергѣя Тимофеевича, то его можно сопоставить съ Куперомъ, въ тѣхъ романахъ послѣдняго, гдѣ описываются первобытныя степи американского запада. Люди-то, положимъ, совсѣмъ иные у американскаго и русскаго писателя, и быть иной—у одного представители личнаго, у другого рабскаго труда. Но общій колоритъ, все таки, богатство даровъ природы, благодаря которой значительно ослабѣваетъ борьба за существованіе и теряетъ свои отвратительныя стороны погоня за на-живой, простота отношеній, говорящая о какихъ-то давно уже прошедшихъ временахъ первобытной патріархальности, весь складъ жизни, временами носящій чисто-эпический характеръ, все это вмѣстѣ съ одинаковой стороны трогаетъ «культурнаго» городскаго жителя и въ романахъ Купера, и въ «Семейной Хроникѣ» Сергѣя Аксакова.

Наряду съ пейзажемъ и общимъ колоритомъ свѣжести и непосредственности, остается неизмѣннымъ въ «Семейной Хроникѣ» и другой элементъ, сообщающій такую высокую художественную цѣнность звѣроловнымъ книжкамъ Сергѣя Тимофеевича—его умѣніе

давать яркія и выпуклые характеристики. И какъ въ тѣхъ-же звѣроловныхъ книжкахъ, это умѣніе тоже имѣть своимъ источникомъ удивительную беллетристическую память Сергея Тимофеевича, пронесшую чрезъ многія десятилѣтія сотни и тысячи характерныхъ подробностей. Само сабою разумѣется, что человѣкъ, проявившій поразительную наблюдательность относительно нравовъ штицъ, рыбъ и звѣрей, тѣмъ въ большей степени долженъ быть проявить ее, когда дѣло коснулось близкихъ ему людей и обстановки, среди которой онъ провелъ наиболѣе впечатлительные годы жизни. И дѣйствительно, число сохранившихся въ памяти Сергея Тимофеевича подробностей о помѣщицкой жизни было такъ велико, что въ «Дѣтскихъ годахъ Багрова-внука» оно ему даже сослужило весьма дурную службу, загромоздивъ расказъ чрезмѣрнымъ множествомъ мелочей. Но въ «Семейной Хроникѣ» именно это поразительное богатство деталей придало всему произведенію удивительную сочность и жизненность. Кто знакомъ съ «Семейной Хроникой» даже только по вошедшему во всѣ хрестоматіи «Доброму дню Степана Михайловича» согласится, конечно, что едва-ли во всей русской литературѣ есть другая болѣе полная физиологическая картина помѣщицкой жизни доброго старого времени, съ ея удивительной симпатичнѣйшаго добродушія и дикаго, подчасъ даже звѣрскаго самодурства. И какъ во всѣхъ истинныхъ шедеврахъ литературы яркость и полнота картинъ и характеристикъ «Сем. Хроники» отнюдь не связана съ болтливостью. Много-ли занимаютъ мѣста портреты добродѣтельнаго деспота Степана Михайловича, безцѣльно-рвущейся куда-то Софии Николаевны, ея крѣпкаго и симпатичнаго мужа, наконецъ характерной четы Куролесовыхъ? Какихъ нибудь 1, 1¹/₂ листа. Да и вся-то «Сем. Хроника» со всею галлерею дѣйствующихъ лицъ ея и со всѣми ея разнообразными событиями, растянувшимися на пространствѣ многихъ лѣтъ, занимаетъ меныше 15 листовъ разгонистой печати. А между тѣмъ какъ все это рѣзко запечатлѣвается въ воображеніи читателя, какъ живо вырисовывается во весь свой ростъ. Такова сила истинно-художественныхъ приемовъ.

Впрочемъ, не въ однихъ только истинно-художественныхъ приемахъ «Сем. Хроники» тайна ея чарующаго дѣйствія. Есть въ ней еще нечто высоко-привлекательное, то самое, что побуждаетъ насъ думать, что «Сем. Хр.» дѣйствительно «особнякомъ» стоять въ литературѣ. Мы говоримъ о своеобразномъ авторскомъ *отношениіи* къ героямъ и событиямъ «Хроники», благодаря которому читатель розогрѣвается съ первыхъ-же строкъ и становится, слѣдовательно, воспріимчивѣе къ содержанію повѣстований.

Присмотримся ближе къ этому авторскому отношению.

Когда вышла въ свѣтъ «Семейная Хроника» и чрезъ 2 года ея продолжение—«Дѣтскіе годы Багрова-внука», критика, столь единодушная въ похвалахъ таланту автора, совершенно разошлась въ пониманіи внутренняго смысла самыхъ произведеній. Такъ, славянофилы увидѣли въ «Семейной Хроникѣ» богатое подтвержденіе своихъ взглядовъ на «истинно-русскія» стороны нашей жизни. «Объ Аксаковѣ» писаль Хомяковъ въ своей статейкѣ о только-что скончавшемся тогда Сергеѣ Тимофеевичѣ «было сказано въ «Русской Бесѣдѣ», что онъ первый изъ нашихъ литераторовъ взглянуль на нашу жизнь съ положительной, а не отрицательной точки зрѣнія. Это правда».

Совсѣмъ иное находили другіе критики. Пропуская промежуточныя мнѣнія, отмѣтимъ комментаріи Добролюбова. Какъ извѣстно, сотрудникъ «Современника» написаль по поводу материала, даваемаго «Сем. Хр.» и ея продолженіемъ, одну изъ тѣхъ статей, гдѣ методъ основателя публицистической критики—всюду находить основаніе для выводовъ общественнаго характера—проявился особенно ярко. Озаглавивъ статью «Жизнь деревенскаго помѣщика въ старые годы», Добролюбовъ нарисовалъ съ помощью Аксаковскихъ фактовъ такую мрачную картину «доброго старого времени», которая всего менѣе говорила о «положительной точкѣ зрѣнія», усмотрѣнной «Рус. Бесѣдой» и Хомяковымъ. Два, три мѣста, взятыхъ изъ статьи даровитаго критика покажутъ общій тонъ выводовъ, къ которымъ онъ пришелъ. Такъ по поводу «всего, что описываетъ намъ г. Аксаковъ» Добролюбовъ находить возможнымъ сказать:

«Неразвитость нравственныхъ чувствъ, извращеніе естественныхъ понятій, грубость, ложь, невѣжество, отвращеніе отъ труда, своеоліе, ничѣмъ не сдержанное,—представляются намъ на каждомъ шагу въ этомъ прошедшемъ, теперь уже странномъ, непонятномъ для настѣнъ и, скажемъ съ радостью, невозвратномъ».

«Грустно становится, когда раздумаемся объ этихъ временахъ, которыхъ остатки существовали еще такъ недавно», читаемъ мы въ другомъ мѣстѣ.

И наконецъ, въ числѣ заключительныхъ аккордовъ, критикъ восклицаетъ: «Да, всѣ эти поколѣнія, прожившія свою жизнь даромъ, на счетъ другихъ—всѣ они должны были бы почувствовать сг҃дѣ, горькийстыдъ, при видѣ самоотверженаго, безкорыстнаго труда своихъ крестьянъ. Они должны бы были вдохновиться примѣромъ этихъ людей и взяться за дѣло, съ полнымъ сознаніемъ, что жизнь тунеядца презрѣна и что только трудъ даетъ право на наслажденіе жизнью. А они не совѣстились присвоить себѣ это наслажденіе, отнимая его у другихъ. Горькое, тяжелое чувство сдавливаетъ грудь при воспоминаніи о давно минувшихъ несправедливостяхъ и насилияхъ...».

Какъ видите, не много «положительного» усмотрѣлъ въ писаніяхъ Сергея Тимофеевича критикъ прогрессивнаго лагеря.

Можно, конечно, сказать, что причина такого діаметрально-противоположного пониманія именно въ томъ и заключается, что оно принадлежало критику прогрессивнаго лагеря, придиравшемуся ко всему, что могло бы подкрѣпить его тенденціи. Можно, затѣмъ, также припомнить исторію Островскаго, драмы которого послужили поводомъ для неменѣе разнорѣчивыхъ толковъ. Извѣстно, что тотъ-же Добролюбовъ въ своемъ знаменитомъ «Темномъ царствѣ» опредѣлялъ значеніе произведеній Островскаго, какъ произведеній по существу обличительныхъ и исключительно гуманныхъ, гуманныхъ безъ всякаго тенденціознаго желанія прославлять «истинно-русскія» начала жизни, будто-бы сохранившіяся въ патріархальномъ быту московскаго купечества. Между тѣмъ ближайшіе литературные сверстники Островскаго и сотоварищи — члены такъ называемой «молодой редакціи» журнала «Москвитянинъ» видѣли значеніе Островскаго именно въ томъ, что онъ будто-бы далъ положительную картину истинно-«русскихъ» нравовъ.

И тѣмъ не менѣе аналогіи съ литературной исторіей «Семейной Хроники» тутъ нѣтъ никакой. Нельзя-же забыть, что Островскій по самому существу той формы, въ которую отливалось его творчество, не могъ быть субъективнымъ и говорить отъ себя что-нибудь такое, что дало-бы поводъ въ томъ или другомъ направленіи истолковывать его намѣренія. «Семейная-же Хроника», полна лиризма и авторскаго субъективизма. Слѣдовательно, здѣсь какія-бы то ни было тенденціозныя извращенія критики весьма опасны и тотчасъ же могутъ быть изобличены.

Нѣть, въ томъ-то и дѣло, въ томъ-то и своеобразіе писательской личности Сергія Тимофеевича, что «Хроника» его, вполнѣ оправдывая собою опредѣленіе Хомякова и будучи, дѣйствительно, произведеніемъ положительного характера, въ тоже время вполнѣ оправдываетъ и мрачные выводы Добролюбова. Нельзя вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, закрывать глаза на такие отвратительные факты какъ то напр., что старикъ Багровъ за косы таскалъ свою старуху-жену и позволялъ себѣ цѣлый рядъ другихъ проявленій самаго азіятскаго самодурства, такъ талантливо сгруппированныхъ Добролюбовымъ въ одну яркую картину самого отрицательного свойства. Все это безобразіе съ какой угодно точки зрењія вы тутъ не подойдете, славянофильской или западнической, консервативной или либеральной.

Было-бы, однакоже, отсутствіемъ всякаго чутъя, если-бы мы на основаніи обличительныхъ фактovъ повѣствованія Сергія Тимофеевича причислили-бы его къ разряду обличительныхъ повѣстователей. Сергій Тимофеевичъ и обличительный писатель — трудно себѣ представи-

вить нѣчто болѣе противоположное другъ другу! Обличительный писатель ненавидѣть предметъ обличенія, а авторъ «Семейной Хроники» глубоко любить всѣхъ героевъ и полонъ горячихъ чувствъ не только по отношенію къ симпатичному и для другихъ самодуру Степану Михайловичу, но даже склоненъ усмотреть кое-какія привлекательныя стороны въ звѣрѣ—Куролесовѣ.

И вотъ въ этомъ-то горячемъ, чисто-родственномъ отношеніи Сергія Тимофеевича къ героямъ «Семейн. Хроники» и заключается во первыхъ причина того, что «Хроника» должна быть отнесена къ разряду произведеній положительного характера и во вторыхъ причина того, что она совершенно особнякомъ стоитъ въ ряду произведеній съ непосредственно-литературными цѣлями и задачами. Совсѣмъ у нея особый генезисъ и совсѣмъ особая, вслѣдствіе этого, литературная физіономія.

Какъ, въ самомъ дѣлѣ, зарождается каждое произведеніе съ непосредственно-литературными цѣлями? Данный авторъ, почувствовавъ въ себѣ достаточный запасъ творческихъ силъ и творческаго настроенія облюбовываетъ извѣстный *сюжетъ* и затѣмъ по роду своего таланта и литературнымъ вкусамъ обрабатываетъ его въ духѣ той или другой литературной школы—реалистическомъ, идеалистическомъ или какомъ-нибудь иномъ. Главная цѣль его при этомъ—будущее впечатлѣніе читателя. Рѣчь тутъ, конечно, идетъ не объ томъ, чтобы *удобить* читателю и написать, съдовательно, что-нибудь такое, что имѣеть цѣлью подладиться подъ его вкусъ. Нѣтъ, если мы возьмемъ даже высоко-идеального въ нравственномъ отношеніи художника, руководствующагося только тѣмъ, что ему говорять требованія истинаго искусства, то и такой художникъ непремѣнно долженъ имѣть въ виду будущее впечатлѣніе читателя отъ созданнаго имъ произведенія, такъ какъ основная задача искусства и тайнѣ всякаго таланта въ томъ именно и состоить, чтобы передать читателю или зрителю, если дѣло идетъ о картинахъ, то настроеніе, которое завладѣло художникомъ въ моментъ зачатія художественного произведенія.

Совсѣмъ иная исторія происхожденія «Сем. Хроники» и совсѣмъ иные задачи были у автора ея.

Въ Сергія Тимофеевича сидѣло два весьма мало похожихъ другъ на друга существа: весьма посредственный *литераторъ*, выросшій въ очень дурной литературной школѣ и чрезвычайно-замѣчательный *человѣкъ*, умный, сердечный, впечатлительный. Когда устами Сергія Тимофеевича говорилъ литераторъ, получалось всегда весьма невысокаго полета и весьма мало любопытное. Но стоило ему только забыть о своемъ *литераторствѣ* и стать *самимъ собою* и точно по

мановенію волшебнаго жезла скучный литераторъ превращался въ первостепенного художника. Такъ было со звѣроловными книжками его, такъ было и съ «Сем. Хроникой». Когда Сергій Тимофеевичъ приступалъ къ «Запискамъ объ уженыи рыбы», онъ не только не подозрѣвалъ, что въ результатѣ получится высоко-замѣчательное литературное произведеніе, но не думалъ даже вовсе о томъ, что создаетъ нѣчто относящееся къ литературѣ. Онъ просто хотѣлъ дать рядъ замѣтокъ чисто-утилитарного, практическаго значенія, замѣтокъ самыхъ безпритязательныхъ, на обнародованіе которыхъ имѣть право всякий грамотный человѣкъ. Но именно эта-то безпритязательность и сослужила ему велику службу, совершенно отодвинувъ на второй планъ плохого и скучнаго литератора и выдвинувъ на первый наблюдательного и тонко-чувствующаго человѣка. Безпритязательность дала свободный исходъ тѣмъ обаятельнымъ и художественно-замѣчательнымъ сторонамъ непосредственно-человѣческой личности Сергія Тимофеевича, которая навѣрное не обнаружились бы, еслибы онъ задался цѣлью создать нѣчто литературное. Въ литературу мы всегда являемся принарядившись, съ приподнятымъ душевнымъ строемъ и потому рѣдко бываемъ самими собою. Сергій-же Тимофеевичъ, къ счастью, именно только самимъ собою и явился въ звѣроловныхъ книжкахъ своихъ, а потомъ въ «Сем. Хроникѣ». Онъ творилъ тутъ поистинѣ безсознательно, благодаря чему скрытая и задавленная дурнымъ литературнымъ сообществомъ сокровища духа его и могли увидѣть свѣтъ Божій. Онъ приступалъ къ описанію лѣса напр. всего только затѣмъ, чтобы разскажать какъ въ немъ прячется дичь, къ описанію лѣтняго дня на рѣкѣ затѣмъ, чтобы разскажать какъ клюетъ тогда рыба. Но такъ какъ при всѣхъ этихъ описаніяхъ не только воскресала въ истинно-художественномъ воображеніи его вся картина лѣса или панорама рѣки, но воскресало также и то впечатлѣніе, которое его чуткая къ красотѣ душа испытывала, погружаясь въ лѣсную чащу или наблюдая зеркальную поверхность накаленной воды, то въ итогѣ «дѣловое» описаніе превращалось въ согрѣтый поэтическимъ одушевленіемъ пейзажъ. Тутъ, значитъ, человѣкъ приходилъ на помошь литератору, неожиданно расширяя намѣченныя рамки и, благодаря высокому духовному строю своему, превращалъ задуманную первоначально какъ техническое пособие книжку въ художественное произведеніе.

Вполнѣ аналогичное явленіе представляетъ собою «Сем. Хроника». И въ ней авторская личность, авторское отношеніе къ изображаемымъ имъ лицамъ необыкновенно дополняетъ непосредственный рассказъ, и въ ней тѣсное переплетеніе писателя и человѣка значи-

тельно содѣйствовать общему впечатлѣнію. Конечно, нельзя отрицать того, что когда Сергій Тимофеевичъ приступалъ къ окончательной обработкѣ «Сем. Хроники»¹⁾ онъ уже не былъ тѣмъ безсознательнымъ художникомъ, какимъ былъ когда брался за составленіе охотничихъ книжекъ своихъ. Если не собственное сознаніе, то, во всякомъ случаѣ, восторги критики должны были ему разъяснить, что у него въ распоряженіи всѣ тѣ художественные средства, которыми создаются крупныя литературныя произведенія. И уже въ самомъ выборѣ предмета повѣстнованія, въ сознательномъ направлѣніи своего таланта на почву живой дѣйствительности тоже, несомнѣнно, сказывается, что Сергій Тимофеевичъ окончательно понялъ свое литературное назначеніе, окончательно разорвать съ дурными традиціями своего литературнаго прошлаго.

И тѣмъ не менѣе, онъ при созданіи «Сем. Хр.» столь-же мало былъ похожъ на заправскаго писателя, какъ и при составленіи звѣроловныхъ книжекъ. Если онъ теперь и сознавалъ, что изготавляетъ непосредственно-литературное произведеніе, то, все-же таки, онъ совсѣмъ не имѣлъ въ виду то настроеніе будущаго читателя, о которомъ мы говорили выше и которымъ руководствуются всѣ другіе художники-писатели. Если онъ теперь и не работалъ надъ книжкой такого уже скромного назначенія, какъ «Записки объ ужены рыбы», то, все таки, сравнительно съ другими литературными произведеніями, «Сем. Хр.» была крайна безпритязательна. Авторъ не надписывалъ надъ своимъ произведеніемъ многообѣщающаго слово «романъ», не надписывалъ даже болѣе скромнаго обозначенія «повѣсть», онъ безхитростно озаглавливаѣтъ свое писаніе «Отрывками изъ Семейной Хроники» и не бралъ, слѣдовательно, никакой отвѣтственности предъ читателемъ. Понравится, такъ понравится, а не понравится, такъ вѣдь авторъ ничего особенно-привлекательнаго и не обѣщалъ. Такимъ образомъ, онъ не былъ стѣсненъ никакими рамками, могъ вполнѣ отдаваться своимъ непосредственнымъ влеченіямъ, могъ быть вполнѣ самимъ собою. Имъ онъ и былъ при созданіи «Сем. Хр.», ни мало не заботясь о впечатлѣніяхъ будущаго читателя. У Сергія Тимофеевича—была совсѣмъ иная, *самодовѣлющая*, такъ сказать, цѣль и руководящая нить—фактическая правда и собственное чувство. Единственное, что онъ имѣлъ въ виду—это желаніе воскресить въ своей памяти картины дѣтства и воспоминанія семейной старины. И вотъ почему какъ Хомяковъ,

¹⁾ Первые наброски „Сем. Хр.“, какъ было выше сказано, относятся еще къ 1840 г.

такъ и Добролюбовъ, не прибѣгая ни къ какимъ натяжкамъ, могли одновременно найти въ «Сем. Хроникѣ» подтверждение діаметрально—противоположныхъ коментарievъ. Еслибы, въ самомъ дѣлѣ, Сергій Тимофеевичъ писалъ беллетристическое произведение обыкновенного пошиба, онъ-бы какъ всякий писатель, руководствуясь желаніемъ соадать «цѣльные» типы, навѣрное очень многое выбросилъ-бы изъ дѣйствительныхъ фактovъ аксаковской семейной исторіи, очень многое прибавилъ-бы. Получилась-бы, можетъ быть, тоже «правда», но уже не такая непосредственная. Сергій-же Тимофеевичъ, одаренный исключительно способностью воспроизводить только то, что онъ видѣлъ и слышалъ, никакихъ беллетристическихъ закругленій себѣ не позволилъ и если въ результатѣ получилось не столько собраніе типовъ, сколько собраніе портретовъ, то за то уже портретовъ безъ малыхъ прикрасъ, воспроизведенныхъ съ точностью лѣтописнаго сказанія. Вотъ что и дало возможность Добролюбову нарисовать мрачную картину старопомѣщичьей жизни, хотя авторъ «Сем. Хр.» всего менѣе думалъ написать нѣчто обличительное, а напротивъ того, «взглянуль», говоря словами Хомякова «на нашу жизнь съ положительной, а не отрицательной точки зрѣнія». Въ опредѣленіи Хомякова неточны только выраженія «на нашу жизнь» и «взглянуль». «Нашу жизнь» т. е. весь строй русской жизни Сергій Тимофеевичъ не имѣлъ вовсе въ виду изображать, онъ хотѣлъ изобразить всего только жизнь своей родной Аксаковки. Не «взглянуль», онъ также ни съ какой опредѣленной точки зрѣнія, потому что онъ вносилъ въ свою хронику все безъ различія, не обращая вниманія на то, положительно или отрицательно оно характеризуетъ изображаемую имъ жизнь. Но что въ общемъ получилось положительное авторское настроеніе—это несомнѣнно. Описывая самодурство Степана Михайловича, внукъ—авторъ все таки родственно и любовно къ нему относится, изображая непривлекательныя стороны старопомѣщичьей жизни, авторъ, все-таки, полонъ любви къ этому быту, какъ къ части самого себя, какъ къ обстановкѣ, среди которой прошли дорогіе каждому человѣку годы юности. Со всѣми ея недостатками эта жизнь близка ему и люба. Вотъ въ чемъ «положительная» сторона «Сем. Хроники» и вотъ въ чемъ одна изъ главныхъ причинъ ея успѣха. На читателя заразительно дѣйствовать теплое отношеніе автора къ предмету повѣствованія, ему сообщается его горячее участіе къ изображаемымъ лицамъ и въ общемъ результатѣ этотъ личный элементъ значительно усиливаетъ непосредственно—литературное впечатлѣніе.

Намъ кажется, что такое тѣсное переплетеніе и взаимодѣйствіе лич-

наго и писательского элемента, есть явление исключительное и, отнимая у «Сем. Хроники» заправски-литературный характеръ, дѣйствительно ставить ее «особнякомъ».

Подтверждениемъ всего только что сказанного могутъ служить «Дѣтскіе годы Багрова-внука», выпущенные Сергеемъ Тимофеевичемъ въ свѣтъ два года послѣ «Сем. Хр.». Въ нихъ дѣйствуютъ тѣ-же лица, что въ «Сем. Хр.», изображается тотъ-же самый бытъ, авторъ является въ нихъ такимъ-же блестящимъ пейзажистомъ и портретистомъ, наконецъ языкъ «Дѣтскихъ лѣтъ» столь-же поражаетъ своею спокойною величавостью и ненапряженною красотою, какъ въ звѣроловныхъ книжкахъ и «Сем. Хроникѣ». Вотъ почему намъ нѣть никакой надобности сколько нибудь подробно останавливаться на «Дѣтскихъ годахъ». Но намъ важно отмѣтить, что тѣмъ не менѣе общее впечатлѣніе, выносимое изъ продолженія «Сем. Хроники» безконечнѣе слабѣе. А почему слабѣе? Да потому, что въ «Дѣтскихъ годахъ» нѣть того горячаго личнаго отношенія автора къ предмету повѣствованія, той непосредственности, той наивной прелести, которая такъ чаруетъ читателя въ «Сем. Хр.» Очевидно подъ влияніемъ огромнаго успѣха «Семейной Хроники» и единодушныхъ похвалъ ея непосредственности Сергей Тимофеевичъ взялся за продолженіе семейныхъ воспоминаній, старалась при этомъ быть столь-же непосредственнымъ, какъ въ первой серіи своихъ семейныхъ воспоминаній. Но въ такихъ вещахъ стараться нельзя.

«Дѣтскіе годы» имѣли то, что называется *succѣs d'estime*. Критика ихъ похваливала, но умѣренно, публика читала, но уже совсѣмъ не съ такимъ интересомъ. Еще меньше имѣли успѣха «Литературныя и театральныя воспоминанія». Мы не останавливаемся на ихъ содержаніи, все равно какъ не останавливались на содержаніи тѣхъ статей историко-литературного характера (о Шишковѣ, Державинѣ, Шушеринѣ), которые появились въ одномъ томѣ съ «Сем. Хр.», потому что съ содержаніемъ этихъ воспоминаній мы уже знакомы изъ биографической части настоящей статьи. Скажемъ только, что въ нихъ С. Т. опять является тѣмъ скучнымъ и выросшимъ въ дурномъ литературномъ сообществѣ литераторомъ, котораго онъ подавилъ въ себѣ, когда писалъ звѣроловныя книжки и «Сем. Хронику».

Послѣднее, что напечаталъ С. Т. было начало «Наташи». Судя по началу, повѣсть или вѣрнѣе правдивый разсказъ о замужествѣ сестры автора обѣщалъ быть интереснымъ.

— Константи́нъ Серге́евичъ †) старшій сынъ Сергея Тимофеевича и его жены—урожденной Ольги Семеновны Заплатиной. О Сергеѣ Тимофеевичѣ, отъ которого страстно любившій его первенецъ наслѣдо-

) Биографический свѣдѣнія: 1) *М. Погодинъ* въ «Русск. Бесѣдѣ» 1861, кн. II. 2) «Русск. Рѣчъ», 1861, № 3. 3) «Совр. Лѣтопись Рус. Вѣсти.» 1861, № I. стр. 23. 4) *Гильфердинъ* въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» 1861, № 19. 5) *М. Михайловъ* и *К. Бестужевъ-Рюминъ* въ «Энцикл. Слов.», изданномъ русск. уч. и литерат., томъ II, стр. 392—393. 6) *Г. Г. Университетскія воспоминанія* въ «Дѣлѣ». 1863. № 42. 7) *Мюнстеръ*, Портретная галлерея. 8) *Панаевъ*, Литературные воспоминанія, въ разныхъ мѣстахъ. 9) *Свербеевъ*. Воспоминанія („Русск. Арх.“ 1875, № 1, стр. 69 и № 11, стр. 373). 10) „Иллюстрир. Недѣла“ 1875, № 50. 11) *Пыпинъ*, Бѣлинскій, его жизнь и переписка, въ разныхъ мѣстахъ обоихъ томовъ. 12) Письма Бодянской къ Шевыреву („Русск. Арх.“ 1878, № 1, стр. 131; № 5, стр. 61—64; № 6, стр. 206—210, 215, 269). 13) „Русск. Арх.“ 1880, т. II, стр. 241—330. 14) *Геннадій Справочный Словарь*. 15) Словари Толя, Березина, Ключникова и иностранные Brockhaus'a, Meugera и др. 16) Письма Бѣлинского къ К. Аксакову „Русь“. 1881, № 8. 17) Письма Погодина къ Максимовичу („Сбор. русск. отд. Акад. Наукъ“. 1883. т. XXXI). 18) *Бицынъ* «Воспоминанія о К. С. Аксаковѣ», („Русск. Арх.“ 1886. № 3).

Отзы́вы о литературной дѣятельности: Объ „Освобождении Москвы“: „Лит. Газ.“. 1848. № 21. 2) *М. Погодинъ* въ „Москвит.“ 1848. № 5, стр. 27. 3) „Современникъ“ 1848, № 5, отд. 3, стр. 49—54. 4) *К. П. (Кесенофонть Полевой?)* въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ 1848. № 105.

Объ „Оleinъ подъ Константинополемъ“: 1) „Московск. Обозр.“ 1859, № 1, отд. 3, стр. 25—26. 2) „Отеч. Записки“ 1859, т. 122, стр. 101—102. 3) „Рус. Слово“ 1859, № 5, стр. 68—74.

Объ „О Русскихъ малолахъ“: 1) *Ф. Буслаевъ* въ „Отеч. Записк.“ 1855, № 8. отд. 3, стр. 23—46. 2) *И. Срезневскій*, въ „Извѣстіяхъ Императорской Академіи Наукъ“ вып. 7. 3) *Я. Туруковъ* въ „Рус. Изв.“ 1855, № 170. 4) „Современ.“ 1855, № 7.

Объ „Опытѣ русской грамматики“: 1) Русск. Изв.“ 1860. № 207. 2) „С.-Петербургскія Вѣд.“ 1860, № 125. 3) „Изв. Ипп. Акад. Наукъ“ 1860, т. 9, вып. 1. 3) *Бывшій учитель, Замѣчанія на книгу „Опытъ русской грамматики“ Спб. 1860. Тип. Н. Греча. 8^о. 28 стр. 4) *П. Безсоновъ*, Предисловіе къ III тому сочиненій К. Аксакова. 5) *Гаттала* (Hattala) въ „Часописѣ“ чешскаго музея 60-хъ годовъ.*

О „Полномъ собраніи сочиненій“ и вообще о совокупности литературной дѣятельности К. Аксакова: 1) *Н. Костомаровъ*, «О значеніи критическихъ трудовъ К. Аксакова по русской исторіи», („Русское Слово“ 1861, № 2, стр. 1—28 и отд. Спб. 1861. 2) „Современникъ“ 1862 № 1 и 2. Статья подъ заглавіемъ „Московское Словенство“. 3) *К. Бестужевъ-Рюминъ*, „Славянофильское учение и его судьбы въ русской литературѣ“ („Отеч. Записки“, 1862, № 1, 2 и 3). 4) „Время“ 1862. № 3, стр. 79—88. 5) *Н. Свѣдѣніевъ*, „Два слова о Славянофилахъ“ („Свѣточъ“ 1862 № 7). 6) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1862, № 18. 7) *И. А. Аксаковъ*, предисловіе къ I, II и III томамъ „Полнаго собранія“ сочиненій брата. 8) *Пыпинъ*, А. Характеристики литературы. мнѣній съ 1820—1850 гг., 19) *Пыпинъ*, Константи́нъ Аксаковъ („Вѣсти. Европы“ 1884, № 3 и 4). 11) *Миллеръ*, Ор. Ученіе первоначаль-ныхъ Славянофиловъ („Рус. Мысы“ 1880, № 1).

вать размахъ таланта и нравственную чистоту, обстоятельная рѣчъ была уже на предыдущихъ страницахъ. Что касается матери, то она тоже не совсѣмъ обыденная женщина, по крайней мѣрѣ по происхожденію. Отецъ ея былъ Суворовскій генераль, а мать — плѣнная турчанка Игель-Сюмъ. И, можетъ быть, эта-то примѣсь восточной крови сообщила обоимъ знаменитымъ внукамъ турчанки — Константину и Ивану Сергеевичамъ ту страсть и ту энергию, которую едва-ли они могли унаслѣдоватъ отъ мягкаго и добродушнаго Сергѣя Тимофеевича.

Внѣшній очеркъ жизни Константина Сергеевича не сложенъ. Родился онъ 29 Марта 1817 г въ селѣ Аксаковѣ бугурусланскаго уѣзда, оренбургской губерніи. Аксаково есть то самое Багрово, которое такими привлекательными красками описано въ «Семейной Хроникѣ». Здѣсь К. С. прожилъ до девяти лѣтъ, находясь въ постоянномъ общеніи съ багровскими крестьянами, которые, благодаря благодатнымъ климатическимъ условіямъ богатаго оренбургскаго края, въ интелектуальномъ и нравственномъ отношеніи стояли выше забитаго крестьянства другихъ частей Россіи. И такъ какъ Константинъ Сергеевичъ отличался необыкновенно раннимъ умственнымъ развитіемъ, то нѣть сомнѣнія въ томъ, что именно идеалистическая условія, среди которыхъ прошло дѣтство будущаго восторженнаго проповѣдника необходимости единенія интеллигенціи съ народомъ и обусловили въ значительной степени оптимистической взглядъ его на возможность этого единенія. По крайней мѣрѣ, самъ онъ неоднократно ссылался впослѣдствіи на живыя впечатлѣнія, вынесенные имъ изъ личнаго общенія съ народомъ. Общеніе же это могло имѣть мѣсто только въ раннемъ дѣтствѣ, потому что съ 1826 года Константинъ Сергеевичъ поселяется вмѣстѣ съ отцемъ въ Москвѣ и живеть въ ней безвыѣздно въ теченіи почти всей своей жизни.

Первымъ наставникомъ и духовнымъ руководителемъ Константина Аксакова былъ самъ Сергѣй Тимофеевичъ, не мало содѣйствовавшій его раннему восторженному отношенію къ русской литературѣ. Но не особенно долго длилось это руководительство. Уже въ 1832 году пятнадцатилѣтній юноша поступаетъ на словесный факультетъ московскаго университета и попадаетъ въ умственныя теченія весьма мало похожія на тѣ, въ которые могъ его ввести застрявший въ путахъ ложнаго классицизма и мелкихъ театральныхъ интересовъ Сергѣй Тимофеевичъ.

Въ знаменательное время сталъ Константинъ Аксаковъ студентомъ. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ московскій университетъ находился на рубежѣ совершенно новой эпохи, на рубежѣ рѣзкой пере-

мъны въ профессурѣ и студенчествѣ. Цѣлый рядъ молодыхъ профессоровъ: шеллингистъ Павловъ, основатель новѣйшей русской критики Надеждинъ—учитель и предшественникъ Бѣлинскаго на по-прищѣ отрѣшенія отъ колѣнопреклоненія предъ Херасковымъ, Ломоносовымъ и другими устарѣлыми корифеями, Шевыревъ — тогда еще молодой энтузиаистъ, только что вернувшійся изъ заграницы и еще не превратившійся въ того сухого педанта, съ которымъ ожесточенно ратоборствовалъ впослѣдствіи кружокъ Бѣлинскаго, Погодинъ, тоже еще молодой и свѣжий,—всѣ эти молодыя силы внесли новый духъ въ университетское преподаваніе, который и не замедлилъ произвести въ немъ радикальныя перемѣны. Вместо прежняго монотоннаго считыванія съ старыхъ тетрадокъ, въ незапамятныя времена заготовленныхъ и изъ года въ годъ, безъ малѣйшихъ перемѣнъ, повторяемыхъ, съ профессорской кафедры послышалось живое слово, стремившееся отразить въ себѣ вѣянія времени, удовлетворить нарождающимся потребностямъ жизни.

Параллельно этимъ перемѣнамъ въ профессорской средѣ происходить большая перемѣна и въ московскомъ студенчествѣ. Студентъ изъ бурша превращается въ молодого человѣка, поглощенаго высшими стремленіями. Прежніе центрархальные нравы, когда московскіе студенты, главнымъ образомъ, занимались пьянствомъ, буйствомъ, задирањемъ прохожихъ мало по малу начинаютъ отходить въ область преданій. Правда, еще въ годъ вступленія Аксакова въ университетъ, студенты забавлялись тѣмъ, что устраивали нѣкоторыя профессорамъ такія напримѣръ штуки: пронесутъ подъ полою воробья въ аудиторію и затѣмъ, когда профессоръ войдетъ въ пафосъ, выпустить его; воробей примется летать, а студенты, будто внѣ себя отъ негодованія, съ шумомъ и гамомъ повскачутъ со скамеекъ и начинаютъ ловить по всей аудиторіи нарушителя порядка.

Но въ общемъ, все таки, эти времена школьніства и незнанія куда дѣть запасъ юношескихъ силъ, рѣшительно проходятъ и замѣняются стремленіемъ къ «солнцу истины», какъ выражается самъ К. Аксаковъ въ своихъ университетскихъ воспоминаніяхъ. Ко времени его пребыванія въ университетѣ относится образованіе среди московскихъ студентовъ тѣсно сплоченныхъ кружковъ молодыхъ юношь, восторженныхъ и чистыхъ, сходящихся затѣмъ, чтобы выяснить себѣ вопросы нравственные, философскіе, политическіе. Какъ разъ во время пребыванія Константина Аксакова въ московскомъ университетѣ между студентами его организовались два кружка, для характеристики которыхъ достаточно сказать, что въ составъ ихъ входили Станкевичъ, поэты Сатинъ, Красовъ и Клюшниковъ, Кет-

черъ, Евгений Коршъ, Вадимъ Пасекъ, Бѣлинскій и самъ Константина Аксаковъ, словомъ, почти всѣ члены чрезъ нѣсколько лѣтъ сплотившагося въ одно московскаго кружка, знаменитаго въ исторіи новѣйшей русской литературы подъ именемъ «кружка Станкевича».

Исторія кружка Станкевича, къ которому въ срединѣ и концѣ тридцатыхъ годовъ непосредственно или косвенно примыкаютъ, кромѣ названныхъ лицъ, такие люди, какъ Грановскій, Тургеневъ, Кольцовъ, Василий Боткинъ, Катковъ и др., — исторія этого кружка, горѣвшаго святымъ огнемъ стремленія къ правдѣ и являющагося центральнымъ родникомъ для теченій великой эпохи сороковыхъ годовъ, слишкомъ важна и слишкомъ разнообразна, чтобы ее затронуть мимоходомъ. Мы ее отлагаемъ до статьи о высокодаровитомъ юношѣ, давшемъ свое имя цѣлому собранію первоклассныхъ дѣятелей русской мысли, хотя самъ онъ писалъ очень мало и совершенно незначительно. Теперь же отмѣтимъ только непосредственные отношенія къ кружку Станкевича Константина Аксакова.

Въ тѣ годы (1833—1840), когда Константинъ Аксаковъ, находясь подъ неотразимымъ обаяніемъ высокой душевной красоты Станкевича и страстныхъ порывовъ къ свѣту Бѣлинского, шель рука объ руку съ людьми, съ которыми впослѣдствіи вступилъ въ ожесточеннѣйшую борьбу, эти люди съ какимъ-то по истинѣ фанатическому увлеченіемъ предались изученію нѣмецкой философіи вообще и Гегеля въ частности.

«Станкевичъ былъ первый послѣдователь Гегеля въ кругу московской молодежи. Онъ изучилъ нѣмецкую философію глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, онъ увлекъ большой кругъ друзей въ свое любимое занятіе» и тѣ, отъ всякаго приходившаго съ ними въ столкновеніе «требовали безусловнаго принятія феноменологіи и логики Гегеля и при томъ по ихъ толкованію. Толковали же они объ нихъ безпрестанно, нѣть параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ (Гегелевской) логики, въ двухъ его эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взяты отчаянными спорами нѣсколькоихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлые недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной личности и о ея по себѣ бытіи». Всѣничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣзденыхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ, въ нѣсколько дней».

Это увлеченіе гегеліанствомъ порою доходило у членовъ кружка

до наивно-трогательныхъ проявленій. Молодые люди такъ преисполнились ученiemъ берлинского философа—что у нихъ «отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности, сдѣлалось школьнное, книжнное, это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которыми такъ гениально смѣялся Гете въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дѣлѣ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченные категории и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своеобразная наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантейтическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣляла субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайному явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ»...

Въ ряду этихъ энтузіастовъ гегеліанства одно изъ первыхъ мѣсть по силѣ приверженности къ ученію берлинского философа занималъ Константинъ Аксаковъ, страстная натура которого не умѣла ничего дѣлать на половину. Гегеліанство, впрочемъ, настолько прочно въ немъ засѣло, что еще долго послѣ того, какъ онъ совершенно разшелся съ друзьями по кружку Станкевича и съ такимъ-же пыломъ боролся съ ними, съ какимъ нѣкогда шелъ за одно, онъ, все-таки, не могъ отѣлаться отъ схемы творца діалектической философіи. Такъ, дальше мы увидимъ, что магистерская диссертација Константина Аксакова, относящаяся къ 1846 г., т.-е. къ тому времени, когда онъ уже былъ однимъ изъ передовыхъ застрѣльщиковъ славяно-фильства, является по основной задачѣ своей не болѣе какъ иллюстраціей къ ученію Гегеля о смѣнѣ историческихъ эпохъ и наслоеній.

Заговоривши о гегеліанствѣ кружка Станкевича, необходимо, впрочемъ, также прибавить, что въ ту пору, когда къ нему примыкаль Константинъ Аксаковъ, кружокъ еще принадлежалъ къ *правой* сторонѣ гегеліанства, т. е. къ той сторонѣ его, которая знаменитую Гегелевскую фразу «все существующее разумно» понимало въ томъ смыслѣ, что слѣдуетъ преклониться предъ существующимъ порядкомъ вещей. Такъ Бѣлинскій, перешедшій съначала 40-хъ г. въ лѣвое гегеліанство, въ эпоху своего пребыванія въ кружкѣ Станкевича, написалъ известную статейку о «Бородинской годовщинѣ», где преклоненіе предъ существующимъ порядкомъ вещей дошло до того, что многое изъ

представителей тогдашней оппозиционной интеллигенции съ нимъ раз-знакомились. Правда, статейка, какъ видно изъ разъ цитированныхъ уже нами воспоминаній, были результатомъ полемического раздраженія. Бѣлинскій, разъ усвоивши себѣ то или другое воззрѣніе, «не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ моральнымъ приличиемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, кото-раго такъ страшатся люди слабые и несамобытные: въ немъ не было робости, потому что онъ былъ силенъ и искрененъ; его совѣсть была чиста». Вотъ почему, понявши извѣстнымъ образомъ формулу Гегеля, онъ проповѣдывалъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ «индійскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы», проповѣдывалъ съ тою-же лихорадочною страстью, съ какою чрезъ полтора, два года нападалъ на представителей квіетизма и требовалъ активнаго противодѣйствія тяжелымъ общественнымъ условіямъ дoreформенной эпохи.

Такимъ образомъ, между фанатическою преданностью основамъ русской жизни, которою знаменуется общественное міросозерцаніе Константина Аксакова въ 40-хъ и 50-хъ годахъ, и общественными взглядами кружка Станкевича по существу разницы не было. Но тѣмъ не менѣе самъ-же Константинъ Аксаковъ, составляя въ 1855 г. свои «Университетскія воспоминанія», гдѣ онъ, между прочимъ, довольно подробно распространяется о кружкѣ Станкевича, говоритъ о своемъ пребываніи въ немъ, какъ о фазисѣ давно пережитомъ. Эта постановка совершенно правильна, потому что, избѣгая «либеральничанія и фрондерства», по выражению К. Аксакова, кружокъ Станкевича, однакоже, представлялъ собою во всѣхъ отношеніяхъ оппозиционное явленіе. Начиная съ виѣшней формы собраній кружка — этихъ скромныхъ сходьбищъ, гдѣ почти никогда не пили вина и истребляли только огромное количество чая и булокъ, и кончая спосбомъ выраженій, которому давали тонъ «буйныя рѣчи» Бѣлинскаго, тогда уже получившаго отъ пріятелей прозвище «неистового Виссарiona», да, такъ начиная съ истинно-демократической, не смотря на присутствіе многихъ баричей, виѣшности собраній кружка и кончая юношески-страстными дебатами, все въ кружкѣ дышало тою свободою отношеній къ обсуждаемымъ предметамъ, о которой не было и помину въ аристократическомъ академизмѣ позднѣйшихъ друзей Константина Аксакова—славянофиловъ. И затѣмъ: «Университетскія воспоминанія», о которыхъ была рѣчь нѣсколько строкъ выше, прямо показываютъ, что при всей своей преданности главнымъ основамъ русской жизни, члены кружка по множеству частныхъ вопросовъ держались направлениа совсѣмъ иного,

такъ что, давая общую характеристику друзей своей ранней юности, К. Аксаковъ считаетъ возможнымъ сказать о нихъ слѣдующее:

«Въ кружкѣ Станкевича (въ срединѣ 30-хъ годовъ) выработалось уже общее возврѣніе на Россію, на жизнь, на литературу, на міръ—возврѣніе большою частью отрицательное.

Это отрицательное направленіе часто даже шокировало Аксакова, «русское» направленіе котораго ярко опредѣлилось, по свидѣтельству Гильфердинга, еще тогда, когда ему было 9, 10 лѣтъ. Съ болью сердечною воспоминаетъ Конст. Сергеевичъ о нападкахъ членовъ кружка на многія частности тогдашихъ порядковъ:

„Одностороннѣе всего“ говорить онъ „были нападенія на Россію, возбужденныя казенными ей похвалами. Пятнадцатилѣтній юноша, вообще довѣрчивый и тогда готовый вѣрить всему, еще многаго не передумавшій, еще со многимъ не уравнившійся, я былъ пораженъ такимъ направленіемъ, и мнѣ оно часто было больно; въ особенности болѣвы были мнѣ нападенія на Россію, которую люблю съ самыхъ малыхъ лѣтъ. Но видѣя постоянный умственный интересъ въ этомъ обществѣ, слыша постоянныя рѣчи о нравственныхъ вопросахъ, я, разъ познакомившись, не могъ оторваться отъ этого кружка и рѣшительно каждый вечеръ проводилъ тамъ.“

Но всего ярче отрицательное направленіе кружка выразилось въ вопросахъ чисто-литературныхъ. Вспомнимъ, въ самомъ дѣлѣ, что къ эпохѣ процвѣтанія кружка относятся «Литературные мечтанія» Бѣлинскаго, гдѣ съ такою безпощадною «дерзостью», по выражению пришедшихъ въ ужасъ литературныхъ старовѣровъ, было провозглашено, что собственно никакой-то у насъ настоящей литературы и нѣть. Вспомнимъ затѣмъ то, что уже было нами отмѣчено въ статьѣ объ Сергеѣ Тимофеевичѣ Аксаковѣ по поводу отношений послѣдняго къ Гоголю, именно, что первые люди, которые прозрѣли, что въ лицѣ Гоголя народился геніальный писатель, были члены кружка Станкевича и Бѣлинскаго. Поклоненіе Гоголю находится въ непосредственной связи съ общимъ направленіемъ литературныхъ убѣждений кружка, о которыхъ Аксаковъ сообщаетъ:

„Искусственность россійского классического патріотизма, претензіи, наполнявшія нашу литературу, усилившаяся фабрикація стиховъ, неискренность печатного лиризма, все это породило (въ членахъ кружка) справедливое желаніе простоты и искренности, породило сильное нападеніе на всякую фразу и эффектъ.“

И если въ заключеніе мы обратимъ вниманіе на то, что по словамъ К. Аксакова, подтверждаемъ и всѣми другими многочисленными данными о Станкевичѣ и его друзьяхъ, кружокъ «отличался самостоятельностью мнѣнія, свободною отъ всякаго авторитета», то въ общемъ и выяснится рѣшительно оппозиціонный характеръ его.

И вотъ почему отношения между К. Аксаковымъ и его университетскими товарищами, въ концѣ концовъ, должны были порваться.

Пока этотъ оппозиціонный характеръ бытъ присущъ кружку лишь implicite, пока одностороннее пониманіе формулы Гегеля приводило къ такимъ проявленіямъ, какъ статейка Бѣлинскаго о «Бородинской годовщинѣ», К. Аксаковъ могъ идти рука обь руку съ будущими ожесточенными противниками своими. Но около 1840 года цѣлый рядъ обстоятельствъ приводить къ тому, что скрытый оппозиціонный духъ кружка переходитъ въ открытый. Умираетъ, во-первыхъ, Станкевичъ, мягкая натура котораго уравновѣшивала и сдерживала рѣзкія выходки и стремленія другихъ членовъ кружка, а затѣмъ самое главное — наиболѣе близкій къ Константину Аксакову по кружку Станкевича человѣкъ — Бѣлинскій, добравшись въ статейкѣ о «Бородинской годовщинѣ» до кульминаціоннаго пункта своего увлеченія правымъ гегеліантствомъ, круто поворачиваетъ въ противоположную сторону и съ такою-же стремительностью начинаетъ произносить, говоря выраженіемъ К. Аксакова, «буйныя хулы» по адресу понятій которыми еще таکъ недавно восхищался. Не вытерпѣть этого Аксаковъ, все болѣе и болѣе начинавшій сближаться, послѣ смерти Станкевича и отѣзда Бѣлинскаго въ Петербургъ (1839), съ Хомяковымъ, Кирѣевскими, Самаринамъ, прежніе друзья обмѣнялись нѣсколькоими рѣзкими письмами и навѣки разстались: К. Аксаковъ пошелъ направо, Бѣлинскій налево. У каждого изъ нихъ при этомъ сердце кровью обливалось. Нужно перечитать напечатанныя въ «Руси» 1881 г. письма Бѣлинскаго къ К. Аксакову (отъ 1837 г.), чтобы понять какая горячая, истинно-братская привязанность соединяла обоихъ идеалистовъ. Но именно потому, что оба они были идеалисты, именно потому, что исканіе правды не было для нихъ высокопарною фразою, а насущною потребностью ихъ высокаго духовнаго существа, именно потому-то разрывъ между ними и сталъ неизбѣженъ какъ только они стали разно понимать истину. «Я по натурѣ жидъ» писалъ Бѣлинскій по поводу своей ссоры съ Аксаковымъ, подразумѣвая подъ этимъ словомъ человѣка съ исключительными симпатіями, которому ненавистно все не свое, который не выносить ни малѣйшаго компромисса съ «филистимлянами». Но такимъ-же жидомъ по натурѣ былъ и Константинъ Аксаковъ. Для него тоже не существовало истины вообще, онъ тоже понималъ только свою истину, только ту истину, которая окрашена въ любезный ему цветъ, онъ тоже не понималъ какихъ-бы то ни компромиссовъ, уступокъ, соглашеній. И вотъ почему оба прежніе друзья играютъ одинъ и тѣ же роли въ тѣхъ лагеряхъ, къ которымъ они окончательно примкнули послѣ разрыва. Съ тою-же необузданностью, съ какою «неистовый Вискаріонъ» выступаетъ передовымъ бойцомъ западничества, Кон-

стантина Аксаковъ выступаетъ передовымъ застрѣльщикомъ славянофильства въ его наиболѣе крайнихъ проявленіяхъ. Онъ первый одѣвается на себя мурмолку и первый-же провозглашаетъ, что надо вернуться «домой», т. е. въ допетровскую Русь.

Послѣ разрыва съ Бѣлинскимъ и вообще со старыми друзьями, жизнь Константина Аксакова, и до того бѣдная внѣшними событиями, окончательно укладывается въ тѣ рамки, въ которыхъ онъ ее проводить вплоть до самой своей смерти въ 1861 г. Оно и не удивительно, если вспомнить до какой степени К. Аксаковъ былъ человѣкомъ не отъ мира сего и до какой степени онъ душой и тѣломъ ушелъ цѣликомъ въ книжныя занятія, въ чистую и исключительную сферу идей и теоретическихъ построеній, вѣтъ которыхъ для него буквально ничего не существовало на свѣтѣ.

«Константинъ Аксаковъ» пишетъ Панаевъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ «въ житейскомъ, практическомъ смыслѣ остался до сорока слишкомъ лѣтъ, то есть до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и приросъ къ нему, какъ улитка къ родной раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной жизни, безъ подпоры семейства. Внѣ своихъ ученыхъ и литературныхъ занятій, онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца и происшедшая отъ этого перемѣна въ домашнемъ быту вдругъ сломила его не сокрушимое здоровье. Онъ не могъ пережить этой потери и перемѣны, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ».

При такомъ складѣ жизни и отсутствіи личныхъ интересовъ, біографія К. Аксакова, главнымъ образомъ, есть исторія хода его литературнаго развитія, исторія его литературныхъ и ученыхъ работъ.

Начинается эта научно-литературная дѣятельность Аксакова еще на студенческой скамьѣ и, какъ оно вполнѣ приличествуетъ, для такого энтузиаста и пламенного идеалиста, — стихами. Уже на торжественномъ актѣ 1835 г. только-что окончившій курсъ 18 лѣтній кандидатъ читаетъ приличные слушаю стихи, впослѣдствіи приведенные имъ въ «Университетскихъ воспоминаніяхъ». Вслѣдъ затѣмъ К. Аксаковъ принимаетъ довольно живое участіе (иной разъ подъ псевдонимомъ К. Эвропидина) въ тѣхъ журналахъ, въ которыхъ сотрудничалъ Бѣлинскій — «Телескопъ», «Молвѣ», «Московскомъ Наблю-

Пока этотъ оппозиціонный характеръ былъ присущъ кружку лишь implicite, пока одностороннее пониманіе формулы Гегеля приводило къ такимъ проявленіямъ, какъ статейка Бѣлинскаго о «Бородинской годовщинѣ», К. Аксаковъ могъ идти рука объ руку съ будущими ожесточенными противниками своими. Но около 1840 года цѣлый рядъ обстоятельствъ приводить къ тому, что скрытый оппозиціонный духъ кружка переходитъ въ открытый. Умираетъ, во-первыхъ, Станкевичъ, мягкая натура которого уравновѣшивала и сдерживала рѣзкія выходки и стремленія другихъ членовъ кружка, а затѣмъ самое главное — наиболѣе близкій къ Константину Аксакову по кружку Станкевича человѣкъ — Бѣлинскій, добравшись въ статейкѣ о «Бородинской годовщинѣ» до кульминаціоннаго пункта своего увлеченія правымъ гегеліантствомъ, круто поворачиваетъ въ противоположную сторону и съ такою-же стремительностью начинаетъ произносить, говоря выраженіемъ К. Аксакова, «буйныя хулы» по адресу понятій которыми еще такъ недавно восхищался. Не вытерпѣть этого Аксаковъ, все болѣе и болѣе начинавшій сближаться, послѣ смерти Станкевича и отѣзда Бѣлинскаго въ Петербургъ (1839), съ Хомяковымъ, Кирѣевскими, Самаринъмъ, прежніе друзья обмѣнялись вѣсколькими рѣзкими письмами и навѣки разстались: К. Аксаковъ пошелъ направо, Бѣлинскій налево. У каждого изъ нихъ при этомъ сердце кровью обливалось. Нужно перечитать напечатанныя въ «Руси» 1881 г. письма Бѣлинскаго къ К. Аксакову (отъ 1837 г.), чтобы понять какая горячая, истинно-братьская привязанность соединяла обоихъ идеалистовъ. Но именно потому, что оба они были идеалисты, именно потому, что исканіе правды не было для нихъ высокопарною фразою, а насущною потребностью ихъ высокаго духовнаго существа, именно потому-то разрывъ между ними и сталъ неизбѣженъ, такъ только они стали разно понимать истину. «Я по натурѣ съ Аксаковымъ вая подъ этимъ словомъ человѣка съ исключительностью, которому ненавистно все не свое, который не пытается уладить разногласія, не ищетъ компромисса съ «филистимлянами» — натурѣ былъ и Константинъ Аксаковъ, и Бѣлинскій, и Виссарионъ, выступаетъ не

станинъ Аксаковъ
нофильства въ 1855 г.
одѣвается на сцену и
вернувшись домой

Почти никто не зналъ
жизни Константина
окончательно уничтожилъ
водитъ въ Сибирь
тельное око и
въкомъ въ Сибирь
ушелъ изъ Петербурга
сферу Европы и
буквально изъ

«Константина Аксакова»
ныши восторгомъ
вался даже въ
совершенномъ
домашнемъ
реквизитѣ. Въ
подпоры сидѣлъ
она немногимъ
происшедшемъ
мила его и
тери и вернулся

разъ
довъ
комъ
вяно-
а томъ
ую кри-
е. Когда
о статью
астности».
а» (1853 г.)
вѣта не уви-
е. Вызванная
помнить эпоху,
къ знаменатель-
но завершающему
ю ціонный ураганъ,
жившій совершенно
нась рядъ мѣръ, ко-
вое царствованіе замѣ-
силъ теченіями иного
личности. Здѣсь не мѣсто
на подробнотѣ этого
олько двѣ, три детали, непо-
Аксакова.

только духовно, но и наружно,
нуть принять внѣшній народный
в голову мурмалку, нарядился въ
отпustиль бороду. Въ послѣдніемъ
циро не видѣли. Но почти съ пер-
выхъ марта и прочихъ револю-
ціи участь гоненіе на бороду. Обильная
большая борода и длинные волосы были
у въ прогрессивныхъ и революціон-
гъ, благодаря этому, ношеніе бороды вс-

дателъ». Послѣдній журналъ, какъ извѣстно, одно время (1839—40 гг.) редактировался Бѣлинскимъ и всѣ члены кружка Станкевича дѣятельно въ немъ сотрудничали. Аксаковъ даваль маленькия рецензіи и стихи, по преимуществу переводы изъ Шиллера и Гете — двухъ поэтовъ, которыми онъ тогда бредиль, именно потому, что они проповѣдовали *общечеловѣческие* идеалы.

Въ 1838 г. Аксаковъ поѣхалъ заграницу. Но не долго пробылъ онъ тамъ. Полное неумѣніе жить самостоятельно, чрезъ пять мѣсяцевъ пребыванія въ Германіи, погнало его обратно домой въ родимое гнѣздо, гдѣ на немъ не лежали прозаической хлопоты жизни и гдѣ онъ могъ погрузиться въ любимыя занятія, не отягощая своихъ думъ такими трудными заботами, какъ пріискиваніе обѣда, уходъ за своимъ туалетомъ и т. д.

Поѣздка заграницу по своей кратковременности прошла почти безслѣдно для К. Аксакова. Сохранился только разсказъ о томъ, что во время пребыванія въ Берлинѣ, онъ первый и послѣдній разъ въ жизни пытался сблизиться съ женщиной. На перекресткѣ одной изъ берлинскихъ улицъ обратила на себя его вниманіе молоденькая продавщица цвѣтовъ. Миловидное лицико нѣмочки показалось ему отраженiemъ столь-же привлекательной души. И началъ онъ каждый день приходить на перекрестокъ и покупать по букету, отваживаясь при этомъ сказать продавщицѣ нѣсколько словъ о постороннихъ предметахъ. Продавщица ласково ему отвѣчала и между ними установилась извѣстная интимность. Ободренный молодой человѣкъ началъ все дольше и дольше простаивать у прилавка продавщицы, началь приносить Шиллера и читать изъ него наиболѣе возвышенныя и трогающія душу мѣста. Нѣмочка внимательно слушала чтеніе и все болѣе и болѣе задумывалась во время его. Восхищенный Аксаковъ съ восторгомъ наблюдалъ это впечатлѣніе высокой поэзіи великаго поэта. Но вотъ въ одно изъ посѣщеній цвѣточной лавочки продавщица ему прямо заявляетъ, что Шиллеръ Шиллеромъ, а что онъ ей отбиваетъ покупателей, что обѣ его продолжительныхъ посѣщеніяхъ много говорятъ сосѣди и что если онъ хочетъ продолжать знакомство, то ей было-бы желательно получать отъ него что-нибудь посущественнѣе стиховъ, за что, въ свою очередь, она, не требуя отъ него наложенія на себя брачныхъ узъ, готова всецѣло отдана въ его распоряженіе. Въ ужасъ слушалъ эти рѣчи упавшій съ неба прямо въ лужу идеалистъ и въ ужасѣ бѣжалъ изъ цвѣточной лавочки, и когда впослѣдствии пріятели, узнавши отъ него въ минуту откровенности всю исторію, пробовали дразнить его ею, лице Аксакова перекапливалось отъ внутренняго страданія.

Въ 1847 г. К. Аксаковъ защитилъ диссертацио о Ломоносовѣ, представленную имъ для полученія степени магистра русской словесности. Диссертациа была изготовлена гораздо раньше, но при печатаніи встрѣтились цензурныя препятствія. Нѣкоторыя выраженія о Петрѣ и «петербургскомъ періодѣ» показались слишкомъ рѣзкими и книгу пришлось перепечатывать.

Гораздо болѣе трудная цензурныя препятствія, на этотъ разъ даже непреодолимыя, встрѣтили К. Аксаковъ въ началѣ 50-хъ годовъ при обнародованіи нѣкоторыхъ изъ своихъ статей въ «Московскомъ Сборникѣ». Издание «Моск. Сборника» было предпринято славяно-фильскимъ кружкомъ еще въ 1846 г. Въ вышедшемъ тогда томѣ К. Аксаковъ подъ псевдонимомъ *Имрека* помѣстилъ обширную критическую статью, отрывки изъ которой мы приведемъ дальше. Когда въ 1852 г. Сборникъ возобновился, Аксаковъ далъ для него статью «О родовомъ бытѣ у славянъ вообще и у русскихъ въ частности». Но приготовленная имъ для слѣдующаго «Москов. Сборника» (1853 г.) статья о «Богатыряхъ князя Владимира» своевременно свѣта не увидѣла и была напечатана только въ новое царствованіе. Вызванная ею цензурная буря не должна настъ удивить, если вспомнить эпоху, къ которой она относится. 1853 годъ принадлежитъ къ знаменательному семилѣтію 1848—1855 гг., такъ характерно завершающему собою дoreформенную эпоху. Извѣстно, что революціонный ураганъ, пронесшійся надъ Европою 1848 года, но оставившій совершенно въ сторонѣ Россію, вызвалъ, тѣмъ не менѣе, у насъ рядъ мѣръ, которыя уже чрезъ нѣсколько лѣтъ, когда новое царствованіе замѣнило вѣянія недовѣрія къ общественнымъ силамъ теченіями иного характера, казались странными до анекдотичности. Здѣсь не мѣсто сколько-нибудь подробно останавливаться на подробностяхъ этого удивительного семилѣтія. Отмѣтимъ только двѣ, три детали, непосредственно касающіяся Константина Аксакова.

Желая слиться съ народомъ не только духовно, но и наружно, К. Аксаковъ рѣшилъ, что ему слѣдуетъ принять внѣшній народный обликъ. Для этого онъ одѣлъ на голову мурмолку, нарядился въ рубашку съ косымъ воротомъ и отпустилъ бороду. Въ послѣднемъ до 1848 г. ничего предосудительного не видѣли. Но почти съ первыми же вѣстями о февральскихъ, мартовскихъ и прочихъ революціонныхъ событияхъ, началось у насъ гоненіе на бороду. Обильная растительность на головѣ—большая борода и длинные волосы были очень модны въ 1848 году въ прогрессивныхъ и революціонныхъ сферахъ Европы. И вотъ, благодаря этому, ношеніе бороды воспрѣ-

щается. Въ числѣ многихъ другихъ Константину Аксакову чрезъ полицію было приказано, чтобы онъ сбрилъ бороду. («Рус. Арх.» 1884 г. № 4).

Въ Декабрѣ 1850 г. К. Аксаковъ поставилъ въ бенефисъ Леоницова свою драму «Освобожденіе Москвы», драму безусловно благонамѣренную даже съ точки зрѣнія самаго казеннаго «патріотизма». Тѣмъ не менѣе ее на слѣдующій день сняли съ репертуара. Точныхъ объясненій этого запрещенія мы не нашли въ нашей исторической литературѣ. Не сомнѣваемся, однако-же, въ томъ, что причина лежала въ желаніи автора подчеркнуть, что Москву въ 1612 году освободили не бояре, а народъ.

Но всего любопытнѣе подробности той цензурной бури, о которой было упомянуто нѣсколько строкъ выше.

Когда въ 1852 году московскіе славянофилы издали I-й томъ возобновленіаго «Москов. Сборника», онъ болѣе или менѣе благополучно миновалъ цензурные рифы. Но, все-таки, тогдашній министръ народнаго просвѣщенія Ширинскій-Шихматовъ обратилъ вниманіе на «предосудительность направленія Сборника», находя, что «хотя народность и составляетъ одну изъ главныхъ основъ нашего государственного быта, но развитіе понятія о ней не должно быть одностороннее и безусловное; иначе безотчетное стремленіе къ народности можетъ перейти въ крайность и вместо пользы принести существенный вредъ». Въ виду этого приказано было къ II-му тому Сборника отнести по возможности «внимательно». Результатомъ такого приказанія было то, что представленный на слѣдующій годъ 2-й томъ былъ цѣликомъ запрещенъ. Пропуская цензурные мотивы относительно запрещенія другихъ статей, приведемъ то мѣсто цензурнаго доклада, которое касается разматриваемаго нами теперь писателя. Московскій цензурный комитетъ находилъ, что Константинъ Аксаковъ

„подобно Хомякову старается отыскивать въ сказкахъ и пѣсняхъ признаки того-же небывало въ *Rossii* общепринятаго порядка дѣлъ. Но кроме того К. Аксаковъ указываетъ на мѣста, где Соловей-разбойникъ называется великаго князя воромъ, богатырь Тугаринъ Змѣевичъ цѣлуетъ великую княгиню въ уста сахарныя, а Алеша Поповичъ чуть не называетъ ее суккою. Еще въ одной пѣснѣ говорится, что Владимиръ, желая отбить жену у богатыря Данилы, отправилъ его на явную смерть и потому повелѣлъ убить его; но Данило предупредилъ его и самъ лишилъ себя жизни. К. Аксаковъ прибавляетъ къ этому: „когда сила побѣждена силою, когда пѣтъ болѣе ея оскорбительного притязанія, Данило говоритъ: видно я сталъ неугоденъ князю, и убиваетъ себя; въ этихъ словахъ вовсе не видать ни подобострастія, ни рабскаго чувства: отношенія богатырей къ великому князю были основаны на свободной привязанности“. Сверхъ того К. Аксаковъ обращаетъ вни-

маніе на п'єсю, въ которой описывается нашествіе на Кіевъ татарскаго цара Калина. Хотя это и непріятельскій царь, но все-таки неприлично, что сочинитель выписывает изъ п'єсні слѣдующіе стихи:

Собака, проклятый ты, Калинъ царь
Васъ-то, царей, не бьють, не казнить,
Не бьють, не казнить и не вѣшаютъ.

П'єсни и сказки, на которыхъ К. Аксаковъ основалъ статью свою, большую частью, напечатаны; всѣ читали ихъ, относя безцеремонные поступки богатырей къ простотѣ древнихъ правовъ или къ вымыслу составителей сказокъ; однъ К. Аксаковъ могъ вывести изъ нихъ *небывалымъ въ Россіи — общину, вольницу и дерзаетъ богатырей ставить противъ великаго князя!* (См. „Рус. Ст. 1875 г. № 10).

Кромѣ статьи о богатыряхъ К. Аксаковъ помѣстилъ въ Сборникъ два стихотворенія. По мнѣнію цензора, выступившаго въ роли эстетического критика, стихотворенія «ничтожны по содержанию, но и въ нихъ есть непонятныя мысли и говорится о человѣкѣ, котораго духъ *свободенъ и открыть*. Такая «темнота» дѣлали для цензора «смысль стихотвореній подозрительнымъ».

Наложеніемъ цензорскаго *veto* дѣло не ограничилось. По разсказу редактора Сборника—Ивана Сергеевича Аксакова («Рус. Арх.», 1878 г. № 11) не только Сборникъ въ полномъ составѣ былъ запрещенъ (по личному объясненію, данному издателю — «не столько за то, что въ немъ сказано, сколько за то, что умолчано»), но «вмѣстѣ съ нимъ состоялось повелѣніе: всѣмъ главнымъ участникамъ: братьямъ Аксаковымъ, Кн. Черкасскому, Хомякову, Кирѣевскимъ не иначе печатать свои статьи, какъ проведя ихъ чрезъ Главное Управление цензуры въ Петербургѣ». Послѣднее, по свидѣтельству Ивана Аксакова «равнялось запрещенію».

А въ довершеніе всѣхъ сотрудники Сборника, въ томъ числѣ и К. Аксаковъ, были отданы подъ полицейскій надзоръ—фактъ любопытный не только для характеристики того времени, но и специально для истории славянофильства. Онъ показываетъ, что въ первое десятилѣтіе своего существованія славянофильство еще на столько мало опредѣлило *практический* характеръ своей доктрины, на столько мало заявило себя на поприщѣ фактической поддержки основъ русской жизни, что вѣдомства, наблюдавшія за образомъ мыслей, не могли отличить благонамѣреннаго народничанія отъ оппозиціоннаго демократизма.

Только съ наступленіемъ новаго царствованія К. Аксаковъ снова принимается за литературную дѣятельность, но за то уже съ удвоенною энергией. Начавшая выходить съ 1856 г. «Русская Бесѣда»

считала его въ числѣ наиболѣе дѣятельныхъ сотрудниковъ своихъ, а въ 1857 году онъ даже самъ редактировалъ еженедѣльную газету «Молву», гдѣ помѣстилъ множество мелкихъ статей. Кроме того онъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ напечаталъ двѣ драмы—«Князя Луповицкаго» и «Олега подъ Константинополемъ», начало своей русской грамматики и многое другое, что будетъ названо дальше въ перечнѣ его сочиненій.

Но вся эта кипучая дѣятельность была внезапно прервана смертью Сергея Тимофеевича. Безконечно любившій отца сынъ не вынесъ потери главной личной привязанности своей и чрезъ 1½ года—7 Декабря 1860 г. умеръ отъ легочной чахотки на островѣ Занте. Подробности этого глубоко-трогательного и рѣдкаго проявленія сыновней любви будутъ приведены нами дальше.

Мы очертили виѣшнія рамки жизненнаго поприща Константина Аксакова. О внутреннемъ содержаніи ихъ даютъ намъ опредѣленное представлѣніе его сочиненія. Но раньше чѣмъ перейти къ нимъ мы считаемъ не лишнимъ привести нѣкоторые отрывки изъ статей, посвященныхъ воспоминаніямъ о Константинѣ Сергеевичѣ. При отсутствіи сколько-нибудь обстоятельной біографіи К. Аксакова, эти воспоминанія, при всей ихъ отрывочности, намѣчаютъ, все-таки, главные черты духовной физіономіи благороднѣйшаго изъ представителей московскаго славянофильтва.

Начнемъ съ характеристики драгоцѣнной тѣмъ, что ее даваль *образъ*, человѣкъ всю жизнь свою боровшійся съ идеями К. Аксакова. И вотъ что писалъ этотъ врагъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ смерти Константина Сергеевича:

«Констант. Аксаковъ не смѣялся, какъ Хомяковъ, и не сосредоточивался въ безвыходномъ сѣтованіи, какъ Кирѣевскіе. Мужающій юноша, онъ рвался къ дѣлу. Въ его убѣжденіяхъ не неувѣренное пытанье почвы, не печальное сознаніе проповѣдника въ пустынѣ, не темное придуханіе, не дальняя надежды—а фанатическая вѣра, нетерпимая, вѣселящая, односторонняя, та, которая предгаряется торжество. Аксаковъ былъ одностороненъ, какъ всякий воинъ, съ спокойно взѣвшимиъ эклектизмомъ нельзя сражаться. Онъ былъ окружено враждебной средой, средой сильной и имѣвшей надъ нимъ большія выгоды, ему надобно было пробиваться рядомъ всевозможныхъ непріятелей и водрузить свое знамя. Какая тутъ терпимость!

Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ петровской Руси, противъ петербургскаго периода во имя непрізнанной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступала діалектиѣ Хомякова, онъ не былъ поэты-мыслитель какъ И. Кирѣевскій, но онъ за свою вѣру пошелъ бы на площадь, пошелъ бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, онъ становится страшно

убѣдительны. Онъ въ началѣ сороковыхъ годовъ проповѣдывалъ сельскую общину, мірь и артель. Онъ научилъ Гакетгаузена понимать ихъ, и послѣдовательный до дѣйства, первый опустилъ панталоны въ сапоги и надѣлъ рубашку съ кривымъ воротомъ. «Москва, столица русскаго народа, говорилъ онъ, а Петербургъ, только резиденція».—И замѣтѣте, отвѣчалъ я ему, какъ далеко идетъ это различіе, въ Москвѣ вѣсъ непремѣнно посадять на *смѣжную*, а въ Петербургѣ сведутъ на *таунгахтумъ*.

Аксаковъ остался до конца жизни вѣчно восторженнымъ и безпредѣльно благороднымъ юношемъ, онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни «славяне», ни мы не хотѣли больше встрѣчаться, я какъ-то шелъ по улицѣ, К. Аксаковъѣхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнѣ. «Мнѣ было слишкомъ больно, сказалъ онъ, проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ пожать вамъ руку и проститься..» Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился; я стоялъ на томъ-же мѣстѣ, мнѣ было грустно; онъ бросился ко мнѣ, обнялъ меня и крѣпко подѣловаль. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту ссоры!

Столь-же симпатичными красками обрисовывалъ въ 1861 года личность только что умершаго К. Аксакова одинъ изъ собственниковъ «Современника»—Панаевъ. И если вспомнить, что «Современникъ» тогда находился въ ожесточенной перепалкѣ съ славянофилами, то мы тутъ опять имѣемъ доказательство необыкновеннаго душевнаго обаянія К. Аксакова, про котораго не даромъ уже цитированній нами нѣсколько разъ писатель въ другомъ мѣстѣ своихъ воспоминаній говорилъ, что онъ «одинъ изъ тѣхъ противниковъ, которые были ближе намъ многихъ своихъ». И такъ какъ это отношеніе къ К. Аксакову можно назвать всеобщимъ, одинаково встрѣчающимся у всѣхъ когда либо писавшихъ о благородномъ главарѣ славянофильства, будь они славянофильского или западническаго лагеря, то мы и считаемъ возможнымъ въ заключеніе біографической части настоящей статьи привести отрывки изъ недавно появившихся («Рус. Архивъ» 1885 г. № 3) воспоминаній о К. Аксаковѣ горячаго поклонника его идей—г. Н. Бицына. Воспоминанія г. Бицына представляютъ собою наиболѣе полное изъ «до сихъ поръ появившихся статей о К. Аксаковѣ собраніе отдѣльныхъ свѣдѣній о его характерѣ и нравственной личности.

„Какое множество, быть можетъ, умныхъ людей“ начинаетъ г. Бицынъ свои воспоминанія „съ высоты своего практическаго разумѣнія считали Константина Сергеевича ребенкомъ и даже дитей. Какъ они должны были забавляться его простодушною вѣрою въ людей и совершенными невѣдѣніемъ тѣхъ, такъ называемыхъ практическихъ истинъ, что извѣстны даже весьма южнимъ умницамъ памзустъ. Но какъ вся эта масса свѣтскихъ мудрецовъ пасовала предъ ними, передъ этимъ «младенцемъ на змое», именно ради его неумолимаго и неподкуп-

наго нравственного чувства. Никакой сдѣлки съ совѣстью, никакого компромисса или способа уживчивости, никакого modus vivendi кривды съ правдой онъ не допускалъ. „Я ему руки не подаю“, сказалъ мнѣ одинъ разъ Константина Сергеевичъ про человѣка весьма извѣстного тогда въ московскомъ свѣтѣ. Признаться, меня это удивило, именно потому что личность, о которой шла рѣчь, пользовалась всеобщимъ вѣнчаниемъ почетомъ; трудно-бы было и избѣжать встрѣчу въ обществѣ именно съ этимъ бывшимъ тогда въ славѣ, общественнымъ дѣятелемъ.—«Я не знаю ничего безнравственнѣе свѣтской нравственности», продолжалъ какъ-бы въ поясненіе своей мысли Константина Сергеевичъ. «Случалось ли-вамъ слышать такое общепринятое про человѣка выраженіе (именно только въ свѣтѣ оно могло родиться!): это—разбойникъ, это безнравственный человѣкъ, mais c'est un homme tout à fait comme il faut, руку ему можно подать?».

„Я у нея не бываю и съ ней не говорю“, точно также сказалъ мнѣ разъ Константина Сергеевичъ про одну извѣстную даму, и это меня удивило тѣмъ болѣе, что съ ея мужемъ Константина Сергеевичъ былъ въ постоянныхъ живыхъ отношеніяхъ.

К. Аксаковъ не позволялъ себѣ самыхъ пустыхъ отступленій отъ истины въ угоду условнымъ свѣтскимъ приличіямъ.

„Одинъ разъ“ разсказываетъ г. Бидынъ, «пришлось мнѣ просить Константина Сергеевича удѣлить вѣсколько часовъ времени для выслушанія одной рукописи; а къ ней онъ относился и самъ съ живымъ участіемъ. Онъ назначилъ мнѣ быть на другой-же день. Чтеніе началось съ ранняго утра и продолжалось часу до четвертаго. Предъ самымъ началомъ, Константина Сергеевичъ оговорилъ въ домѣ, что онъ будетъ занять и желающихъ видѣть собственно его не принимать никого. Скоро раздался звонокъ, человѣкъ вошелъ въ комнату и назвалъ фамилію пріѣхавшаго. «Сказать, что я занять и принять не могу», отвѣчалъ Константина Сергеевичъ. Въ самомъ непродолжительномъ времени послѣдовалъ другой звонокъ, потомъ третій. Человѣкъ по прежнему входилъ съ докладомъ. «Занять и принять не могу», попрежнему отвѣчалъ Константина Сергеевичъ. Не помню послѣ котораго звонка и доклада, я, наконецъ, не выдержалъ и спросилъ: почему бы не сказать въ такихъ случаяхъ общепринятоаго дома нѣтъ?» «Очень жаль, что это общепринято», съ живостью возразилъ Константина Сергеевичъ, «но ни въ малыхъ, ни въ большихъ дѣлахъ лгать не вижу надобности. Неужели не проще сказать: не могу принять, чѣмъ нѣтъ дома? Тѣмъ болѣе, что, еслибы кому нибудь встрѣтилась теперь дѣйствительная необходимость меня видѣть, мнѣ было-бы даже совѣтно лишить его этой возможности, да еще и солгавъ предъ нимъ. Но вотъ, вы сами видите, нась никто и не беспокоить. Мнѣ кажется даже, что, привыкнуть къ моему обычаю, то-есть къ тому, что я не отказываю фразой дома нѣтъ, сами посѣтители тяготятся теперь настаивать на непремѣнномъ свиданіи, а это бываетъ при живомъ отвѣтѣ нѣтъ дома». Было и еще вѣсколько звонковъ. Послѣ одного изъ нихъ человѣкъ доложилъ фамилію одного изъ профессоровъ московскаго университета, оговоривъ, что просить непремѣнно принять хоть минуты на дѣлѣ. Константина Сергеевичъ, извинившись за перерывъ чтенія, вышелъ къ тому посѣтителю, и даже менѣе чѣмъ чрезъ двѣ минуты возвратился назадъ. «Вотъ видите-ли!“ сказалъ онъ сіяющій „мы и опять свободны продолжать чтеніе; такой маленький перерывъ почти и не помѣшилъ наимъ. А я радъ, что не отказалъ въ приемѣ: профессоръ хлопочеть оъ одномъ бѣдномъ студентѣ, дѣло идетъ объ его опредѣленіи, а оно и вовсе не состоялось-бы, еслибы я не далъ себѣ видѣть.

теперь-же дѣло кончено, и молодой человѣкъ устроенъ. И, повѣрьте мнѣ, люди чутки къ правдѣ болѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Откажи я ему подъ предлогомъ, что меня дома нѣть и потому выйди къ нему по усиленной просьбѣ, онъ продержалъ-бы меня гораздо долѣе, чѣмъ теперь, когда ему сразу сказали, что я дома, но занятъ“.

Столь-же велико было прямодушіе К. Аксакова и въ тѣхъ случаихъ, когда оно шло прямо въ разрѣзъ съ его личными выгодами.

„Мнѣ припоминается“ сообщаетъ г. Бицынъ „рассказъ очевидца о диспутѣ Константина Сергеевича при его магистерской диссертациі (Ломоносовъ). Это рассказъ Ф. М. Д—ва, который въ шестидесятыхъ годахъ и самъ занималъ каѳедру въ московскомъ университѣтѣ, а тогда лишь готовился къ тому и быть ваканцемъ своей собственной магистерской диссертациі¹⁾. На всѣ возраженія — рассказывалъ этотъ очевидецъ — Константинъ Сергеевичъ отвѣчалъ живо и ничего не уступалъ изъ собственныхъ тезисовъ. Но послѣ одного сдѣланнаго ему замѣчанія, магистрантъ вдругъ воскликнулъ: „ахъ, какое дѣльное возвраженіе!“ и это съ такой дѣтской искренностью и съ такимъ невольнымъ движеніемъ руки, поднесенной къ волосамъ, что вся аудиторія разразилась смѣхомъ. Ясно было, что не личное самолюбіе, а самый предметъ спора занималъ диспутанта.

Въ связи съ этою душевною чистою находилось и тѣлесное цѣломудріе К. Аксакова, о которомъ г. Бицынъ сообщаетъ слѣдующія любопытныя подробности:

„Гоголь въ одномъ изъ своихъ писемъ, теперь уже напечатанномъ въ полномъ изданіи его сочиненій, допустилъ такое выраженіе о Константинѣ Сергеевичѣ: «Этотъ человѣкъ боленъ избыткомъ силъ физическихъ и нравственныхъ, тѣ и другія въ немъ накаплялись, не имѣя проходовъ извергаться. И въ физическомъ и въ нравственномъ отношеніи онъ остался дѣственникъ. Какъ въ физическомъ, если человѣкъ достигнувъ тридцати лѣтъ не женился, то дѣлается боленъ, такъ и въ нравственномъ для него даже было-бы лучше, еслибъ онъ въ молодости своей.... (многоточіе въ печатномъ подлиннику). Но воздержаніе во всѣхъ разсѣяніяхъ жизни и плоти устремило всѣ силы у него къ духу. Онъ долженъ неминуемо сдѣлаться фанатикомъ». Гоголь умеръ задолго до возмужанія и кончины Константина Сергеевича. Нѣтъ-ли здѣсь, въ приведенныхъ словахъ, немножко того что зовутъ съ больной головы на здоровую? При усердіи не по разуму и при веригахъ не по силамъ, дѣйствительно, происходить, болѣзненные пароксизмы духа и тѣла. Это тѣ нервноболѣзненные przypadки, въ которыхъ менѣе всего обличается духъ собственно такъ называемый. Эти пароксизмы составляютъ лишь законное возмездіе и своего рода казнь именно за извращеніе свободнаго духа: ибо, во всѣхъ явленіяхъ такого рода, собственно говоря, плоть прикидывается духомъ. Самъ Гоголь, какъ известно на послѣдовъ, дѣйствительно, «воздерживался отъ всѣхъ разсѣяній жизни и плоти, и отъ этого всѣ у него силы устремились.... только не къ духу, къ сожалѣнію, а именно къ фанатизму. Свобода духа и фанатизмъ двѣ вещи несовмѣстныя. Какъ нельзя сознательнѣе и свободнѣе относиться Константинъ Сергеевичъ даже къ своему дѣственному состоянію, о чѣмъ говорится въ этомъ печатномъ письмѣ Гоголя. Были другіе комментаторы этого состоянія Константина Сергеевича; они прямо

¹⁾ Рѣчь, очевидно, идетъ о недавнемъ попечителѣ петербургскаго учебнаго округа — Ф. М. Дмитревѣ.

считали его какимъ-то платоническимъ идеалистомъ: сама ужъ природа у него такая, это его физиологическая черта, не больше. На этотъ счетъ и тѣ, и другие не правы. Это не было фанатизмомъ съ его стороны ни въ основѣ, ни въ послѣдствіяхъ, какъ могли-бы заключить иные изъ письма Гоголя: это не было и отсутствіемъ подвига, какъ легкомысленно объясняли другіе. Я посыпалъ ему прямо это высказать какъ то разъ во время нашей бесѣды. «Говорять», сказалъ я, «что въ самомъ организмѣ человѣка заключаются иногда условія для дѣятельного состоянія его; иной человѣкъ таковъ ужъ отъ природы, въ томъ нѣтъ и заслуги съ его стороны. Что вы скажите объ этомъ относительно васъ самихъ? — Зачѣмъ такъ думать? — возразилъ онъ съ живостью. „Даромъ человѣку ничто не дается, достиженіе чего составляетъ нравственный подвигъ. Это подвигъ воли, и очень тяжелый“. И столько же скромно, сколько гордо, онъ прибавилъ: „я скажу, по крайней мѣрѣ, о себѣ; нѣтъ, мнѣ это не даромъ далось“. Послѣднее было имъ выговорено съ большимъ усиліемъ.

При такомъ удивительномъ преобладаніи въ Константина Аксаковѣ духовной натуры надъ физической, намъ станетъ понятной поразительная смерть этого человѣка, не въ переносномъ, а въ буквальномъ смыслѣ умершаго отъ тоски. Смерть поистинѣ поразительная, если припомнить, что Конст. Аксаковъ былъ атлетъ въ полномъ смыслѣ слова. «Злѣйшая чахотка и сухотка, безъ всякихъ физическихъ поводовъ къ тому, единственно отъ нравственного недуга!» воскликаетъ г. Бицынъ. «И это въ Константина Сергеевича, чья крѣпость вошла въ пословицу и которою самъ Оверъ (московская медицинская знаменитость 50-хъ годовъ) за его желѣзное здоровье звалъ печенѣгомъ». Умиравшій Сергій Тимофеевичъ предчувствовалъ, что столь дорогой его сердцу первенецъ скоро послѣдуетъ за нимъ въ могилу. «Бѣдный Константинъ!» говорилъ онъ. «Боюсь за него; онъ не перенесеть». На возможныя успокоенія со стороны собесѣдника, онъ возражалъ однимъ и тѣмъ-же: «нѣтъ! все это было-бы возможно при другомъ воспитаніи Константина; а онъ воспитанъ не такъ».

Предчувствія старика оправдались. 30-го Апрѣля 1859 г. умеръ Сергій Тимофеевичъ, а уже въ срединѣ мая г. Бицынъ, западши въ редакцію «Русской Бесѣды»

услыхалъ мало утѣшительнаго. Константинъ Сергеевичъ былъ безнадеженъ; не только свои, и чужие боялись за него. Его укоряли, что онъ не бережетъ себя, еще прімо и въ томъ, что онъ какъ-бы намѣренъ убивать себя. Къ этому прибавляли, что онъ страшно измѣнился. Хорошо предупрежденный на этотъ счетъ, я готовился быть особенно осторожнымъ при встрѣчѣ съ нимъ. Переѣждавъ только улицу, ужъ я бытъ на Кисловѣ, а сѣдавъ еще шаговъ тридцать къ знакомому дому, ужъ видѣлъ палисадникъ за перилами, большиe ворота, и изъ воротъ, въ противоположную отъ меня сторону, медленными шагами удалявшуюся фигуру. Я нагналъ вслѣдъ, медленно отходившій отъ меня обернулся. Можно-ли было узнатъ прежняго, бодрого душевно и тѣлесно Константина Сергеевича! Мало сказать: онъ страшно измѣнился въ лицѣ! нѣтъ, а отъ общей исхудалости было еще что-то удлиненное и утоненное во всей фигурѣ. Пепельность бороды и усовъ,

вдругъ взявшаяся просѣдь, вмѣсто прежнаго ихъ цвѣта; съ ногъ до головы чрезвычайная угрюмость во всемъ видѣ; неподвижный, какой-то внутрь самого себя обрѣщенный, самоуглубленный взоръ и тихость, жуткая тихость,—поразили меня.

— Я иду въ церковь; сказалъ онъ; какъ служба отойдетъ—вернусь. Вы меня застанете дома, я жду васъ.

— Но, Константина Сергеевичъ, поберегите себя! вырвалось у меня совершенно невольно.

Туть-же, стоя на улицѣ, онъ отвѣчалъ очень серьезно но тихимъ и задумчивымъ голосомъ, а не какъ бывало: «Да, меня упрекаютъ. На меня даже взводятъ обвиненіе, что я не удерживаюсь отъ горя, даю ему волю и намѣренно разстраиваютъ себя. Не вѣрьте этому. А я просто не могу».

«Кто расчитывалъ на время» говорить въ другомъ мѣстѣ г. Бицынъ „надѣясь еще, что само время измѣнить—тотъ ошибся вдвойнѣ. „Время тутъ ничему не поможетъ, повѣрьте“ говорить онъ мнѣ еще тогда въ Москвѣ, и онъ былъ правъ. Въ горести, давившей все его существо, не было ничего эффицированного съ самаго начала; ничего такого, что было бы связано, какъ самъ онъ говорилъ съ первымъ растройствомъ; а лишь въ такихъ случаяхъ и помогаетъ время. Это была, напротивъ того, скорбь усиливавшаяся съ каждымъ днемъ, потому что каждый новый день приносилъ и большое разувѣреніе въ возможности будущаго и настоящаго безъ прошлаго.

Ярче всего настроение Константина Сергеевича сказалось въ одномъ изъ писемъ къ г. Бицыну, удивительно симпатично обрисовывающемъ душевную глубину этого высоко-идеального человѣка, сотканаго изъ однихъ чистыхъ помысловъ и возвышенныхъ порывовъ.

«Вы приглашаете меня къ вамъ въ деревню, братъ показалъ мнѣ письмо ваше. Приглашеніе ваше такъ искренно, въ немъ сказалось такое дружеское движение, что мнѣ захотѣлось непремѣнно написать вамъ и вотъ я пишу. Я всегда очень много цѣнилъ въ жизни привѣтъ и всегда съ такою радостью на него отзывался; но привѣтъ вовсе не такъ часто встречается въ жизни, какъ, можетъ быть, думаютъ. Въ вашихъ словахъ мнѣ послышался именно этотъ привѣтъ, который такъ рѣдокъ. Еслибы это приглашеніе ваше сдѣлано было бы при батюшкѣ.... тогда я не проѣздомъ къ Хомякову, а нарочно-бы къ вамъ поѣхалъ. Но, теперь любезнѣйш... все кончилось. Ни удовольствіе, ни радость жизни для меня существовать не могутъ. Однимъ словомъ, жизнь кончилась — жизнь какъ моя. Я здѣсь еще, подъ условіями этой жизни; но это не моя жизнь. Все доброе, все хорошее въ другихъ — я чувствую; отзываюсь на это, какъ и на ваше приглашеніе, и только. Еслибы вы предлагали мнѣ какое-нибудь удовольствіе, мнѣ бы было приятно видѣть ваше желаніе, а отъ самого удовольствія я бы отказался потому что его неѣтъ для меня. Такъ и теперь вы все сдѣлали, пригласивъ меня, и дали мнѣ, все, что я могу теперь принять. Прежде для меня было бы истиннымъ удовольствіемъ повидаться съ вами у васъ.... взглянуть на юную семью въ обстановкѣ природы со всей ея непостижимой красотою, которую батюшка передаетъ въ своихъ сочиненіяхъ такъ неподражаемо. Но этого прекраснаго удовольствія для меня теперь быть не можетъ. Это все кончилось. Вы знали Константина Сергеевича, который удить, курить, съ восхищеніемъ радуется жизни и природѣ въ каждомъ ея проявленіи, будь это зима или лѣто, будь это палиющее солнце или дождь, промачивающей на сквозь, Константина Сергеевича, который любить слышать въ себѣ силы именно тогда, когда неудобство, стужа или что нибудь подоб-

ное ихъ вызываетъ; который въ восхищениі и крѣпнетъ на тѣлѣ, прыгающей по камнямъ, или подъ дождемъ, его всего обливающимъ, — Константина Сергеевича, который 28 верстъ проходитъ не присаживаясь, вышиваетъ сливокъ, потомъ квасу и отправляется еще, взваливъ на себя огромныи удилы — удить. Теперешній Константинъ Сергеевичъ не удить, не курить, омотритъ и не видеть природы или болѣзникоо ее чувствуетъ и даже отварачивается отъ нее; чѣженкой онъ не сдѣлается, слабымъ тоже; но не слышитъ въ себѣ этого пріятнаго ощущенія силъ, не ищетъ чего-нибудь по неудобѣ и нотажелѣ; ему все равно, карета-ли или любимая прежде тѣлѣга, въ которой онъ прежде даже и стихи писалъ. Да, все для меня кончилось, жизнь моя кончилась; жизнибы была хороша и исполнена прекрасныхъ радостей; и вотъ я помянулъ себя въ письмѣ къ вамъ. Благодарю же васъ.... за все радушіе, какое я видѣть-бы у васъ. Обнимаю васъ крѣпко..... Я занимаюсь довольно; это я считаю своимъ долгомъ, который я долженъ выплатить. Постараюсь сдѣлать все, что могу, на что имѣю способности, и такимъ образомъ расплатится съ долгами. Я точно собираюсь перѣѣхать и укладываюсь. Прощайте.... Вашъ Константина Аксаковъ[“] Былъ и post-scriptum: время дѣйствуетъ на меня совершенно наоборотъ противъ того, какъ полагаютъ.

Письмо это относится къ Августу 1859 г. Всю зиму затѣмъ К. С. чахнуль; весной и лѣтомъ заболѣлъ такъ, что его отправили заграницу; въ томъ-же 1860-мъ году онъ и скончался 7-го Декабря, вдали отъ родины, въ Греческомъ архипелагѣ, на островѣ Занѣ. Заграницею первоклассный знаменитости, иноземные врачи дивились чахоткѣ и сухоткѣ этого богатыря, умиравшаго съ тоски по своемъ отцѣ; собственно, вся и болѣзнь была въ этомъ. Доктора не давали лѣкарствъ, не прописывали рецептovъ, совѣтовали только развлекать его. Тогда Италия шумѣла именемъ Гарибальди; въ ней пробуждалось народное движение, не совѣтовали пускать туда, а указывали на какія-нибудь „увеселительныи воды“ или даже на Парижъ, совѣтуя возить на разныи гулянья, а если въ театръ, то исключительно въ водевили, но жить такимъ образомъ для Константина Сергеевича значило: не жить. Онъ ужъ умиралъ; послѣднія остававшияся средства, хоть для продленія послѣдніхъ дней, медики свели на «теплый морской климатъ»; и вотъ онъ попалъ на островъ Занте. Когда пароходъ везъ его къ этому послѣднему пристанищу, онъ съ болѣзникоо грустью глядѣлъ въ волны и говорилъ своему неизмѣнному спутнику, сопровождавшему его брату, Ивану Сергеевичу Аксакову: „неужели, однако, ужъ и конечно? Какъ ни ожидалъ я, но чтобы такъ ужъ скоро, кто бы думалъ?“

На пустынномъ островѣ не было русскаго православнаго священника для исповѣди больного; нашелся грекъ, едва говорившій по французски. У этого-то грека и исповѣдывался умирающій на своемъ не любимомъ языкѣ. Что за судьба? И, словно, еще не иронія-ли съ ея стороны? Никакой ироніи тутъ нѣть, хотя и знаменательно оно. Свободная вѣра Константина Сергеевича не знала ничего условнаго, и всякий фетишизмъ былъ ей чуждъ. Кто не понималъ и не понимаѣтъ, что можно снимать шапку въ Спасскихъ воротахъ и креститься на золотыи маковки Кремля и въ тоже время не быть фетишистомъ,—тогъ не понимай.

Грекъ, призванный къ умирающему и спѣшившій попросту справить требу, былъ изумленъ исповѣдью, причашеніемъ и кончиной столь необыкновенного человѣка. Самымъ простодушнѣмъ образомъ выражалъ онъ свое удивленіе и недоумѣніе; онъ просилъ: нельзя-ли ему повидать всѣхъ близкихъ этого человѣка и, главное, мать покойнаго? Ему хотѣлось ей передать—и если не придется лично, грекъ просилъ ей передать отъ него—праведникъ скончался; еще не видывалъ исповѣд-

ничъ примѣровъ такой вѣры на землѣ. Онъ не прекращалъ своихъ разспросовъ: да кто-же это былъ? кто это умеръ передъ нимъ?

Ему отвѣчали что это былъ Константина Сергеевича Аксаковъ. И что-же можно было сказать больше этого?

И если этотъ праведникъ произвелъ такое глубокое впечатлѣніе на необразованнаго, захолустнаго попа-грека, то удивительно-ли, что огромно было обаяніе, которое онъ производилъ на людей жившихъ приблизительно такими-же, какъ и онъ самъ нравственными стремленіями.

„Теперь прошло не мало времени со смерти Константина Сергеевича“ говорить г. Бицынъ „а, встрѣчаясь съ его знакомыми, приходится отъ нихъ слышать и до сихъ поръ: „неправда-ли, всякий разъ какъ приходилось быть съ Константиномъ Сергеевичемъ, послѣ того приходилось и самого себя чувствовать какъ то чисто; какъ то нравственное дѣялся съ нимъ, и нравственность чувствовалъ болѣе обязательную для себя“.

Переходя къ обзору литературной дѣятельности К. Аксакова, дадимъ, прежде всего, перечень написаннаго имъ. Не малъ этотъ перечень и трудно сказать, чтобы онъ страдалъ однообразiemъ.

1. Отдельныя изслѣдованія историко-филологическаго характера 1) «Ломоносовъ въ исторіи русской литературы и русская языка». М. 1846 2) «О русскихъ началахъ». М. 1855. 3) «Замѣчанія о псковской радиной записи XIII вѣка». Спб. 1853. (Оттискъ изъ I тома «Извѣстій Археолог. Общ.») 4) «Опытъ русской грамматики», вып. I. М. 1860. 5) «Замѣчанія на новое административное устройство крестьянъ въ Россіи». Лейпцигъ. 1861. 6) Сочиненія т. I, II и III. Изданы въ Москвѣ Иваномъ Аксаковскимъ съ большими промежутками: I—въ 1861 г. II—въ 1875, III—въ 1880. I т. заключаетъ въ себѣ „сочиненія историческія“, именно рядъ статей по русской исторіи, которая считаемъ особенно нужнымъ поименовать, въ виду того, что большинство ихъ на печатаніе не было и извлечено издателемъ изъ черновыхъ бумагъ брата: а) «Объ основныхъ началахъ русской исторіи». б) «О томъ-же». с) «О русской исторіи». д) «Родовое или общественное явленіе было изюмъ». е) „По поводу I тома Исторіи Россіи і. Соловьевъ“. ф) «О древнемъ бытѣ славянъ вообще и русскихъ въ особенности». г) «По поводу VI тома Исторіи Россіи і. Соловьевъ». х) «Замѣчанія на статью і. Соловьевъ». „Шлецеръ и антиисторическое направление“. і) «По поводу той-же статьи і. Соловьевъ». к) «По поводу VII тома Исторіи Россіи і. Соловьевъ». л) «По поводу VIII тома Исторіи Россіи і. Соловьевъ». м) «Браткій исторический очеркъ Земскихъ Соборовъ». н) «О древнемъ бытѣ славянъ вообще и русскихъ въ особенности, на основаніи обычаевъ, преданій и пѣсень». о) «Замѣчанія на статью Шепинія: Купала и Коллода». р) «О богатыряхъ временъ Владимира по русскимъ пѣснямъ». ю) «О различіи между сказками и пѣснями русскими». г) «Замѣтки о значеніи Ильи Муромца». в) «О состояніи крестьянъ въ древней Россіи». т) «По поводу Бѣлгской Византии, изданной Н. А. Елагинымъ». и) «Замѣчанія на титописи Нестора по Лаврентьевскому списку». в) «Замѣчанія на акты Археографической Экспедиціи». ѿ) «Русская Исторія для дѣтей». ѹ) «Семисотлетіе Москви». ѿ) „Замѣчанія

нія о псковской рядной записи XIII вѣка". з) «Варіантъ къ статьи по поводу VI т. Исторіи Россіи і. Соловьевъ». з') „Начало Русской Исторіи, разсказъ для дѣтей" (писано для племянницы) з") „Разныя отдельныя замѣтки. II и III томы посвящены „сочиненіямъ филологическимъ" и заключаютъ въ себѣ: а) „О грамматикѣ вообще, по поводу грамматики і. Бѣлинскаю" (Вискаріона). б) „Ломоносовъ въ исторіи русской литературы и русскаго языка". с) „Нѣсколько словъ о нашемъ правописаніи". д) „О русскихъ маюлахъ". е) „Критический разборъ „Опыта исторической грамматики русскаго языка" ю. И. Буслаева". ф) „Замѣтка къ предыдущему". г) „Письмо къ Н. А. Безсонову".

III томъ посвященъ „Опыту русской грамматики", вторая часть которой вѣдь съявляется въ первый разъ въ печати. „Полное Собрание" осталось незаконченнымъ и вотъ какъ въ 1875 г. объяснялъ издатель причину этого въ предисловіи ко II тому:

«Въ предисловіи къ I тому полнаго собрания сочиненій К. С. Аксакова, содержащему въ себѣ его сочиненія историческія, былъ изложенъ и самый планъ изданія, согласно съ которымъ II и III томы предназначались для статей по разнымъ политическимъ, общественнымъ и литературнымъ вопросамъ, также для стихотвореній и драматическихъ пьес; труды же по русской филологии должны были войти въ составъ IV и V тома. Разныя обстоятельства заставили измѣнить этотъ порядокъ и предпослать филологію публицистикѣ и поэзіи. При существующихъ у насъ цензурныхъ условіяхъ, полное изданіе сочиненій Константина Сергеевича, по отдѣлу публицистики и художественному, еще невозможно поведа— безъ тѣхъ урѣзокъ и передѣлокъ „рукою властною", которыхъ мы, конечно, съ своей стороны допустить не желаемъ, да и имѣемъ на это и права. Напротивъ того, не говоря уже о произведеніяхъ, еще ни разу въ печати не появлявшихся, мы даже и тѣ статьи, которые уже были напечатаны при жизни самого автора, пытаемъ умысель издать въ ихъ настоящемъ видѣ, какъ онѣ были написаны и сохранились въ рукописи, безъ вставокъ и присоединеній, цензурою вынужденныхъ. Время для этого еще не настало, но филология, къ счастію, обрѣтается въ Россіи уже и теперь въ болѣе выгодномъ положеніи».

II. Критика (кромѣ статей вошедшихъ въ Полное Собрание): 1) „Нѣсколько словъ о поэзіи Гоюла: Похождениія Чичикова или Мертваго души". М. 1842. 2) „О сборнике ір. Соловьева «Вчера и Сегоднѧ». 3) О книгѣ пр. Никитенко „Опытъ исторіи рус. лит.". 4) „О Петербургскомъ Сборнику" Некрасова. Эти 3 статьи появились за подписью Имрея въ „Московск. литер. и ученоиъ сборникѣ" 1846 г. 5) „Обзоръ современной литературы" въ „Рус. Бесѣдѣ" 1857 кн. I. 6) „О поэзіи і. Кохановской „Посѣтъ обѣда въ юстахъ". Ibid. 1858 кн. 4 7) О переводѣ Кронеберга антиописи Тацита. Ibid. 8) О „Сочиненіяхъ Жуковскаго" („Молва" 1857 г. № 11, 14). 9) Мелкія критические статейки, разбросанные по тѣмъ журнальамъ, въ которыхъ сотрудничалъ К. Аксаковъ. Отмѣтимъ изъ нихъ отвѣтъ Бѣлинскому на разборъ брошюры А. о „Мертвыхъ душахъ" въ „Москвитѣ" 1842. № 9.

III. Произведенія разнаго рода: 1) „О русскомъ воззрѣніи" въ „Рус. Бесѣдѣ" 1856 кн. I и II. 2) „По поводу статьи В. Ламанского „О распространеніи знаній въ Россіи", („Молва" 1857 № 10). 3) „Замѣчанія на статью Даля о народной грамотности Ibid. № 35) 4) Рядъ передовыхъ статей въ ежеднев. газетѣ „Молва" 1857 г. 5) „Студенческія воспоминанія" („День" 1862. № 39—40). 6) „О современномъ человѣкѣ", въ „Братской помощи" 1876 г. и „Руси" 1883. № 8, 12, 13. 7) Записка представлена Императору Александру II въ 1855 г. („Русь" 1881 г. № 26—28) 8) Письмо къ Хомякову (1857 г.) въ „Руси" 1883. № 3. 9) Письмо къ кн. В. А. Черкасскому

отъ 1859 г. въ «Руси» 1883 г. № 32, 10) Замѣчанія на доклады редакціонныхъ комиссій. («Русь» 1883 г. № 3, 5). 11) «О современномъ литературномъ спорѣ» (писано въ 1847) въ «Руси» 1883. № 7. 12) Приложнія на народную поэзію о бражникахъ въ «Рус. Бес.». 1859. кн. VI. 13) Мелкія замѣтки въ журналахъ, въ которыхъ принималъ участіе К. Аксаковъ.

IV. Драматическія произведения: 1) «Освобожденіе Москвы въ 1612 году», въ 5 дѣйствіяхъ. М. 1848. 2) «Князь Лупогоній», комедія. М. 1856. Приложеніе къ «Рус. Бесѣдѣ») Лейпцигъ 1857. Писана въ 1851. 3) «Олеа подъ Константино-полемъ», драматическая комедія съ эпилогомъ въ 3 д. въ стихахъ. Спб. 1858. Писана въ началѣ 30-хъ годовъ.

V. Стихотворенія оригинальныя и переводныя разбросаны по «Телескопу», «Моск. Наблюдателю», «Моск. Сборникамъ», «Рус. Бесѣдѣ», «Молвѣ», «Дню», «Руси», «Рус. Архиву».

Какъ уже было сказано разъ, раньше другихъ родовъ творчества К. Аксаковъ проявилъ свои литературные способности на по-прищѣ стихотворства. Писаніе стиховъ было наследственно въ родѣ Аксаковыхъ и всѣ три представителя его оставили послѣ себя обильное поэтическое наследство. «Поэтическое» въ формальномъ, впрочемъ, значеніи этого слова, потому что сколько-нибудь видное художественное значеніе имѣютъ только стихи Ивана Сергеевича. Стихи Сергея Тимофеевича, какъ мы въ свое время показали, были весьма посредственны. Было-бы большою несправедливостью примѣнять послѣдний эпитетъ къ стихамъ Константина Сергеевича, которые по полету мысли несравненно выше и не лишены интереса съ «гражданской» точки зрѣнія, но несомнѣнно, однакоже, что рассматриваемые съ чисто-литературной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія проявленного въ нихъ таланта, они не высоко стоятъ. Враждебная идея 60-хъ годовъ критика любила и любить подчеркивать, что такъ называемая «гражданская поэзія», отодвигающая на второй планъ непосредственно-художественные цѣли, введена въ русскую литературу Некрасовымъ и прогрессивною критикою Добролюбова, Писарева и др. Утверждение это, однакоже, только на половину вѣрно. Если мы присмотримся къ славянофильской поэзіи, мы не преминемъ убѣдиться, что даже въ лицѣ наиболѣе даровитыхъ представителей своихъ, каковыми мы считаемъ Хомякова и Ивана Аксакова, она задолго до движенія 60-хъ годовъ рѣшительно отвергла завѣтъ Пушкина быть поэзію «звуковъ сладкихъ и молитвъ». «Житейскія волненія» и «битвы» всегда были ея главною задачею. Обращаясь въ частности къ поэзіи Константина Аксакова, намъ достаточно будетъ бросить самый бѣглый взглядъ на многочисленныя стихотворенія его, чтобы сразу увидѣть исключительно служебное, публицистическое ихъ назначеніе. Стихи для К. Аксакова были однимъ изъ средствъ проводить свои любимыя идеи. Тѣ же темы, которыя составляютъ предметъ его

историческихъ, филологическихъ и публицистическихъ работъ, легли въ основание наиболѣе прочувственныхъ изъ стихотвореній его. К. Аксаковъ писалъ стихи не порывами, какъ братъ его Иванъ, а въ теченіи всей своей жизни и все, что только волновало его какъ публициста и историка, все это онъ выливалъ въ риѳмованныя строки. Но именно только въ риѳмованныя строки. Если про «гражданскіе мотивы» 60-хъ годовъ принято говорить, что они представляютъ собою передовыя статьи въ стихахъ, то тѣмъ болѣе приумножимо это опредѣленіе къ стихотвореніямъ К. Аксакова. Прочитавъ всѣ тѣ изъ нихъ, которыя были напечатаны¹⁾), мы не нашли между ними ни одного, которое имѣло бы цѣли непосредственно-художественные. Все это или призываѣтъ «домой»—въ допетровскую Русь, или сътвоянія на «оторванность» интеллигентіи отъ народа или, наконецъ, отдѣльные пункты программы желательной государственной жизни Россіи. Но, конечно, не самое содержаніе, только что отмѣченное, дѣлаетъ стихотворенія К. Аксакова мало поэтичными. Не въ томъ-же, въ самомъ дѣлѣ, состоять истинная поэзія, чтобы воспѣвать исключительно «красу ночей и ласки милой». Нѣтъ, если мы называемъ стихи К. Аксакова мало-поэтичными, то не за общественно-политическое содержаніе ихъ, а за мало-поэтичную обработку этого содержанія. Поэзія только тогда поэзія, если она говорить не только уму, но и воображенію, если она доказываетъ и объясняетъ свои тезисы не словами, а образами и картинами. И вотъ именно образовъ-то и картинъ, мы и не находимъ въ стихотвореніяхъ К. Аксакова. Чтобы не быть голословными, возьмемъ нѣсколько стихотвореній, которые въ ряду поэтическихъ произведеній Константина Сергеевича могутъ быть названы наиболѣе сильными и наиболѣе отражающими его стихотворную манеру. Вотъ напр., напечатанное въ «Дѣлѣ» 1862 г. стихотвореніе «Возвратъ» съ призывомъ «домой», тѣмъ призы вомъ который надѣлалъ такъ много шума въ началѣ 80-хъ годовъ и неправильно приписывался Ивану Сергеевичу, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ онъ принадлежитъ Конст. Сергеевичу и сдѣланъ имъ еще въ 1843 году.

Прошли года тяжелые разлуки
Отсутствія исполненья долгой срокъ,
Прельщенія, сомнѣнія и муки
Испытаны,—и взять благой урокъ!
Оторваны могущество рукою,
Мы бросили отечество свое,

¹⁾ Большое количество стихотвореній К. Аксакова остается еще, повидимому, до сихъ поръ въ рукопаси.

Умчались вдаль, погнались чужой землею,
 Земли родной презрѣши бытіе.
 Преступно мы обѣней позабывали
 И голосъ къ намъ ея не доходилъ;
 Лишь иногда мы смутно тосковали:
 Насъ жизни ходъ насильственный давилъ!
 Предателей, измѣнниковъ не мало
 Межъ нами, въ долгомъ странствіи нашлось:
 Въ чужой землѣ ничто ихъ не смущало,
 Сухой душѣ тамъ весело жилось!
 Слетѣлъ туманъ! предъ нашими очами
 Явилась Русь!... Родной ея призывъ
 Звучитъ опять, и нашими сердцами
 Вновь овладѣлъ живительный порывъ.
 Конецъ, конецъ томительной разлуки!
 Отсутствію настала желанный срокъ.
 Знакомые тѣснятся въ душу звуки
 И взоръ вперенъ съ любовью на Востокъ.
Пора дома! И пѣсни повторяя
 Старинныя, мы весело идемъ.
 Пора домой! Насъ ждетъ земля родная,
 Великая въ страданіи иѣмомъ!
 Презрѣніемъ отягчена жестокимъ,
 Народнаго столица торжества,
 Опять полна значеніемъ глубокимъ
 Является великая Москва.
 Постыдное, безчестное презрѣніе
 Скорѣе въ прахъ! Свободно сердце вновь,
 И грудь полна тревоги и смятенья,
 И душу всю наполнила любовь!
 Друзья, друзья! Тѣснѣ въ кругъ сомнѣмся,
 Покорные движенью своему,
 И радостно и крѣпко обоймемся,
 Любя одно, стремясь къ одному!
 Землѣ родной—все, что намъ Небо дало
 Мы посвятимъ! Пускай заблещетъ мечъ,
 И за нее, какъ въ старину бывало,
 Мы радостно готовы стать и лечь.
 Друзья, друзья! Грядущее обильно,
 Надежды сладкой вѣруйте словамъ,
 И жизнь сама, нась движущая сильно,
 Поруково за будущее намъ!...
 Смотрите—мракъ ужъ робко убѣгаestъ,
 На западѣ земли лишь онъ ростетъ:
 Востокъ горитъ, день не далекъ, свѣтаетъ,
 И скоро солнце красное взойдетъ!

А вотъ другое стихотвореніе (*«Гуманистъ»* въ *«Днѣ»* 1862 г. № 8) иллюстрирующее одну изъ наиболѣе завѣтныхъ мыслей К. Аксакова:

кова — о необходимости тѣсной связи съ народомъ, съ «землею». Поэтъ обращается къ гуманисту съ слѣдующими рѣчами укоризны.

Ты эгоистъ, хотя бы наслажденья
Высокія испытывалъ твой духъ;
Ты эгоистъ, хотя бы другихъ мучены
Болѣзнями тревожили твой слухъ;
Хотабъ тебѣ высокое искусство
Открыло свѣтъ таинственный во мгѣ,
Хотабъ въ тебѣ горѣло свято чувство
Къ прекрасному, благому на землѣ;
Хотабъ своей любовью широкой
Ты всѣхъ людей и цѣлый міръ объялъ,
Хотабъ ты плакалъ и страдалъ жестоко
И радостью прекрасною сіялъ....
Но ты сидишь съ простертymi руками,
Съ возвышеннымъ мечтаньемъ на челе,
Съ блестящими и влажными глазами,
Уединенъ далеко на скалѣ:
Передъ тобой толпа стремится тѣсно—
Ты полонъ къ ней участія и любви,
Ты для людей придумалъ міръ чудесный,
Огонь мечты горитъ въ твоей крови...
О нѣть, не такъ участіе прилично,
И правды нѣть въ волненіи думъ твоихъ:
Бѣды людей ты испытуешь лично,
И плачешь ты не съ ними, а объ нихъ!
Не понять ты великаго значенія
Въ одинъ потокъ соединенныхъ волнъ!
Могущества ихъ общаго стремленія
Не понять ты, своей тоскою полнъ!
Оставь же свой отдельный міръ страданья,
Гдѣ ты живешь-вдали людей любя!
Участія не нужны подаяныя,
Извѣтнаго не исключай себя.
Лишь откажись отъ личныхъ притязаній,
Живую связь поймешь ты въ мгѣ,—и вотъ
Съ своей судбою и моремъ колебаній,
Величественъ является народъ!
Скорбь общая и общая невзгода
Тебѣ твои страданья замѣнить,—
Сильнѣй всего великий гласъ народа,
Предъ нимъ твои всѣ вопли замолчатъ!
Пойми себя въ народѣ! Не сжимаетъ
Какъ океанъ, твоей свободы онъ:
Тебѣ онъ только място назначаетъ,
Ты общему въ немъ живо покоренъ.
А безъ того — ты эгоистъ безъ силы.
И жизнь твоя прекрасная пуста,

Страданья вялы и оружья гнилы,
Порывъ бесплоденъ и должна мечта.
Съ народомъ лишь взойдетъ свобода зрею,
Могущественъ народа только кликъ,
Принадлежитъ народу только дѣло,
И путь его державенъ и великъ!

И въ заключеніе приведемъ одно изъ самыхъ восторженныхъ произведеній К. Аксакова «Свободное слово» (*«Русь»* 1880 г. № 1), где въ поэтической формѣ проведена одна изъ наиболѣе близкихъ автору идей — мысль о необходимости свободы печати.

Ты чудо изъ божиихъ чудестъ,
Ты мысли свѣтильникъ и пламя,
Ты лучъ наимъ на землю съ небесъ,
Ты намъ человѣчества знамя.
Ты гонишь невѣжества ложь,
Ты вѣчно жизнью ново,
Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь,
Свободное слово.

Лишь духу власть духа дана,—
Въ животной-же силѣ нѣть прока:
Для истины — гибель она
Спасенье — для лжи и порока;
Браждуетъ-ли съ ложью — равно
Живить его жизнью новой...
Неправдѣ — опасно одно
Свободное слово!

Ограды властямъ никогда
Не зижди на рабствѣ народа!
Гдѣ рабство — тамъ бунтъ и бѣда;
Зашита отъ бунта — свобода.
Рабъ въ бунтѣ опаснѣй звѣрь,
На ножъ онъ мѣняетъ оковы...
Оружье свободныхъ людей
Свободное слово!

О слово, даръ Бога святой
Кто слово, даръ божескій, свяжетъ,
Тотъ путь человѣку иной,—
Путь рабства преступный укажетъ.
На козни, на вредную рѣчь
Въ тебѣ-жъ и пѣлевѣ готово,
О, духа единственный мечъ
Свободное слово!

Приведенные три стихотворения иллюстрируютъ самые дорогіе К. Аксакову пункты его общественного міросозерцанія. Казалось-бы, значитъ, что по такому поводу онъ долженъ быть развернуть весь имѣвшійся въ его творческой способности лирическій пафосъ. И между тѣмъ всякий, кто сколько-нибудь привыкъ разбираться въ поэтическихъ произведеніяхъ и различать въ нихъ настоящее поэтическое золото отъ мишурыныхъ блестокъ, всякий такой цѣнитель сразу, конечно, почувствуетъ въ приведенныхъ стихотвореніяхъ не только отсутствіе истинно-поэтическихъ образовъ и картинъ, но еще и риторической холода. Послѣднее особенно поразительно по отношению къ «Свободному слову». Подъ этимъ стихотвореніемъ имѣется дата «1853 годъ», т. е. тотъ годъ, когда разразилась надъ славяно-фильскимъ кружкомъ вообще и надъ Константиномъ Аксаковымъ въ частности разсказанная на предыдущихъ страницахъ цензурная гроза. Такимъ образомъ, стихотвореніе не только отражаетъ собою теоретическое убѣжденіе, но и писано подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ конкретнаго факта, несомнѣнно взволновавшаго автора до глубины души. И, если, тѣмъ не менѣе, все это вмѣстѣ взятое въ результатѣ дало только весьма слабое стихотвореніе, риторичное и по конструкціи и по выполненню, то нельзя тутъ не прийти къ тому заключенію, что поэтический даръ К. Аксакова былъ не крупнаго пошиба.

Кстати будетъ вообще замѣтить, что, по нашему, по крайней мѣрѣ, мнѣнію, у К. Аксакова не было того, что въ тѣсномъ смыслѣ этого слова принято называть литературнымъ талантомъ. Сынъ и братъ такихъ великихъ мастеровъ слова, какъ Сергѣй Тимофеевичъ и Иванъ Сергѣевичъ, Константинъ Аксаковъ самъ, однажде, всего менѣе можетъ быть названъ стилистомъ. Пушкинское опредѣленіе

Такъ онъ писалъ темно и вяло,

по неволѣ приходить на умъ, когда читаешь путанные и длинные тирады, которыми изобилуютъ даже самыя удачныя и выношенныя статьи рассматриваемаго нами теперь писателя. Человѣкъ незнакомый съ біографіею Константина Сергѣевича, не знающій что онъ былъ пламеннымъ, восторженнымъ энтузіастомъ, человѣкъ руководствующій только старой эстетической формулою — *le style c'est l'homme*, навѣрное составить себѣ самое превратное представление о Константинѣ Аксаковѣ, если по его сочиненіямъ захочеть возсоздать себѣ обликъ автора. У К. Аксакова былъ такъ величъ пафосъ мысли, что у него какъ-бы не осталось достаточно духовныхъ силъ для пафоса слова.

Чтобы покончить съ беллетристическими работами Константина Сергеевича, скажемъ нѣсколько словъ о драматическихъ произведеніяхъ его.

Какъ и стихотворенія К. Аксакова, его драмы имѣютъ цѣли не художественные, а дидактическія. Такъ, «Освобожденіе Москвы въ 1612 году» должно убѣдить читателя въ громадномъ историческомъ значеніи «земли», «Князь Луповицкій» есть сатира на оторванныхъ отъ той-же «земли» интеллигентовъ нашихъ, наконецъ «Олегъ подъ Константинополемъ» есть пародія на такъ называемое «скептическое» направление русской исторіографіи. Авторъ даже и попытокъ не дѣлаетъ создать настоящія драматическія произведенія и дать что нибудь, кромѣ драматизированныхъ историко-публицистическихъ тезисовъ. Въ наиболѣе серьезной по авторскимъ намѣреніямъ драмѣ Константина Сергеевича—«Освобожденіе Москвы», даже нѣтъ никакой интриги и все дѣйствіе вращается исключительно около явлений общественныхъ.

По формѣ и относительной легкости выполненія наибольшими художественными достоинствами изъ перечисленныхъ трехъ драматическихъ произведеній обладаетъ «Олегъ подъ Константинополемъ». Мотивы послужившіе къ написанію этой драматической шутки изложены авторомъ въ предисловіи:

«Въ тридцатыхъ годахъ русскую исторію преподавалъ въ московскомъ университѣтѣ М. Т. Каченовскій, имя которого навсегда останется въ лѣтописяхъ русской исторической науки. Студенты были увлечены скептическимъ его взглядомъ. Молодость любить критическое направленіе и охотно сомнѣвается. Повидимому это противорѣчить стремлению вѣрить, стремлению, которое составляетъ отличительную черту молодости, но здѣсь противорѣчіе только видимое, ибо самое сомнѣніе молодость часто принимаетъ на вѣру. Въ такомъ, очень нѣрѣдко одностороннемъ, влеченіи къ скептицизму лежитъ часто прекрасная основа: все испытать, все провѣрить своимъ умомъ, ничего не принимать безъ труда и ради авторитета.

Увлекаясь тогда, вѣдѣть съ другими, скептическими мнѣніями профессора я увидѣлъ потомъ ихъ ошибочность. Тогда, подъ вліяніемъ этого скептицизма, написалъ я, съ одобренія товарищѣй, эту пародію, въ которой преувеличили до крайности мнѣнія противниковъ, представивъ Олега государемъ эпохи развитой и просвѣщенной. Вѣдѣть съ тѣмъ это была пародія и на стихотворные идеализациіи исторіи въ появившихся тогда нѣкоторыхъ патріотическихъ драмахъ, и вообще на звучность стиховъ, иными принимаемыми еще и теперь за поэзію».

Общиі тонъ пародіи виденъ хотя-бы изъ разговора между Олегомъ и волхвомъ. Волхвъ приходитъ къ князю и въ ужасѣ разсказываетъ какой ему приснился странный и дивный сонъ

На сѣверѣ, между лѣсовъ дремучихъ,
Возникнетъ нѣкогда великий градъ,

Владыко царствъ, исполненъ силъ могучихъ,
 Правительственной мудростю богать.
 Воздвигнется въ немъ зданіе науки,
 Ему названья въ русскомъ словѣ вѣть.
 И въ этомъ зданыи нѣкогда ученыи
 Торжествено всѣ давныя твои
 Дѣла постыдныхъ омрачить сомнѣніемъ
 И, наконецъ, отвергнетъ вовсе ихъ.
 Онъ скажетъ и доводами докажетъ,
 Что не было, Олегъ, тебя совсѣмъ;
 Что это вымыселъ, ложное преданье;
 Что ты народа басня, что ты мифъ.

О л е гъ въ бѣшенствѣ и съ ужасомъ.
 Я мифъ?

В о л х въ.

Отчаяннѣе твое понятно.
 Погибнеть все, когда отвергнутъ даже
 Существованье самое твое.

О л е гъ.
 Я мифъ.

В о л х въ.

Спокойся, князь! Еще есть средство...

О л е гъ не слушая
 Какъ варвары? Я мифъ? Но сердце бьется
 Такъ пламенію въ груди моей! Но кровь
 Такъ горячо бѣжитъ по этимъ жиламъ?..
 Но этимъ грознымъ уступаютъ силамъ
 Всѣ козни, всѣ усилія врага!...
 Нелѣпость! вздоръ! О сслибъ только могъ я,
 Ученому злодѣю моему
 Я-бъ доказалъ свое существованье и т. д.

И вотъ, чтобы доказать будущему скептику-ученому, что онъ не мифъ, Олегъ рѣшается предпринять походъ на Константинополь, прибить къ вратамъ его свой щитъ и вообще оставить прочный следъ въ аналахъ писанной исторіи.

Кромѣ этого основнаго мотива, въ пародіи есть и побочные эпизоды, какъ напр. внезапно завязавшійся романъ между греческою царевной и однимъ дульбомъ изъ войска Олегова, такой-же романъ между кievлянкой Людмилой и кievляниномъ Всеславомъ, который погибаетъ въ поединкѣ съ варяжскимъ скальдомъ Ингелотомъ и, наконецъ, третій романъ между тою-же греческою царевною, что прельстила дульба и смина Олегомъ. Соль всѣхъ этихъ эпизодовъ заключается въ ихъ книжномъ, напыщенному языкѣ, немыслимомъ, конечно, въ устахъ первобытныхъ сыновъ X вѣка.

«Освобождение Москвы», какъ уже было сказано, не имѣеть никакой драматической интриги и потому передать его содержаніе затруднительно. Это просто рядъ беспорядочно-нагроможденныхъ сценъ, иллюстрирующихъ отдѣльные эпизоды событий 1612 года, сценъ почти ничѣмъ между собою не связанныхъ, кромѣ авторскаго старанія выдвинуть на первый планъ истинный патріотизмъ простаго народа и «земли», поборающій, въ концѣ концевъ, корыстные прописки боярства. Эта центральная идея пьесы ярче всего выражена въ одномъ изъ монологовъ представителя «земли» Прокофія Я-пунова:

«Виноваты много бояре. Много возгордились они. На черныхъ людей съ высока смотрятъ; ихъ только християнами называютъ; видимое дѣло, что сами ужъ стали не християне.—Горько это; забыли стало, что всѣ мы братя и всѣ христіане; всѣ мы одной матери дѣти; всѣ мы братя и сродники по христовой вѣрѣ и по Русской землѣ.—Пусть одинъ бояринъ—при немъ его боярство; пусть другой воинъ—при немъ его воинство; пусть еще третій землемѣдѣль—при немъ его землемѣдѣліе.—Да вѣдь сегодня онъ землемѣдѣль, а завтра бояринъ, а бояринъ завтра землемѣдѣль. Это все какъ случится, и какъ приведется, и какой талантъ, и что Богъ дастъ; а неперемѣнное и вѣчное то, что всѣ мы, сколько наась ни есть, всѣ братя православные христіане и русскіе люди. А это-то мы и позабыли; не какъ братя стоимъ другъ за друга; возвысились, одни передъ другими, гордостію. Богъ наась и караетъ. Презрѣли Василій Ивановичъ земской совѣтъ, Богъ и покараль его. Презрѣли и вы, бояре, братство и землю; эй, не забывайте земли русской и народа. Больше правды въ простомъ народѣ.—Когда во вторникъ на страстной недѣль сдѣлалась схватка съ поляками, кто стоялъ за Божіе и земское дѣло? Все народъ. Сталъ тутъ и князь Дмитрій Михайловичъ Пожарской; вотъ это человѣкъ смиренный духомъ, и твердо стоитъ общсъ народомъ за Вѣру и землю. Такъ народа-то вы, бояре, не презирайте и надъ народомъ не вѣсьтесь; вѣдь этимъ вы и сами себя осуждаете и отъ братства себя отрываете. Не разрывайте земскаго союза, не забывайте народа—тогда и вамъ будетъ хорошо и вы родной землѣ нашей полезны будете,—а безъ того пѣть.—Вѣдь всѣ мы, отъ мала до велика, всѣ христіане православные и русскіе люди, всѣ братья».

Весь этотъ монологъ и по идеямъ своимъ, и даже по слогу скорѣе напоминаетъ одну изъ историко-публицистическихъ статей Константина Сергеевича, чѣмъ дѣйствительную рѣчь «думнаго дворянина». Но автора и не заботила особенно историческая достовѣрность. Какъ и во всемъ, что онъ писалъ ему былъ важенъ предлогъ высказать переполнявшія его чувства того мистического демократизма и той пламенной любви къ древнимъ формамъ русскаго народнаго быта, которыя составляютъ основу всѣхъ его общественныхъ, историческихъ и даже филологическихъ взглядовъ.

Такою-же иллюстраціею историко-публицистическихъ воззрѣній Константина Аксакова является третье драматическое произведение его—«комедія» въ двухъ дѣйствіяхъ съ прологомъ «Князь Луповицкий». Комедія имѣть цѣлью доказать, съ одной стороны, *до какого*

комизма доходитъ оторванность русскихъ «культурныхъ» людей отъ реальныхъ основъ нашей народной жизни, а съ другой—какія вели-
кія сокровища ума и сердца кроются въ невзрачномъ на первый
взглядъ мужичкѣ русскомъ. Въ частности, «Князь Луповицкій» есть
подробное развитіе и переложеніе въ лица одной изъ наиболѣе горячихъ
критическихъ статей Константина Аксакова, напечатанной имъ подъ
псевдонимомъ *Имрека* въ «Моск. Сборникъ» 1847 г.

Статья эта написана по поводу повѣсти изъ народной жизни кн.
Одоевскаго «Сиротинки» (изъ сборника гр. Соллогуба «Вчера и се-
годня») и вмѣстѣ съ нѣкоторыми деталями «Князя Луповицкаго»
рельефно обрисовываетъ одинъ изъ кардинальныхъ пунктовъ міро-
воззрѣнія Константина Аксакова—его отношеніе къ простому народу.

«Сиротинки» привели рецензента въ крайнее негодованіе:

«Всегда съ невольнымъ, горькимъ чувствомъ», говорить онъ, «и съ негодова-
ниемъ читаемъ мы такія повѣсти, гдѣ изображается (будто-бы изображается) нашъ
народъ; невыносимо тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу совер-
шенно чуждый, совершенно отъ него оторванный, лице отвлеченнѣе, какъ все, что
оторвало отъ народа, когда такой писатель, полный чувства своего минимаго пре-
восходства, вдругъ заговорить снискодительно о народѣ, могущественномъ хра-
нителѣ жизненной великой тайны, во всей силѣ своей самобытности предстоящемъ
предъ нами, легко и весело съ нимъ разставшимъся. Писатель не трудится надъ
тѣмъ, чтобы узнать, понять его; для него узнавать и понимать въ немъ нечего;
ему стоять только снизойти написать о немъ. Противно видѣть, когда онъ, для
вѣрнѣйшаго изображенія, прибѣгасть къ народному будто-бы оттѣнку рѣчи, къ
народнымъ выраженіямъ, дошедшімъ до его слуха чрезъ переднюю и гостиную.
Такой умышленный маскарадъ, такая милостивая поддѣлка, особенно когда пи-
шутъ для народа, оскорбительна. Въ такомъ родѣ и повѣсть кн. Одоевскаго».

Насмѣшливо и негодуя пересказываетъ, затѣмъ, Конст. Сергѣев-
ичъ содержаніе повѣсти, которое заключается въ томъ, что нѣкая
барыня увозить бѣдную деревенскую дѣвочку, сиротинку Настю,
въ Петербургъ и та, чрезъ нѣкоторое время, возвращается въ де-
ревню, гдѣ, благодаря полученному ей въ одномъ изъ петербург-
скихъ пріютовъ воспитанію, оказывается благотворное вліяніе на
подъемъ крестьянской нравственности и религіозности. Подводя
итоги, возмущенный критикъ говоритъ:

«И такъ, все село возвышено и преобразованъ народъ, имѣющій кой-что въ
своихъ воспоминаніяхъ, имѣющій, какъ народъ, тяжесть и твердость дѣйствитель-
ности въ своихъ движеніяхъ и переходахъ,—преобразованъ такъ легко и скоро
Настей, воспитанной въ Петербургѣ. Она научила его молиться: онъ не умѣлъ
этого, конечно!.. Но никакая въ свѣтѣ Настя и никакой въ свѣтѣ образованный
и воспитанный человѣкъ не можетъ стать на ряду съ народомъ и осмѣлиться
наставлять его въ этомъ чувствѣ,—его, силою вѣры прогнавшаго столько враговъ
ионплеменныхъ. Можно-ли такъ легко судить о народѣ, такъ легко воспитывать
его посредствомъ какой-нибудь Нasti, такого отвлеченнаго и легкаго лица; такъ
не знать глубины убѣждений и многаго, многаго въ народѣ, что для Нasti

темный лѣсъ, и гдѣ-бы тысячу разъ она потерялась и пала-бы, почувствовавъ и понявъ свое бессиліе, еслибъ къ счастію могла хоть сколько-нибудь понять его. Можно-ли это? Что сказать о такомъ поступкѣ?

Къ счастію, Настя и ей подобные не понимаютъ и не могутъ приблизиться даже къ глубокой сторонѣ народа: это для нихъ непроницаемая тайна, запертое святилище. И сколько людей, именно въ наше время, именно въ нашей землѣ, такихъ, которые оторвались отъ народа, отъ естественной тяжести союза съ нимъ, умѣряющей и утверждающей шаги человѣка, дающей ему дѣйствительность, и пошли летать иноситься, полные гордости и сніхожденія,—такихъ людей, которые будучи одѣты въ европейское платье и заглянувъ въ европейскія книги, выучившись болтать на чужомъ языке и приходить, какъ слѣдуетъ, въ заемный восторгъ отъ итальянской оперы, подходить съ указкою къ бѣдному, не образованному народу и хотять чергить путь его народной и внутренней и вѣцкой жизни. Хотя-бы они поглотили въ самомъ дѣлѣ всю европейскую мудрость, но если они оторваны отъ народа и хотять оставаться въ этой оторванности, въ этомъ попугайномъ развитіи, если они съ-высока смотрятъ на него,—они ничтожны. И такъ Настя явленіе поучительное. Ошибка автора въ томъ, что когда такой человѣкъ, какъ Настя, прикоснется къ народа, то совсѣмъ не выйдетъ такихъ результатовъ, какіе придумалъ г. авторъ; напротивъ, какъ мыльный пузырь лопнетъ такая попытка, если только, при перевѣсѣ силы на ея сторонѣ, она не сдавить внѣшимъ образомъ народа».

Исторію такого мыльного пузыря Конст. Аксаковъ и хотѣлъ представить въ «Князѣ Луповицкомъ». Мы нѣсколько остановимся на содержаніи этой комедіи, мало заіѣчательной съ художественной точки зрѣнія, но интересной тѣмъ, что въ ней авторъ всего цѣлѣніе выразилъ свой взглядъ на современный ему народъ. Какъ всѣ кабинетные мыслители, Константинъ Аксаковъ, большею частью, витали въ тѣхъ самыхъ сферахъ отвлеченности отъ реальной, непосредственной народной жизни, за которую онъ такъ пушилъ князя Одоевского въ приведенныхъ только что цитатахъ. Говоря о народѣ, Константинъ Сергеевичъ всегда удалялся въ глубь исторіи и сливалъ въ одно понятіе народъ удѣльного периода, народъ 1612 года и народъ нашихъ дней. Сквозь туманъ восторженныхъ словъ о парадныхъ, такъ сказать, сторонахъ народной жизни, проявляющихся только въ великихъ историческихъ событияхъ, у Константина Аксакова, какъ у всѣхъ, впрочемъ, славянофиловъ трудно было проглядѣть, какъ онъ себѣ рисуетъ народъ въ его повседневномъ, будничномъ быту и только въ одномъ «Князѣ Луповицкомъ» онъ сколько-нибудь подробнѣ и остановился на этой повседневной жизни нашего народа. Вотъ почему и любопытно ознакомиться съ названной «комедіей», самой по себѣ очень слабой, но за то дающей болѣе детальный материалъ для оценки практической, жизненной цѣнности народолюбія Конст. Сергеевича. И если еще вспомнить, что «князь Луповицкій» писанъ въ 1851 г. т. е. въ тѣ-же, приблизительно, годы,

когда писались «Записки охотника», «Антонъ Горемыка» и другія произведенія изъ народной жизни, исходившія изъ противоположнаго лагеря, то на «комедіи» Константина Аксакова можно будетъ наглядно прослѣдить разницу между демократизмомъ западническаго лагеря русской интеллигенціи и демократизмомъ славянофиловъ.

Содержаніе комедіи состоится вотъ въ чёмъ:

Богатый князь Луповицкій, проживающій въ Парижѣ, въ одно прекрасное послѣ обѣда объявляеть своимъ пріятелямъ, что онъ твердо рѣшилъ уѣхать на время въ Россію съ цѣлью «сивилизовать» своихъ крестьянъ. Пріятели его удерживаютъ. Одинъ изъ нихъ—графъ Долонскій, заявляющій, что для него Россія есть мѣсто, откуда онъ получаетъ деньги, отказывается понимать намѣренія Луповицкаго:

«Вѣдь наши мужики, вѣдь это развѣ люди? Знаешь, какое ихъ назначеніе? Ихъ назначеніе, чтобы мы, люди образованные, могли наслаждаться всѣми удовольствіями сивилизациіи, *c'est le mot*; чтобы я, напримѣръ, могъ жить въ Парижѣ и, между прочимъ, обѣдать въ *Café de Paris*. Вотъ для чего мужики, чтобы намъ давать средства на всѣ сивилизованныя удовольствія; *c'est leur mission sur la terre*, ils ne sont bons, qu'à ça, et c'est encore trop d'honneur pour eux».

Приблизительно тоже самое думаетъ другой пріятель—баронъ Салютинъ, который, кроме того проводить ту мысль, что если уже Луповицкій ни за что не хочетъ отстать отъ своей блажи и непремѣнно уже хочетъ «сивилизовать» своихъ крѣпостныхъ, то долженъ это сдѣлать силою:

«Э! mon ami, непремѣнно надо употребить силу; даже и убѣждать нечего пробовать; надо знать, съ кѣмъ быть деликатнымъ. Нужна жгѣзная рука, *mon cher*,—une main de fer. Такъ только надо учить необразованный народъ. Сломай его, сдѣлай изъ него тѣсто, faites en une pâte,—и потомъ лѣпи, что угодно C'est ainsi, que Pierre le Grand a agi envers nous. Eh bien, кажется трудъ не поте-ранъ. Мы можемъ быть ему благодарны за это; мы, надѣюсь, стали вполнѣ образованными людьми, можемъ быть собою довольны, Force brutale est très nécessaire et très utile envers les brutes».

Луповицкій не поддается, однакоже, пріятелямъ. Онъ полагаетъ, что «русскій народъ также часть человѣчества» и что поэтому «къ русскому народу,—дикому, положимъ, необразованному, положимъ, можно, однакоже, привить просвѣщеніе европейское». Планъ его дѣйствій состоится въ томъ, чтобы «сивилизовать» и придать «видъ какой надобно» тѣмъ «зародышамъ», которые уже есть въ народѣ.

«Напримѣръ: благотворительность; вѣдь конечно мужикъ дѣлаетъ добро, n'est ce pas? Но какъ онъ дѣлаетъ?—подаетъ нищимъ; это грубо, необразованно n'est ce pas? Я возьму это свойство въ мужикѣ,—и сивилизую. Онъ будетъ, какъ-нибудь, что-нибудь дѣлать въ пользу бѣдныхъ, какъ мы дѣлаемъ; ну баловъ, конечно, у нихъ нельзя завести, нужно что-нибудь другое: ужъ я придумаю».

И вотъ, запасшись «всѣмъ, что вышло на французскомъ языкеъ объ Россіи», Луповицкій ѿдѣть въ свою деревню, гдѣ, собравши мужиковъ, произноситъ имъ «ставши въ позу» слѣдующую рѣчь:

«Съ большімъ удовольствіемъ принимаю я изъявленіе вашей... вашей призна-
тельности, или скорѣе любви ко мнѣ,—любви, еще не заслуженной мною. Но я
надѣюсь заслужить ее. Вѣрьте (*одушевляя себя*), о да, вѣрьте, что и я люблю васъ.
Я постараюсь устроить вашъ бытъ, передать вамъ плоды просвѣщенія, ро-
скошные плоды наукъ и искусствъ,—(*юрячасъ*). Ничего не пожалѣю для этого,
никакихъ трудовъ, ни... безсонныхъ ночей, ни... утомительныхъ дней, ни... пре-
пятствія природы, ни человѣческія препятствія не остановятъ меня.—Гдѣ ваши
орудія, омоченные не разъ благороднымъ потомъ вашимъ? Гдѣ соха, гдѣ пила?
Дайте мнѣ ихъ! Моя рука не побоится прикоснуться къ нимъ, если нужно.—Но
важнѣйшей трудъ предстоитъ мнѣ; я говорилъ о немъ сейчасъ.—Это тѣ нрав-
ственныя сокровища, которыя передамъ я вамъ, добытыя мною отъ Запада Европы,
это сѣмена умственныхъ, которыя должны разсѣять я здѣсь.—Вы поймете меня.
Ваше сочувствіе, въ которомъ я не сомнѣваюсь, будетъ для меня лестною на-
градою. Погѣрте мнѣ, я васъ уважаю, и докажу это! Вы можете считать на
меня. (*Пауза*). Господа! я въ вашихъ распоряженіяхъ. (*Въ сторону*). Какъ хо-
рошо бы это было по французски!»

Понятно, что крестьяне въ недоумѣніи молчатъ въ отвѣтъ на
этую рѣчу.

Болѣе детально развиваетъ Луповицкій отдѣльные пункты своей
«сивилизационной» программы въ разговорѣ съ старостой Антономъ.
И тутъ-то начинается для Луповицкаго рядъ посрамленій, обусло-
вленныхъ его полнѣйшимъ незнаніемъ народной жизни. Дѣло на-
чинается съ того, что Луповицкій совсѣмъ бытъ религіозными.

Луп. Исполняйте, что велѣтъ вамъ религія или Вѣра. Староста. Мы ис-
полняемъ, сколько силы нашей. *Луп.* Однако, Антонъ, я вѣдь былъ сегодня въ
церкви; конечно, я пришелъ не къ началу, однако служили еще,—и я видѣлъ,
что народу не много. Стар. Да вы, батюшка, послѣ обѣди пришли; а это слу-
жили молебны; такъ тѣ и остались, кто служилъ, а другіе разошлись. *Луп.* (*скон-
фузившись*). Да точно, да, молебны. — Позволь, однако, позволь: тамъ свя-
щенникъ давалъ крестъ цѣловать. Стар. Да какъ-же, батюшка, это за вся-
кими молебномъ бываетъ. *Луп.* (*совсѣмъ сконфузившись*). Бываетъ, да, бываетъ,
точно (*принимается за завѣтракъ*). Не хочешь-ли ты позавтракать? Я велю тамъ
подать (*указываетъ ему на свой завѣтракъ*). Стар. Нѣтъ, батюшка, не стану. *Луп.*
Отъ чего? Стар. У насъ посты, батюшка; это скромное. *Луп.* Постъ,—какой посты?
Стар. Петровки, батюшка. *Луп.* Петровки (*кладетъ вилку и ножикъ*). Признаюсь,
не зналъ.

Потерпѣвъ пораженіе по предмету насажденія религіозности, Лу-
повицкій смотритъ въ бумажку, гдѣ у него намѣчены всѣ пункты
его «сивилизационнаго» плана и переходитъ къ насажденію благо-
творительности:

Луп. Вотъ что я придумалъ. Вы устройте у себя благотворительный хороводъ.
Стар. Что-жъ это будетъ такое? *Луп.* А вотъ что. Когда у васъ соберутся для
хоровода,—каждый, кто захочетъ участвовать, дастъ по копѣйкѣ, или по по-

лучшѣ въ общую сумму, для бѣдныхъ; а потомъ эти деньги и будетъ раздавать піщанимъ, настоящимъ нищимъ, тотъ, кого хоть я назначу.—А? хорошо? *Стар.* Умны твои рѣчи, батюшка. Только вотъ что: у насъ есть въ церкви кружка для бѣдныхъ. Хороводъ-то, веселье-то зачѣмъ? *Луп.* А веселье-то для того, чтобы охотнѣе дали; иной-бы, можетъ быть, безъ этой причины и не подасть,—а для веселья подастъ. *Стар.* Стало, батюшка, человѣкъ ужъ тутъ не для Бога, а для своей потѣхи нищему подастъ. Гдѣ-же тутъ доброе-то дѣло будеть? Для души-то что? *Луп.* Положимъ доброго дѣла собственно нѣтъ; для души, какъ ты выражаешься, нѣтъ; да все-же польза. *Стар.* Ужъ коли, батюшка, въ такомъ дѣлѣ святомъ, что нищему подать, для души ничего не будетъ, такъ ужъ тутъ какая польза,—тутъ вредъ, да и какой. Вѣдь, какъ нищаго увидишь—и вздохнешь, и подумаешь, что вотъ-де нищая братья, да и подашь; такъ оно для души много.—А тутъ, что это будеть? Гамъ, веселье. Что, дескать, вами о нищей братіи думать; знай веселись, да себя тѣшь: вотъ тебѣ и доброе дѣло сдѣлалъ.

Провалившись и тутъ, Луповицкій заводить рѣчь о грамотѣ и о томъ, чтобы завести школу. Староста согласенъ, что «грамота хоропшее дѣло: ученье-свѣтъ, а неученье-тьма», но вмѣстѣ съ тѣмъ говоритъ барину: «чѣмъ школу заводить, батюшка, а ты пономарю дай жалованье за выучку, за каждого, хоть рубли четыре или хоть три; онъ тебѣ и учить станеть и выучить». Луповицкій соглашается и только желаль-бы «книги накупить, книги для народа, принарвленныхъ къ понятію народа».

«*Стар.* Какія-же это книги, батюшка? *Луп.* Есть много такихъ книгъ, нарочно написанныхъ для простого ума. Въ нихъ разсуждается о предметахъ нужныхъ для крестьянина; напримѣръ о томъ, что такое быкъ? *Стар.* Быкъ? *Луп.* Ну да быкъ. Я думаю, быкъ много значить въ вашемъ быту. *Стар.* Не ужъ-то же, батюшка, мы быка не знаемъ. Неужели и того не знать, около чего цѣлый вѣкъ ходишь. *Луп.* Тамъ не только о быкѣ; тамъ о нравственныхъ обязанностяхъ; тамъ говорится, что не надо лгать, пьянствовать, ну... и такъ далѣе. Вѣдь эти книги для васъ нужны. *Стар.* И по нашему, батюшка, не годится пьянствовать и лгать; да вѣдь кто-жъ этого не знаетъ? Не дѣлаются только. *Луп.* Ну, да все-же не худо обѣ этомъ еще почитать. *Стар.* Не худо, кто говорить, только ужъ обѣ этомъ давно написано и хорошо написано; врядъ-ли ужъ лучше написать можно. На это ужъ есть книги. *Луп.* Гдѣ? Какія? *Стар.* Священные книги, батюшка. Вотъ ихъ-то ты намъ купи, батюшка, сдѣлай милость».

Заводить, затѣмъ, Луповицкій рѣчь о неопрятности крестьянской:

«Посмотри, какія у тебѣ грязныя руки, вѣдь какая разница съ моими (*сравниваетъ свою руку съ рукой старости*). Просто даже совсѣмъ. *Стар.* Кому, батюшка совсѣмъ? *Луп.* Конечно, тебѣ должно быть совсѣмъ. *Стар.* Э, батюшка, въ навозѣ возимся, какъ-же быть то? Оттого, батюшка, твои ручки и бѣлы, что наши черны:—ну и на здоровье.

Неувѣнчивается болѣшимъ успѣхомъ планъ Луповицкаго поднять крестьянскую нравственность посредствомъ награжденія заслобрыя дѣла.

«*Луповицкій.* Если кто изъ огня кого-нибудь выхватить, ну тамъ, ну какъ-нибудь, еще поможетъ, ну денегъ дастъ, — такъ этому я даю кушакъ шелковой, шитый золотомъ, а женщинѣ жемчужныя серьги. Ты опять молчишь.—Не ужъ-то

и это не нравится? *Стар.* Вотъ что, батюшка, я тебѣ скажу. Дѣлаешьъ человѣкъ доброе дѣло: вѣдь онъ, батюшка, не изъ награды его дѣлаешьъ; такъ ты наградою его обидишь, да и доброе то дѣло ты не добромъ покажешь.—А коли для награды доброе дѣло кто сдѣлалъ, — такъ ужъ это какое доброе дѣло?—и награждать-то его не за что».

Такъ-то отбираетъ простой мужичекъ представителя парижской «цивилизаци» и, пункить за пунктомъ, разрушаетъ всю программу либерального барина, такъ что тотъ «совершенно сбитый съ толку» долженъ сказать себѣ: «*Battu, complètement battu.* Какъ онъ уменъ, однако, этотъ Антонъ. Не даромъ говорятъ, что народъ русскій имѣеть умъ, еще-бы! бездну ума».

Но не только предъ умомъ «народа русскаго» приходится пре-клониться парижскому сивилизатору. Разыгрывается предъ его глазами такое зрѣлище: собираются его крестьяне на сходку за тѣмъ, чтобы рѣшить, кого сдать въ рекрутъ. Большинство высказывается за то, чтобы отдать безроднаго парня Андрюху. Но такое рѣшеніе вызываетъ рѣзкій протестъ стараго крестьянина Прохора:

«Вы хотите Андрюху отдать; онъ, дескать, сирота. Такъ это, выходитъ, отдаешьъ мы въ солдаты безпомощнаго. Сиротство-то его, выходитъ, мы ему въ вину ставимъ.—Такъ-ли? А? Подумайте. Не грѣхъ-ли это будетъ? Виновать-ли онъ, что сирота?—Что некому за него плакать, да поскорѣбѣть: такъ вѣдь онъ и самъ тому не радъ; вѣдь его горе — сиротство-то; а тутъ мы къ горю да еще горе на него навалимъ.—Такъ что-ли? Нѣтъ, братцы; грѣхъ будетъ миру сироту обидѣть; передъ Богомъ грѣхъ; онъ плакаться на насъ Богу будетъ.—Ужъ если нѣтъ у него ни роду, ни племени, некому заступиться,—такъ міръ ему заступникъ. Вотъ по моему какъ».

Слова Прохора производятъ впечатлѣніе. Сходка соглашается, что дѣйствительно «грѣхъ будетъ сироту обидѣть» и рѣшаетъ, что у кого больше сыновей, тотъ и долженъ выставить рекрута. На бѣду оказывается, что больше всего сыновей у любимаго всѣми старосты Антона. Какъ тутъ быть? Какъ тутъ соблюсти справедливость, какъ сдѣлать, чтобы и старосту не обидѣть и вмѣстѣ съ тѣмъ не заставить «помилованіемъ» старосты отдуваться кого-нибудь изъ прочихъ крестьянъ. И вотъ, по «нѣту того-же правдолюба Прохора», сходка постановляетъ купить рекрутскую квитанцію, которая стоить ни много, ни мало 800 руб. серебромъ. Съ удивленіемъ узнаетъ объ этомъ рѣшеніи Луповицкій, который былъ увѣренъ, что отдалутъ Андрея. «Некому заступиться», ізворить онъ въ изумленіі «такъ міръ заступникъ... mais c'est sublime, c'est beau, ça!» «C'est de la clemence. c'est touchant» говорить онъ затѣмъ, по поводу того, что старосту «помиловалъ» міръ: «il est imposant ce міръ. Я сегодня очень доволенъ; сегодня прекрасный для меня день. Міръ познакомилъ меня съ собой своимъ возвышеннымъ, истинно благороднымъ поступкомъ».

Я уѣду отсюда съ большимъ почтеніемъ къ народу. Je vous estime, monsieur le peuple».

Таково содержаніе комедіи, повторяемъ еще разъ, очень слабой въ литературномъ отношеніи, но очень удобной для выясненія основныхъ пунктовъ народолюбія Константина Аксакова. Въ историко-публицистическихъ статьяхъ Константина Сергеевича эти пункты изложены расплывчато, туманно, а главное разбросанно и отрывочно, такъ что для полученія полной картины пришлось-бы прибѣгать къ мозаїкѣ, здѣсь-же все ясно до схематичности. Сама собою слагается такая формулировка:

1) Народъ не нуждается ни въ какихъ указаніяхъ, въ особенности со стороны нашихъ нахватавшихся верховъ европейской цивилизації «культурныхъ людей».

2) У народа есть свое стройное и устойчивое міросозерцаніе, не только вполнѣ пригодное для ежедневной, сърой крестьянской жизни, но способное выдержать натискъ міросозерцанія людей, без-конечно превосходящихъ мужика образованіемъ и соціальнымъ положеніемъ.

3) Въ частности, у народа есть своя самобытная нравственность и своя, если и не самобытная, то, все таки, окрашенная самостоятельнымъ пониманіемъ религіозность, на совокупности которыхъ и строятся соціальные отношенія крестьянской общины.

4) Народная нравственность основана на чувствахъ справедливости. Оба эти чувства народъ никогда не понимаетъ въ формальномъ, математическомъ смыслѣ. Вотъ почему, строго блюя интересы *всей* общини, онъ, все таки, смотрить затѣмъ, чтобы не только интересы меньшинства, но даже интересы отдельныхъ личностей не-страдали-бы отъ соблюдения мірскихъ выгодъ.

5) Религіозность народа, какъ и нравственность его, не внѣшняя и не показная. Она есть удовлетвореніе внутренняго призыва къ добру.

6) Источникъ нравственности и религіозности народа кроется въ исповѣдуемой имъ православной вѣрѣ. Когда староста Антонъ, пунктъ за пунктомъ, разрушилъ всю «цивилизационную» программу своего барина, между «сбитымъ совершенно съ толку» Луповицкимъ и его съобесѣдникомъ произошелъ такой разговоръ:

«Луп. Антонъ, ты гдѣ учился? Стар. Нигдѣ, батюшка. Луп. Грамотѣ умѣешь. Стар. Умѣю, батюшка. Луп. Что ты читалъ? Стар. Церковные книги, батюшка».

7) Совокупность всего вышесказанного создала глубоко-своебразный правовой, экономической и нравственный институтъ—крестьянскій «міръ», который есть хранитель истинно-народныхъ тра-

дицій и панацея противъ тѣхъ золъ, которыя при иномъ строѣ повели-бы къ пѣлому ряду соціальныхъ и индивидуальныхъ несправедливостей.

Вотъ изъ какихъ пунктовъ слагается народолюбіе Константина Аксакова, пунктовъ на столько опредѣленно выраженныхъ въ только что разсмотрѣнной нами «комедіи», что они ничего не требуютъ кроме констатированія. Можно, конечно, съ ними соглашаться или несоглашаться, можно находить представленія Константина Сергеевича о свойствахъ народной психологіи фантастичными или, напротивъ того, правильными—это другой вопросъ. Но повторяемъ, въ виду ясности и рельефности (не художественной, а публицистической), съ которой они выражены въ «Князѣ Луповицкомъ», дальнѣйшія поясненія излиши.

На одной только сторонѣ «Князя Луповицкаго» мы считаемъ необходимымъ нѣсколько остановиться. Есть въ этой пьесѣ кое-что, что не сразу бросается въ глаза и требуетъ кое-какихъ разъясненій; разъясненій тѣмъ болѣе необходимыхъ, что дѣло идетъ объ основной чертѣ всего міровоззрѣнія Константина Аксакова. Мы говоримъ о томъ *мажорномъ тонѣ*, въ которомъ написанъ «Князь Луповицкій» и который характеризуетъ не только Константина Аксакова, но и всю славянофильскую школу. Этимъ тономъ Константинъ Аксаковъ отличается не только отъ западниковъ сороковыхъ годовъ, но и отъ народниковъ позднейшей формациі, не менѣе его восторженно относящихся къ складу народной души и къ основамъ народно-общинной жизни. И является у Аксакова этотъ тонъ, потому что *незисъ* его народолюбія не тотъ, что у народолюбцевъ противоположнаго лагеря.

Если мы, въ самомъ дѣлѣ, присмотримся къ исторіи западническаго народолюбія, намъ не трудно будетъ убѣдиться, что источникъ его кроется въ чувствѣ *жалости* нравственно чуткихъ представителей русскаго культурнаго класса къ бѣдственному положенію мужика и въ чувствѣ *раскаянія*, которое испытывали «сыны народнаго бича» при мысли о своей причастности грѣху вѣкового угнетенія крѣпостнаго раба. Когда въ началѣ сороковыхъ годовъ, шедшія къ намъ изъ Франціи «филантропическія», по терминологіи того времени, идеи привели къ необыкновенно яркому пробужденію *общественныхъ* чувствъ и когда тѣ же самые «люди сороковыхъ годовъ», которые всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ тридцатыхъ годахъ, только и думали, что объ «абсолютахъ», о «святынѣ искусства», о «вѣчной красотѣ», и тому подобныхъ метафизическихъ тонкостяхъ, теперь до мозга костей прониклись «политикой», вопросъ

о народѣ не могъ не стать однимъ изъ центральныхъ вопросовъ времени. Поколѣніе, вся духовная жизнь котораго сосредоточилась на размышленіяхъ о томъ справедливъ или несправедливъ существующій общественный строй, прежде всего стало болѣть душою за «униженныхъ и оскорбленныхъ» вообще и за русскаго крѣпостнаго мужика въ частности. Глашатай этого поколѣнія—«неистовый Висаріонъ», съ тою-же восторженною энергию, съ которою онъ нѣкогда требовалъ отъ писателей служенія чистому искусству, началь требовать отъ нихъ опредѣленной общественной тенденціи, подразумѣвава подъ нею, по преимуществу, все ту-же защиту «униженныхъ и оскорбленныхъ» вообще и мужика въ частности. И чутко внимавшіе пламенному искателю истины молодые таланты того времени поддались неотразимому вліянію горячей убѣжденності Бѣлинскаго и, точно сговорившись, почти въ одинъ и тотъ-же годъ, представили предъ изумленною публикою съ рядомъ превосходныхъ произведеній, въ основѣ которыхъ лежали самыя широкія симпатіи къ загнанному простолюдину. Явился Григоровичъ съ «Деревней» и «Антономъ Горемыкой», въ которыхъ впервые былъ показанъ человѣкъ въ крѣпостномъ мужикѣ, явился Тургеневъ съ «Записками охотника», въ которыхъ то-же желаніе очеловѣчить мужика было проведено съ еще большою теплотою, явились первыя стихотворенія на народныя темы Некрасова, бросившаго подъ новымъ вліяніемъ прежніе «мечты и звуки» и посвятившаго отнынѣ свою музу народнымъ *страданіямъ* и психологіи народной души.

Итакъ, желаніе выяснить, что крѣпостной рабъ есть тоже человѣкъ и что, слѣдовательно, его страданія должны быть облегчены—вотъ на чемъ зиждется народолюбіе писателей школы Бѣлинскаго. Но именно потому-то въ ихъ произведеніяхъ и не могло быть того мажорнаго тона, того изображенія народа бодрымъ и полнымъ сознанія своихъ внутреннихъ силъ, которое мы встрѣчаемъ въ произведеніяхъ славянофильского направленія.

Правда, могло быть негодованіе, но такъ какъ этому мѣшали цензурныя условія, то въ результатѣ и получилось, что почти всѣ произведенія изъ народной жизни, вышедшія изъ подъ пера людей прогрессивнаго лагеря 40-хъ годовъ, написаны въ гуманно- состра дающемъ тонѣ, цѣль котораго вызвать и въ читателѣ состраданіе къ крестьянской недолѣ.

Изъ діаметрально-противоположнаго источника вытекло народолюбіе славянофиловъ или, чтобы держаться ближе предмета настоящей статьи, народолюбіе Константина Аксакова. Если Тургеневу, Григоровичу, Некрасову мужикъ былъ близокъ, потому что они въ

немъ видѣли человѣка, и притомъ человѣка, нуждающагося въ сочувствии и помощи, то К. Аксакову мужикъ былъ дорогъ, главнымъ образомъ, какъ хранитель «истинно-русскихъ» традицій. Не потому любилъ Константинъ Аксаковъ мужика, что мужикъ нашъ меньшій братъ и потому долженъ имѣть такое-же мѣсто за столомъ жизнен-наго пиршества, какъ и мы сами, а потому, что онъ видѣлъ въ мужикѣ живой обломокъ дорогого ему древне-русскаго быта. И вотъ почему, совершенно закрывая глаза на реальную дѣйствительность и на тѣ печальные условія, среди которыхъ протекла жизнь крѣпостнаго мужика, онъ изображалъ ее въ такихъ оптимистическихъ краскахъ, въ такомъ мажорномъ тонѣ, что иностранецъ напр., который, не зная другихъ произведеній, рисующихъ крѣпостной бытъ, захотѣлъ-бы по «Князю Луповицкому», да и по остальнымъ писаніямъ К. Аксакова составить себѣ представленіе о крестьянской жизни въ эпоху крѣпостнаго права, вынесъ-бы изъ чтенія сочиненій разсматриваемаго нами теперь писателя самое розовое впечатлѣніе. Такъ, въ «Князѣ Луповицкомъ» вся крестьяне очень зажиточны и въ порывѣ великодушія даютъ 800 рублей, изъ которыхъ 100 даетъ староста, представляющій собою, замѣтьте, не обычный типъ ворюги-старосты, обкрадывающаго барина, выжимающаго сокъ изъ мужика и потому имѣющаго въ кубышкѣ не малую толику награбленныхъ денегъ, а, напротивъ того, являющій изъ себя человѣка высоко-честнаго и, слѣдовательно, вполнѣ нормальнымъ путемъ нажившаго свой достатокъ. Когда еще неизнанный своими крестьянами Луповицкій стороною спрашивается однѣ изъ попавшихся ему бабъ, какъ живется мужикамъ его деревни, она ему прямо говоритъ: «намъ грѣхъ Бога гнѣвить, намъ хорошо». Словомъ, настоящая Аркадія. И еслибы мы изъ всеобщихъ отзывовъ друзей и недруговъ не знали-бы, что Константинъ Аксаковъ былъ человѣкъ высоко-идеального склада характера, весь горѣвшій святымъ огнемъ стремленія къ истинѣ, то вся эти усилия выставить черное бѣлымъ и ликоватъ тамъ, гдѣ у другихъ вырывались стоны отчаянія, можно было-бы причислить къ тому пошлому квѣтизму, который дѣлалъ столь отвратительнымъ для чуткихъ людей 40-хъ гг. словословіе Булгаринъ и Гречей. Но именно потому, что сопоставленіе этихъ именъ было-бы глубокимъ оскорблениемъ для чистой памяти Константина Сергеевича, тутъ и не можетъ быть рѣчи о сколько-нибудь намѣренномъ квѣтизмѣ и умышленномъ закрываніи глазъ. Нѣтъ, все дѣло тутъ въ томъ, что упрекая другихъ въ кабинетности и незнаніи народа, Константинъ Аксаковъ, какъ улитка прожившій всю свою жизнь въ раковинѣ отцовскаго дома, самъ болѣе другихъ былъ въ этомъ повиненъ и счи-

таль «знаниемъ» народа изученіе былинъ Владимира цикла и лѣто-
писей. Живые-же люди, съ которыми ему пришлось водить дружбу
послѣ разрыва съ кружкомъ Станкевича и Бѣлинского, всѣ эти Хомя-
ковы, Самарини, Кирѣевскіе, наконецъ собственный отецъ его были
люди очень богатые, не имѣвшіе рѣшительно никакой надобности
сколько-нибудь дурно обращаться со своими крестьянами. Если мы
вспомнимъ съ какимъ добродушіемъ относится Сергій Тимофеевичъ
къ крѣпостному праву, то намъ станетъ вполнѣ понятнымъ, что и
въ сынѣ его, разъ онъ жизни не зналъ, только теоретическіе импульсы
могли создать иное, болѣе озлобленное отношеніе. Но именно теоре-
тическіе-то импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Тѣ
импульсы, которые вдохновляли бывшихъ друзей Константина Сер-
гѣевича на возможно-рѣзкой протестъ противъ темныхъ сторонъ крѣ-
постного права, для него были несимпатичны уже въ источникѣ своеи,
потому что помимо того, что они шли съ запада, они говорили о
враждѣ и «фронтѣ», столь не любимыхъ имъ. Свое-же общее
міросозерданіе и складъ восторженной натуры гнули въ сторону
усматриванія положительныхъ сторонъ. Конечно, это не умаляло сте-
пени нелюбви Константина Сергеевича къ крѣпостному праву, въ
ненависти къ которому онъ едва-ли уступалъ кому-бы то ни было.
Но со стороны-то, для читателя-то, получалось очень странное впе-
чатлѣніе, получался тѣтъ совершенно неумѣстный мажорный тонъ,
то идеическое изображеніе крѣпостного люда, по поводу которого
каждый крѣпостникъ и рабовладѣлецъ могъ сказать: зачѣмъ отмѣ-
нять крѣпостное право, когда при немъ народу такъ хорошо живется.

Такимъ образомъ по главному пункту, въ которомъ могло прак-
тически сказаться народолюбіе человѣка 40-хъ годовъ, Константинъ
Аксаковъ проявилъ какой-то академической холодъ, совершенно не
вязавшійся съ общимъ, горячимъ складомъ его личнаго и писатель-
скаго темперамента. Онъ, который произнесъ въ теченіи своей лите-
ратурной дѣятельности такъ много негодуящихъ словъ по адресу
людей и понятій, всего только повинныхъ въ «обезьяничанії»
европейскихъ «шаблоновъ», болѣе чѣмъ рѣдко говорилъ о бѣдно-
сти и приниженнosti мужика. Предпочитая дѣйствовать на пользу
народа изображеніемъ его высокихъ нравственныхъ и умствен-
ныхъ качествъ, онъ весь уходилъ въ панегирическіе дифи-
рамбы его историческому прошлому и современному бодруму само-
сознанію. Но не имѣть дифирамбъ такого доступа къ сердцу
читателя, какъ слово состраданія и сожалѣнія, и вотъ почему
народолюбіе «оторванныхъ» отъ почвы западниковъ было практи-
чески плодотворнѣе, чѣмъ народолюбіе одѣвшагося въ мурмолку

Константина Сергеевича. Эти «оторванные» люди получили величайшую награду, какая только может быть для писателя—ихъ произведенія дали огромный толчокъ освобожденію народа изъ подъ вѣковаго гнета. Все русское общество, начиная съ Императора Александра II, именно на Тургеневѣ, Григоровичѣ и частью на Некрасовѣ, воспитало свое отвращеніе къ крѣпостному праву, а дифирамбы Константина Аксакова были въ свое время извѣстны его друзьямъ и журналистамъ, а теперь историкамъ литературы.

Сформулировавши на стр. 238 основные пункты народолюбія Константина Аксакова и давши, затѣмъ, характеристику общаго тена этого народолюбія, мы ознакомили читателя съ одною изъ наиболѣе существенныхъ сторонъ духовной физіономіи разматриваемаго нами писателя. Переходимъ теперь къ другимъ руководящимъ идеямъ его и къ другимъ родамъ литературной дѣятельности, въ которыхъ разбрасывавшійся во всѣ стороны Константинъ Сергеевичъ упражнялъ свое разнообразное творчество и къ которымъ примѣнялъ свои обширныя и разнообразныя познанія. Такъ великъ былъ пыль этого пламенного искателя истины и такъ стремителенъ напоръ переполнявшихъ его чувствъ, что онъ въ теченіи 25 лѣтъ своихъ научно-литературныхъ занятій не могъ сконцентрироваться на чемъ-нибудь одномъ. Стихи, драмы, критика, исторія вообще, исторія литературы въ частности, публицистика, филология, все это шло въ перемежку и все это интересовало автора не само по себѣ, а какъ средство пропагандировать свои общественно-политические взгляды.

Въ хронологическомъ порядке Константинъ Сергеевичъ послѣ «сизящей словесности» раньше другого сталъ работать на поприщѣ критики, начавъ съ мелкихъ рецензій въ «Моск. Наблюдателѣ», редакцію которого въ концѣ 30-хъ годовъ завѣдывалъ кружокъ Станкевича. Въ 1842 г. онъ издаетъ небольшую брошюру о «Мертвыхъ Душахъ». Самой брошюры, ставшей библіографическою рѣдкостью, намъ, къ сожалѣнію, не удалось видѣть,¹⁾ но о ней даютъ весьма полное понятіе двѣ посвященные ей статейки Бѣлинского и сердитый отвѣтъ на нихъ, напечатанный задѣтѣмъ Константиномъ Аксаковымъ въ «Москвитянинѣ» 1842 г. (№ 9). Впрочемъ, весь этотъ *incident* любопытенъ не столько самъ по себѣ, сколько для харак-

¹⁾ Ея нѣтъ даже въ Публичной Библіотекѣ.

теристики взаимныхъ отношений полемизировавшихъ. Недавніе горячие друзья обмѣнивались такими колкостями, что, со стороны глядя, трудно было допустить мысль, что еще какихъ-нибудь два года раньше противники души не чаяли другъ въ другѣ. Да и самъ объектъ спора — черезчуръ восторженное отношение Константина Аксакова къ Гоголю довольно удивителенъ для всякаго знающаго, что именно въ кружкѣ Бѣлинскаго и зародилось пламенное «гоголефильство» автора брошюры. Но и то сказать, «гоголефильство» «гоголефильству» рознь. Если у Бѣлинскаго хватило мужества такъ en toutes lettres написать, что Гоголь геній, и этимъ смѣлымъ утверждениемъ поднять цѣлую бурю на смѣшекъ со стороны вліятельныхъ тогда литературныхъ старовѣровъ, находившихъ, что Гоголь есть ничто иное, какъ русскій Поль-де-Кокъ, то въ свою очередь и самъ Бѣлинскій не могъ удержаться отъ на смѣшекъ, когда незнавшій удержану въ своихъ симпатіяхъ Константинъ Сергеевичъ написалъ, что въ «Мертвыхъ Душахъ» воскресаетъ древній эпосъ и что по «акту творчеству» рядомъ съ Гоголемъ могутъ быть поставлены только Гомеръ и Шекспиръ.

О вицѣнной формѣ восторженного по содержанію панегирика Бѣлинскій отзывался такимъ образомъ:

„Брошюра г. Константина Аксакова ися состоить изъ сухихъ, абстрактныхъ построеній, лишенныхъ всякой жизненности, чуждыхъ всякаго непосредственнаго созерцанія и, поэтому, въ ней нѣть ни одной яркой мысли, ни одного теплаго, задушевнаго слова, которыми озnamеновываются первыя и даже самыя неудачныя попытки талантливыхъ и пылкихъ молодыхъ людей, и по тому-же въ ея изложеніи видна какая-то вялость, расплывчатость, апатія, неопределенность и сбивчивость“.

Зная высокій нравственный обликъ Бѣлинскаго, невозможно даже на одну минуту допустить, чтобы этотъ отзывъ былъ пропитованъ чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ искренняго желанія дать читателю понятіе о чисто-литературной сторонѣ брошюры. Самый-же фактъ совершенного чесоответствія вялой формы и восторженного содержанія можно объяснить отчасти тѣмъ, что, какъ мы уже отмѣтили разъ, пафосъ мысли и чувства вообще не сооствѣствовалъ въ произведеніяхъ Константина Аксакова пафосу изложенія, а еще болѣе тѣмъ, что брошюра, судя по выдержкамъ, приведеннымъ у Бѣлинскаго, писана на томъ малопонятномъ и донельзя путанномъ гегеліанскомъ жаргонѣ, который одинъ остроумный московскій профессоръ 40-хъ годовъ назвалъ «птичімъ языкомъ». Этотъ «птичій языкъ» портилъ статьи даже такого блестящаго стилиста, какъ авторъ «Кто виноватъ», который самъ впослѣдствіи добродушно смѣялся надъ слогомъ своихъ гегеліанскихъ мудрствованій. Читатель по-

нить, конечно, какъ страсть всюду видѣть подтвержденіе гегеланскихъ тезисовъ доходила у членовъ кружка Станкевича до того, что «человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ-какой нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайному явленіи». Брошюра К. Аксакова, даже въ тѣхъ только частяхъ, которыя приведены у Бѣлинскаго, написана точно нарочно для того, чтобы иллюстрировать эту характеристику. Такъ, между прочимъ, по «птичей» терминологіи юнаго гегеланца выходило, что любя ъзду на тройкахъ, Чичиковъ не просто любилъ скорую ъзду, а сливался въ это время съ субстанціей русскаго народа, тоже любящаго ъзду на тройкахъ.

Пять лѣтъ спустя—въ «Москов. Сборникъ» 1847 г. Константинъ Сергеевичъ выступаетъ подъ псевдонимомъ *Имрека* съ тремя критическими статьями болѣе виднаго литературнаго значенія. Съ первой изъ нихъ, гдѣ авторъ въ лицѣ князя Одоевскаго напустился на всѣхъ «оторванныхъ», отъ народа интеллигентовъ вообще, мы уже знакомы. Вторая посвящена «Опыту исторіи русской литературы» извѣстнаго въ свое время ученаго Никитенко и вся состоить изъ очень грубыхъ выходокъ противъ петербургскаго профессора, болѣе всего провинившагося предъ рецензентомъ своимъ пренебрежительнымъ отношеніемъ къ допетровской старинѣ. Жестоко ему достается за одно мѣсто, гдѣ онъ говорилъ о «звѣрскихъ брадатыхъ лицахъ» стрѣльцовъ. Но самое большее негодованіе критика возбудила одна тирада Никитенко, защищающая Петровскую ломку такими доводами: «что-за важность, еслибы даже для облегченія по этой дорогѣ пришлось бросить нѣкоторыя изъ старинныхъ привычекъ, надѣть новое платье, выбритъ бороду, пить для подкрѣпленія силь чай и кофе вмѣсто охмѣляющаго питья, отдыхать отъ трудовъ въ опрятныхъ и удобныхъ домахъ, вмѣсто дымныхъ логовищъ».

„Логовищъ!“ съ негодованіемъ восклицаетъ критикъ по поводу этой дѣйствительно довольно-таки безсмысленной тирады. „Мѣсто, гдѣ живеть дикий звѣрь! Такъ называетъ г. Никитенко наши крестьянскія избы! Ибо ни къ чему другому не могутъ относиться его слова. Если онъ говорить про прошедшее, то бояре и прежде Петра не жили въ дымныхъ палатахъ; а наши бѣдныя дымныя избы и сидѣтъ на себѣ и теперь весь отпечатокъ древней Руси; и такъ, только къ нимъ могутъ относиться эти изумительныя слова. Но оставилъ въ сторонѣ такую нѣжность выражения, которую видно допускаеть просвѣщенный и гуманный европеизмъ г. автора, спросимъ: развѣ это зависитъ отъ выбора—опрятный и удобный домъ? Развѣ нѣтъ тутъ материальныx условій богатства? Развѣ не согласился-бы всякий промѣнить дымную избу на избу (или домъ), построенную

опрятно и удобно?—Кажется это не нужно доказывать. Полагать же упрекъ бѣдности на народъ, который живеть въ дымныхъ логовицахъ, какъ имѣть духъ сказать г. Никитенко—это невыносимо».

Вотъ какую ноту взялъ вознегодавшій критикъ въ пылу полемики. Мало она имѣетъ общаго съ тѣмъ мажорнымъ тономъ, который составляетъ главную особенность большинства другихъ писаний Константина Сергеевича, трактующихъ о народѣ. Но это-то и доказываетъ справедливость сказанного нами выше по поводу народолюбія разсматриваемаго нами писателя, это-то и доказываетъ, что онъ неменьше западниковъ скорбѣлъ о бѣдности народной, но только класть жалость въ основу своего народолюбія, какъ дѣлали западники, мѣшала ему доктрина, по которой не жалѣть должны мы народъ, а, напротивъ того, завидовать ему и поучаться у него.

Третья статья Имрека—Аксакова въ «Моск. Сборн.» разбираетъ изданный Некрасовымъ «Петербургскій Сборникъ», въ составъ котораго, какъ извѣстно, входили произведенія почти всѣхъ представителей тогдашней молодой прогрессивной литературы. Не любилъ ихъ Константинъ Сергеевичъ, очень не любилъ. И все за ту-же «оторванность» отъ народа. Больше всего, впрочемъ, досталось Достоевскому за «Бѣдныхъ людей» и «Двойника», въ которыхъ критикъ видѣлъ неудачное подражаніе Гоголю. Попало и Тургеневу, по мнѣнію критика пишущему «постоянно плоше и плоше». Поэму Майкова «Двѣ судьбы» Имрекъ «прочелъ съ непріятнымъ и грустнымъ чувствомъ». Что-же касается статьи Бѣлинского о русской литературѣ, то въ ней петербургскій критикъ «обнаружилъ невѣжество» и въ общемъ его статья есть «болтовня, повтореніе столько разъ повторявшейся болтовни о русской литературѣ, болтовни, которую встрѣчали мы въ Отечественныхъ Запискахъ».

Впрочемъ, не одно только осужденіе вызывали «петербургскіе» литераторы въ Имрекѣ. Такъ какъ вражда къ нимъ была въ московской критикѣ исключительно идейная, безъ малѣйшаго оттѣнка чего-нибудь личнаго, то всякая черточка въ литературной дѣятельности противниковъ, сколько-нибудь симпатичная Константину Сергеевичу и совпадающая съ основами его общественно-политического міросозерцанія, встрѣчала съ его стороны самое горячее одобреніе. Такъ, статью Искандера онъ причислилъ къ «числу умныхъ, замѣчательныхъ», и за то причислилъ, что она очень рѣзко бичевала ту условную ложь, которая у насъ въ обществѣ считается признакомъ благовоспитанности и которую, какъ читатель, вѣроятно, помнить изъ приведенныхъ выше воспоминаній г. Бицына, Константинъ Аксаковъ ненавидѣлъ всѣми силами своей не выносившой никакихъ компромиссовъ чистой души.

Удѣлилъ Имрекъ нѣсколько сочувственныхъ строкъ и стихотворенію Некрасова «Въ дорогѣ», гдѣ такъ симпатично обрисованъ ямщикъ, несчастный въ своемъ неравномъ бракѣ съ крестьянкой, получившей барское воспитаніе. Но въ рѣшительный восторгъ привелъ его своимъ первымъ отрывкомъ изъ «Записокъ Охотника» Тургеневъ. Только что отдѣлавъ его самымъ немилосерднымъ образомъ за тѣ произведенія, которыми Тургеневъ началъ свою писательскую карьеру, Имрекъ тутъ-же поставилъ звѣздачку и въ примѣчаніи написалъ:

«Мы должны указать на появившійся въ 1 № «Современника» превосходный разсказъ г. Тургенева *Хоръ и Калиничъ*. Вотъ, что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: въ мигъ дается сила! Пока г. Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвахъ, да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ,—все выходило вяло и безталантно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ въ мигъ обнаружился и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ. Всѣ отадутъ ему справедливость: по крайней мѣрѣ мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ г. Тургеневу продолжать по этой дорогѣ.»

Но всего обстоятельнѣе изложилъ Константинъ Сергеевичъ свой взглядъ на нашу литературу вообще и на писателей эпохи 40-хъ и 50-хъ гг. въ частности въ обширномъ «Обозрѣніи современной литературы», напечатанномъ въ «Русской Бесѣдѣ», 1857 г. Обозрѣніе состоитъ изъ небольшихъ замѣчаній чисто-литературного свойства, высказанныхъ по поводу отдѣльныхъ произведеній, только-что тогда появившихся, и изъ оцѣнокъ общихъ, которыхъ даютъ намъ возможность формулировать дальнѣйшіе пункты міросозерцанія рассматриваемаго нами писателя.

Что касается отдѣльныхъ замѣчаній чисто-литературного свойства, то нельзя сказать, чтобы онъ отличались особеною тонкостью и глубиной. Мѣстами-же критикъ доходитъ даже до большихъ безвкусій. Такъ, находя, что плеяда поэтовъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, т. е. Тютчевъ, Фетъ, Полонскій, Майковъ, Некрасовъ, Мей, Щербина представляютъ собою сравнительный упадокъ русской поэзіи, онъ кого-же изъ оставшихся въ живыхъ представителей «прошедшей эпохи стихотворства» противопоставляетъ имъ въ назиданіе? «Лира Жуковскаго» говорить онъ «еще недавно звучала гармонически съ береговъ Рейна; иногда раздадутся замысловатые,

и подъ часть полные чувства, стихи Вяземского, умные и колкие стихи М. Дмитриева, или по своему нѣкогда мелодические стихи Ф. Глинки». Чтобы не очень отвлекаться въ сторону, не станемъ пускаться въ требующее тщательности разсмотрѣніе вслѣдствія о томъ, насколько «замысловатые» стихи Вяземского и произведенія послѣднихъ лѣтъ жизни Жуковскаго значительнѣе произведеній выше перечисленныхъ поэтовъ плеяды 40-хъ и 50-хъ годовъ. Но серьезно противопоставлять имъ какого-нибудь Федора Глинку или бездарнаго Михаила Дмитриева, про котораго Пушкинъ такъ вѣрно сказали

Онъ камеръ-юнкеръ при дворѣ
И камердинеръ на Парнасѣ

это уже явная безвкусница.

Не свидѣтельствуетъ также о тонкости пониманія такая характеристика писательской манеры Тургенева: «У г. Тургенева, собственно въ рассказахъ, не касающихся крестьянскаго быта, развилась чрезмѣрная подробность въ описаніяхъ: такъ и видно, что авторъ не прямо смотрѣть на предметъ и на человѣка, а *наблюдаетъ и списываетъ*. (Курсивъ Аксакова). Онъ чуть не сосчитываетъ жилки на щекахъ, волоски на бровяхъ». «Жажда быть вѣрнымъ дѣйствительности» говоритъ въ другомъ мѣстѣ критикъ «доходитъ часто до цинизма у г. Тургенева». Но всего страннѣе читать слѣдующій упрекъ Тургеневу:

„Андрей Колесовъ еще весь проникнутъ тѣмъ лермонтовскимъ направленіемъ“, которое подъ ложными видомъ будто-бы силы скрываетъ только совершенное бездушіе, самый сухой эгоизмъ и крайнее безстыдство; эта сила—вещь весьма дешевая, какъ скоро бороться не съ чѣмъ. Повѣсть „Три портрета“, самыи возмутительныи и оскорбительныи образомъ выражаетъ то-же направленіе. Изъуваженія къ г. Тургеневу, мы-бы не желали видѣть этой повѣсти въ печати“.

Желаніе по истинѣ удивительное! Выходить, такимъ образомъ, что авторъ виноватъ, если выведенныя имъ лица несимпатичны. Всякий, кто читалъ «Три портрета», тотъ помнить, конечно, какую они даютъ рельефную картину прошлаго, и именно то, что Аксаковъ изъ повѣсти почерпнулъ матеріалъ для сдѣланной выше (и совершенно правильно) характеристики людей печоринскаго склада, именно это-то и показываетъ, что, какъ художникъ, Тургеневъ исполнилъ свою задачу выпукло и ярко. Для полной послѣдовательности критику слѣдовало-бы желать «не видѣть въ печати» и «Героя нашего времени», гдѣ впервые выведенъ ненавистный для него «сухой эгоизмъ», скрывающійся подъ «видомъ будто-бы силы».

Чтобы покончить съ чисто-литературными вопросами рассматриваемой статьи, мы должны отмѣтить въ ней одну подробность, на которую, на сколько намъ известно, до сихъ поръ не было обращено вниманія и которая, однако, весьма любопытна для исторіи нашихъ литературныхъ теченій.

Уже при разборѣ стихотвореній Константина Аксакова было сказано, что враждебная идея изъ 60-хъ годовъ часть журналистики любила и любить подчеркивать, что такъ называемая «гражданская поэзія», отодвигающая на второй планъ непосредственно-художественные цѣли, введена въ русскую литературу Некрасовымъ и прогрессивною критикою Добролюбова и Писарева. Утвержденіе это мы находили только на половину вѣрнымъ, доказывая, что если присмотрѣться къ славянофильской поэзіи, то нетрудно убѣдиться, что въ лицѣ наиболѣе даровитыхъ представителей своихъ она задолго до движенія 60-хъ годовъ рѣшительно отвергла завѣтъ Пушкина быть поэзіей «звуковъ сладкихъ и молитвъ» и всецѣло посвящала себя «житейскимъ волненіямъ» и «битвамъ».

Въ рассматриваемой статьѣ мы находимъ теоретическое обоснованіе такого пониманія поэзіи и даже прямое провозглашеніе тенденціозности:

«Въ наше время говорить Константина Аксаковъ, «поэтическое произведение, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда возможны) можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ объ математикѣ, который, выслушавъ изящное произведеніе, спросилъ: что этимъ доказывается? Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ, произведеніи, является вопросъ: что этимъ доказывается? Таковы эпохи исканій, изслѣдований, трудовыхъ эпохи постиженія и рѣшенія общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха.» (стр. 15)

Это общее возврѣніе критика легло въ основу отдѣльныхъ характеристики его. Такъ къ Фету онъ относится насыщенно:

«любовь, любовь, любовь; милая, милая и милая: вотъ что на всѣ лады, не уставая, воспѣваетъ г. Фетъ».

Столь-же мало удовлетворяетъ его Мей, хотя онъ отмѣчаетъ у него «звукуный прекрасный стихъ». Въ антологическихъ стихотвореніяхъ Щербины, которыми такъ восхищались эстетики 40-хъ и 50-хъ годовъ, онъ видѣть только «излишество» сочувствія къ древнему миру. По поводу-же «Губернскихъ Очерковъ», которые кажутся Константину Сергеевичу «не произведеніемъ искусства, а ораторскою рѣчью» онъ говорить:

«И въ добрый часъ! намъ нужны такія рѣчи. Сочиненія г. Щедрина имѣютъ общественный интересъ—и вотъ главная причина ихъ успѣха! мы говорили уже, какъ важенъ общественный элементъ въ Россіи, и то, что это существенный эле-

ментъ литературы нашей. Законное негодование, съ которымъ представлены всѣ общественные искаженія, слышное даже тамъ, где авторъ повидимому въ сторонѣ, не можетъ не находить сочувствія во всѣхъ хорошихъ людяхъ и въ цѣломъ обществѣ и успѣхъ «Губернскихъ очерковъ» есть утѣшительное явленіе. (стр. 36).

Если вспомнить, что всѣ только-что приведенные нами выдержки относятся къ началу 1857г., то въ представленія наши обѣ исторіи нарожденія на Руси утилитарного взгляда на искусство должна быть внесена важная поправка. Принято считать основателемъ публицистической критики въ русской литературѣ Добролюбова и продолжателемъ его Писарева. Такъ оно дѣйствительно и есть, потому что та часть русского общества, которая усвоила себѣ утилитарный взглядъ на искусство, вычитала его именно въ пользовавшихся огромною популярностью статьяхъ Добролюбова и Писарева, а никакъ не у Константина Аксакова, статьи котораго читались самыми неизначительными въ тѣ годы кружкомъ адептовъ славянофильства. Въ частности, Феть была свергнута съ пьедестала не насмѣшившимъ отношениемъ критики «Русской Бесѣды», а вышучиваниемъ критика «Русского Слова». Такимъ образомъ, фактически К. Аксаковъ весьма мало причастенъ дѣлу разрушенія старыхъ эстетическихъ понятій. Но такъ какъ писателя можно осуждать или восхвалять исключительно по его намѣреніямъ, а не по тому, написались ли люди, которые вняли его проповѣди, то послѣ приведенныхъ выписокъ всѣ, которые ставятъ насажденіе утилитарного взгляда на искусство въ вину Добролюбову и Писареву, должны не забывать въ своихъ діатрибахъ и главаря славянофильства—Константина Сергеевича Аксакова. Хронологически онъ раньше провозгласилъ ту теорію служебнаго значенія искусства, которую знаменуется эпоха конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ.

И не только раньше, но отчасти и *разче*, по крайней мѣрѣ сравнительно съ Добролюбовымъ. Добролюбовъ только внутреннимъ смысломъ своихъ статей доказывалъ, что больше всего слѣдуетъ цѣнить въ литературныхъ произведеніяхъ ихъ общественное значеніе, но такъ таки прямо написать, что «общественный элементъ есть существенный въ литературѣ нашей», какъ это написалъ Конст. Аксаковъ, или сочувствовать математику, который требовалъ, чтобы произведеніе искусства что-нибудь «доказывало», до такого ясно выраженного утилитаризма авторъ «Темнаго Царства» не доходилъ.

Что касается общихъ взглядовъ Константина Аксакова на русскую литературу, то они прежде всего заключаются въ бичеваніи подражательности нашей письменности. Начало этой подражательности онъ почему-то ведеть исключительно отъ Петра, хотя ему-ли, какъ знатоку исторіи русской литературы, было не знать, какую первенствующую роль игралъ элементъ подражательности въ нашей

допетровской словесности, чуть-ли не на половину состоявшей изъ прямыхъ переводовъ и передѣлокъ иностранныхъ образцовъ. Въ исторіи «легкаго и веселаго труда подражанія» и въ ходѣ «глотанія готовой, чужими руками изготовленной умственной пищи», въ чемъ повинны «впрочемъ, только верхніе классы», К. Аксаковъ усматриваетъ два периода—до и послѣ Карамзинскій. Въ первомъ мы подражали западно-европейскому классицизму, который «быть въ свою очередь безжизненное поклоненіе древнему миру», и такъ какъ «эта классическая литература Европы, подражая древнему миру, уже лишенному жизни была неподвижна», то и «наша послушная литература, вдвойнѣ подражательная, была въ ту эпоху тоже неподвижна». Карамзинъ «уничтожилъ это двойственное подражаніе и предложилъ лучше подражать самой Европѣ. Тяжесть двойныхъ оковъ была крайне неудобна и съ радостью вняла наша литература гласу нового дѣятеля, нового подражателя. Съ этой эпохи, съ Карамзина, литература наша, на оборотъ, сдѣлалась подвижна въ высшей степени, ибо элементъ подражанія быть не классицизмъ европейскій, а сама западная Европа, въ совокупности всѣхъ своихъ народовъ. Подражать было здѣсь гораздо легче, пріятіе и интереснѣе,—и вотъ дѣло попло живѣе. Переимчивость составила съ этихъ поръ характеристику нашей литературы». Но тутъ-то и кроется источникъ ея крупнѣйшихъ недостатковъ. «Достаточно этой быстроты перемѣнъ для того, чтобы опѣнить и понять смыслъ и достоинство нашей словесной дѣятельности. Мы знаемъ, что серьезный и самобытный ходъ иначе движется, что, при глубинѣ общаго основанія, не легко отдѣлываются отъ одного убѣжденія и принимаютъ другое. Но литература наша собраніе чужихъ формъ, разныхъ отголосковъ, и только. Вотъ почему такъ быстро мѣняются формы, не утвержденные на прочной мысли; вотъ почему безпрестанно переливаются отсвѣты и отблески, лишенные собственаго свѣта и блеска. Таланты, разумѣется, у насъ есть; но мы говоримъ не объ отдѣльныхъ талантахъ, а объ общемъ ходѣ литературы, котораго неизмѣняютъ и таланты.» Представляя затѣмъ перечень литературныхъ направленій послѣднихъ десятилѣтій, критикъ говоритъ: «почти не стоитъ нападать на произведенія того или другаго литературного направленія или школы: не имѣя поддержки внутри, онъ падаютъ собственнымъ безсиліемъ, собственнымъ истощеніемъ». Для современной ему литературы Аксаковъ не дѣлаетъ исключенія. Онъ убѣжденъ, «что и современная ложь ея не замедлитъ обнаружиться и исчезнуть, и если погодить критиковатъ, то какъ разъ и критиковатъ опоздаешь, ибо все падеть само собою».

Но если русская литература полна «лжи», если она «бездонна», какъ увѣряетъ критикъ, то что-же нужно сдѣлать для того, чтобы лживыя и бесплодныя теченія замѣнились точеніями болѣе плодотворными?

На всѣ эти вопросы статья, какъ она ни обширна и детальна, прямого отвѣта не даеть. Какъ и всѣ славянофильскія писанія, статья богата негодованіемъ и критикою, но въ положительной части своей, въ начертаніи программы практической дѣятельности, не идетъ дальше самыхъ общихъ и потому совершенно неопределенныхъ указаний. Нельзя-же въ самомъ дѣлѣ, даже при полномъ желаніи послѣдовать указанію, назвать таковымимъ слѣдующее мѣсто, хотя оно еще самое определенное во всей статьѣ. Критикъ отмѣчаетъ, что мы всегда жили «чужимъ заемнымъ умомъ» и только теперь нашлись люди т. е. славянофилы, которые «догадались, что это не жизнь». «Но гдѣ-же жизнь?» задаетъ вопросъ пророкъ «догадавшагося» направленія?

«Этотъ вопросъ, эта потребность, а сгѣдовательно и возможность жизни, жизни настоящей, самобытной, въ насы пробудилась. Видѣть съ тѣмъ, какъ-бы въ отвѣтъ на вопросъ, вниманіе наше обратилось ко всѣмъ самобытнымъ проявленіямъ русской жизни, къ древней исторіи, къ обычаямъ народнымъ, къ устройству народной общественности, къ языку, ко всему, въ чёмъ высказывается Русь. Хотя и здѣсь различны точки зрѣнія, хотя подражательный взглядъ и здѣсь еще думаетъ удержаться, но уже образовалось цѣлое направленіе, въ сущности очень простое, направленіе, основанное на томъ, что русскимъ надо быть русскими, другими словами, что безъ самостоятельности умственной и жизненной— все ложно: (курсивъ автора). Если самостоятельности въ насы нѣть и быть не можетъ, то подобная истина для насы безполезна и насы не возстановить духовно. Если-же у насы есть самостоятельность и только лишь подавлена и спитъ, то достаточно сознанія въ ея необходимости, чтобы она пробудилась сама. Поднять огромный вопросъ для русскихъ людей, вопросъ: быть иль не быть? Быть-же не собою—для человѣка не значить быть..»

Можно-ли, повторяемъ, извлечь какое-бы то ни было практическое указаніе изъ этого болѣе чѣмъ туманного рецепта? И удивительно-ли, что сейчасъ приведенные мысли Конст. Аксакова пріобрѣли себѣ кое-какихъ приверженцевъ при жизни его и многочисленныхъ послѣ смерти, приверженцевъ—теоретиковъ-же т. е. людей, повторявшихъ слова учителя во всей ихъ туманности и неопределеннности, но совсѣмъ не пріобрѣли себѣ приверженцевъ-практиковъ, которыми въ данномъ случаѣ могли быть писатели—художники?

И вотъ почему нельзя не назвать крайне неудачнымъ пророчествомъ заключительные слова рассматриваемой статьи, которыхъ, кроме того, крайне любопытны, какъ общее резюме отношенія Константина Аксакова къ современной ему литературѣ:

«Что-же скажемъ мы въ заключеніе нашего обозрѣнія современной литературы? Она многоплодна, это не подлежитъ сомнѣнію. Передъ нами множество писателей, и множество произведеній; но нѣтъ основной мысли, которая бы двигала эту массу повѣстей, романовъ, комедій и пр. Въ самомъ этомъ отсутствіи общей мысли есть свой смыслъ. Это отсутствіе общей мысли, эта безполезность талантовъ, выражаютъ, по нашему мнѣнію прекращеніе литературы, начавшейся съ Кантемира, духъ которой въ основаніи былъ—подражательность. Эта литература давала намъ поэтическія произведенія, болѣе или менѣе отвлеченныя, произведенія истинныхъ талантовъ, попавшихъ на общій ложный путь; она давала намъ ихъ, пока не замкнула своего круга, пока не истощила своихъ силъ, пока не поколебалась вѣра въ ея направленіе. Но теперь наступила эта минута, и прежняя литература послѣ полутораста лѣтъ своей дѣятельности, впала въ совершенное безсиліе. На рубежѣ ея стоитъ Гоголь, величайшій писатель русскій, *не договорившій своего слова*, (sic) которое рвалось уже въ новую область. Когда рѣшился задача, чѣмъ стать русская поэзія—это дѣло будущаго. Въ настоящее время передъ нами толпа писателей, покинутыхъ духомъ прежней эпохи, свидѣтельствующихъ собою о прекращеніи цѣлаго направленія. У насъ есть нѣсколько авторовъ съ замѣчательнымъ талантомъ, которые, хотя ничего не измѣняютъ въ общемъ состояніи нашей литературы, не даютъ иного направленія ея ходу, но въ нихъ светится какая-то, чутъ видная, заря литературнаго будущаго дня; она исчезнетъ, какъ скоро появится солнце».

Подъ пояленіемъ солнца тутъ, конечно, разумѣется полное воспринятіе нашимъ художественною литературую славянофильскихъ тенденцій, договариваніе слова, которое не успѣлъ сказать Гоголь, рвавшійся въ «новую область». И если вспомнить, что стремленіе Гоголя въ «новую область» привело къ «Перепискѣ съ друзьями» и къ исканію «положительныхъ» сторонъ русской жизни тамъ, где неотуманный мистицизмъ умъ всего менѣе можетъ ихъ усмотрѣть; если, затѣмъ, бросить хотя-бы самый бѣглый взглядъ на ходъ новѣйшей литературы, то нельзя будетъ не признать, что даромъ предвидѣнія Конст. Сергеевичъ не обладалъ. Цѣлыхъ тридцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ написаны только-что приведенные слова и какъ мало они сбылись. Солнце-то дѣйствительно взошло, но только совсѣмъ не съ той стороны, съ какой его ожидалъ Константинъ Сергеевичъ. Всѣ эти лишенные «основной мысли» и стоявшіе на «ложномъ пути» таланты далеко, далеко ушли отъ той «новой области», куда ихъ звалъ Константинъ Аксаковъ и тѣмъ не менѣе успѣли создать литературу, предъ которой въ изумленіи остановилась даже привыкшая смотрѣть на насъ какъ на варваровъ Западная Европа.

Отъ К. Аксакова-критика перейдемъ къ К. Аксакову историку литературы т. е. къ его магистерской диссертациі, появившійся въ 1846 г. и озаглавленной «Ломоносовъ въ исторіи русской литературы»

и русскою языка. Въ этой области онъ всего менѣе интересенъ. Какъ научное изслѣдованіе книга имѣть весьма мало значенія. Но столь-же мало значенія она имѣть для обрисовки руководящихъ идей Константина Сергеевича. Въ снабженной нѣмецкимъ эпиграфомъ (изъ Гете) диссертациіи своей К. Аксаковъ еще мало похожъ на того пламенного палладина идей славянофильства, какимъ онъ явился чрезъ нѣсколько лѣтъ. Въ гораздо большей степени книга представляеть собою свидѣтельство того огромнаго вліянія, которое имѣли на духовную дѣятельность русской интеллигентіи 40-хъ годовъ идеи Гегеля. Вся обширная диссертациія написана тѣмъ знакомымъ уже намъ гегеліанскимъ жаргономъ, который былъ въ такомъ ходу въ писаніяхъ членовъ кружка Бѣлинскаго, Станкевича и Искандера, гдѣ еще таکъ недавно вращался Аксаковъ. Но помимо жаргона, и вся суть книги гегеліанская, потому что задача автора только въ томъ и состоитъ, чтобы въ исторіи русской литературы вообще и въ исторіи литературной дѣятельности Ломоносова въ частности найти моменты, установленные германскимъ философомъ въ качествѣ абсолютныхъ и непреложныхъ условій всякой исторіи литературы. Благодаря этому пламенному стремленію *urgare in verba magistri* и представить иллюстрацію теорій излюбленнаго учителя, диссертациія крайне поражаетъ современаго читателя. Достаточно прочитать хотя бы слѣдующія строки, которыми молодой магистръ очерчиваетъ кругъ своего изслѣдованія:

«Смотря на Ломоносова, какъ на лицо въ нашей литературѣ, мы виравѣ предложить одинъ вопросъ: Ломоносовъ, какъ моментъ въ исторіи русской литературы, вопросъ, который въ своемъ собственномъ развитіи, вмѣстѣ съ конкретированіемъ самого предмета, является какъ вопросъ: Ломоносовъ въ отношеніи къ языку къ слогу,—и какъ вопросъ: Ломоносовъ какъ поэтъ.

Въ сущности эти три вопроса не что иное, какъ одинъ:

«Ломоносовъ какъ моментъ въ исторіи нашей литературы (курсивъ автора),—вопросъ возможно полный и единственный, который въ своемъ развитіи ставить моменты своего конкретированія, сообразно съ моментами конкретированія самого предмета (ибо вопросъ, изслѣдованіе, есть не что иное, какъ сознаніе самого предмета и имъ условливается) и раздѣлять, такимъ образомъ, диссертaciю нашу на три части, именно:

I. Ломоносовъ, какъ моментъ въ исторіи литературы, моментъ самъ въ себѣ, *in abstracto*.

II. Ломоносовъ въ отношеніи къ языку, къ слогу, моментъ чисто-историческій.

III. Ломоносовъ, какъ поэтъ, гдѣ мы отъ чисто-исторического опредѣленія переходимъ къ нему самому, какъ индивидууму, и гдѣ моментъ получаетъ полнѣйшее конкретированіе и имѣть значение самъ для себя—моментъ личный».

Такимъ тарабарскимъ языкомъ написана сплошь вся диссертациія, имѣющая въ себѣ 517 страницъ. Мы уже нѣсколько разъ старались подчеркнуть, что при всей горячности своего личного

темперамента, Константинъ Аксаковъ быль очень вялымъ писателемъ или, говоря частнѣе, стилистомъ. Но нигдѣ эта вялость изложенія не сказалось такъ рѣзко, какъ въ обсуждаемой нами теперь диссертаци. Она читается съ чрезвычайною скучою и къ ней вполнѣ приложимъ отзывъ, который далъ Бѣлинскій о брошюре Константина Сергеевича, написанной по поводу появленія «Мертвыхъ душъ». Именно о ней-то и должно сказать, что она «вся состоить изъ сухихъ, абстрактныхъ построеній, лишенныхъ всякой жизненности, чуждыхъ всякаго непосредственного созерцанія, и что, по этому, въ ней нѣть ни одной яркой мысли, ни одного теплого, задушевнаго слова, которыми озnamеновываются первыя и даже самыя неудачные попытки талантливыхъ и пылкихъ молодыхъ людей».

Но если современного читателя непріятно поражаетъ внѣшняя сторона диссертаци, то въ такой-же степени его удивляетъ и внутреннее содержаніе ея. Начать съ того, что въ книгѣ, озаглавленной «Ломоносовъ въ исторіи русской литературы и русского языка», Ломоносовъ какъ-то совершенно ни при чемъ. Архитектура книги такова: обширное вступленіе, занимающее собою 64 страницы, почти исключительно посвящено изложенію гегеліянскихъ представлений объ искусствѣ, изложенію, сказать кстати, до нельзя туманному и мѣстами просто непонятному. Что напр. можно понять изъ такой фразы:

«стиль вообще показываетъ тайное: сочувствіе съ искусствомъ самого материала, являетъ точку ихъ соприкосновенія, чрезъ которую материал теряетъ свою тяжесть и грубость, и искусство опредѣляется?»

Послѣ введенія философскаго, идетъ введеніе историко-литературное, въ которомъ авторъ дѣлаетъ обзоръ языка произведеній до-ломоносовскихъ periodovъ русской письменности. Это историческое введеніе занимаетъ около 250 страницъ. Такимъ образомъ, рѣчь о Ломоносовѣ начинается только съ 327 стр. А такъ какъ съ 436 стр. начинаются приложения (выписки изъ грамотъ, и разныхъ литературныхъ произведеній), то и выходить, что собственно Ломоносову изъ 517 страницъ книги удѣлено 110.

Но даже и эти 110 страницъ не всѣ посвящены специально Ломоносову, а ровно на половину состоять изъ разныхъ разсужденій эстетического и философского содержанія. Такимъ образомъ, въ общемъ получается работа, весьма мало похожая на тѣ точныя, исчерпывающія предметъ, историко-литературные изслѣдованія, къ которымъ насы пріучила университетская жизнь послѣднихъ десятилѣтій. Отмѣтимъ уже, кстати, что диссертаци не обнаруживаетъ и особенной эрудиціи автора. Всю жизнь свою разбрасывавшійся въ разныя сто-

роны, Константи́нъ Сергеевичъ, вообще говоря, бытъ человѣкъ съ обширными знаніями. Но собственно специальныхъ знаній въ одной какой-нибудь области у него было не много. Такъ, если мы присмотримся къ источникамъ, которые цитируетъ магистрантъ, то они всего менѣе поразятъ насъ своею многочисленностью. 1-ая часть «Актовъ Историческихъ», 1-ая часть «Собрания Государственныхъ Грамотъ», 1-ая и 4-ая ч. «Актовъ, Собрани. Археограф. Комміssіей», Сборникъ Кирши Данилова,— вотъ почти единственныя пособія, которыми магистрантъ пользовался много. А если къ нимъ прибавить еще около десятка лишь эпизодически цитируемыхъ книгъ, то мы получимъ и весь научный багажъ автора. Правда магистрантъ ссылается иной разъ на Остромирово Евангелие, на Лѣтопись Нестора, на «Сказанія» Князя Курбского, на проповѣди єеофана Прокоповича, на сочиненія Кантемира и, наконецъ, Ломоносова, но нельзя-же по поводу этихъ извѣстныхъ каждому студенту вещей серьезно говорить объ «эрудиціи».

Но если въ общемъ относительно диссертациі Конст. Сергеевича можно сказать, что она не блещетъ эрудиціей, то въ частности по поводу той части ея, где рѣчь идетъ объ эпохѣ Петра т. е. эпохѣ наиболѣе важной для предмета рассматриваемаго изслѣдованія, можно прямо сказать, что эрудиція автора недостаточна. Мы не станемъ, конечно, сравнивать изученіе магистрантомъ Петровской эпохи съ тѣмъ знаніемъ ея, которое напр. обнаружилъ въ своей «Наукѣ и Литературѣ при Петре»—Пекарскій. Но и помимо паралели съ Пекарскимъ, въ сравненіи съ изслѣдованіемъ котораго диссертациі К. Аксакова представляется какимъ-то школьническимъ упражненіемъ, помимо, говоримъ мы, такого сравненія, нельзя не признать, что изученіе эпохи Петра по тѣмъ счетомъ *семи источникамъ*¹⁾, которые цитируетъ магистрантъ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть признано достигающимъ цѣли.

И, надо думать, этимъ-то болѣе чѣмъ поверхностнымъ изученіемъ эпохи, породившой писателя, разсмотрѣніе дѣятельности котораго составляетъ предметъ диссертациі, и объясняется то, что характеристика Ломоносова поражаетъ своею банальностью. То, что говорить магистрантъ о даровитости Ломоносова, объ историческихъ его заслугахъ въ дѣлѣ выработки русского стиха, о разнообразіи его дарованій и т. д. все это до такой степени школьнически-извѣстно, хотя

¹⁾ «Полное Собр. Закон. Россійскихъ» т. IV и V, проповѣди Стефана Яворскаго, Слова и Рѣчи єеофана Прокоповича, Рѣчи Гавриила Бужинскаго, Сочиненія Кантемира, духовное стихотвореніе Петра Буслаева и ода о сдачѣ Даандига Тредыковскаго.

прикрыто часто весьма туманною гегеліянскою тарабарщиною, что ради такихъ ничтожныхъ результатовъ рѣшительно не стоило изготавлять книгу въ 500 страницъ.

Есть, впрочемъ, въ диссертациі и не банальные вещи. Но лучше-бы ихъ вовсе не было. Болѣе чѣмъ неудачно магистрантъ слѣдующими притянутыми за волосы доводами старается оправдать Ломоносова отъ обвиненій въ томъ, что онъ ввѣль въ русскій синтаксисъ латино-нѣмецкую конструкцію:

«Мы знаемъ» говорить онъ «что многіе, или лучше общее мнѣніе думаетъ, что синтаксисъ Ломоносова не русскій, что онъ сформированъ по латинскому и частію по нѣмецкому; но мы невольно спрашиваемъ: гдѣ-же критеріумъ этого сужденія? На чѣмъ опиралась, произноситъ оно свой приговоръ: гдѣ написо синтаксисъ русскій, противъ котораго погрызъ Ломоносовъ? Намъ скажутъ разговоръ, живая рѣчъ; но между разговоромъ и письменностью лежитъ необходимая разница. Ихъ нельзя сравнивать между собою. Языкъ, являющійся въ разговорѣ, долженъ быть основаніемъ синтаксиса языка письменнаго, какъ мы сказали выше; но онъ не стоитъ съ нимъ рядомъ; это два, одинъ за другимъ слѣдующіе момента въ разговорѣ, какъ сравненіе, не можетъ служить критеріумомъ. Что же встрѣтилъ Ломоносовъ и въ томъ отношеніи, въ которомъ разговоръ важенъ и имѣть значеніе для синтаксиса высшаго то есть какъ основаніе его? Что вообще зачѣль Ломоносовъ, чтобы постигнуть, создать или, лучше, вывести русскій синтаксисъ? Что нашелъ онъ въ томъ національномъ языкѣ? Въ русскомъ языкѣ нашелъ онъ, въ томъ національномъ видѣ, въ которомъ онъ былъ, полное разнообразіе оборотовъ, *полную синтаксическую свободу*. Это было основаніемъ, собственностю русскаго синтаксиса».

Оправданіе очень оригинальное. Если синтаксическая свобода была отличительнымъ качествомъ до-ломоносовскаго языка, то зачѣмъ-же было накладывать на него оковы тяжеловѣсной латино-нѣмецкой конструкції? Магистрантъ, впрочемъ, и самъ, видимо, понималъ малую убѣдительность своей защиты, и потому чрезъ нѣсколько страницъ онъ выдвинулъ другой доводъ, крайне любопытный въ его устахъ. Согласно гегеліанской философіи онъ старается доказать, что всякий языкъ сначала, «въ первомъ своемъ моментѣ», когда онъ нуженъ только какъ средство разговора о предметахъ ежедневнаго быта того или другого народа, есть явленіе «случайное» т. е. исключительно одной національности принадлежащее. Но затѣмъ «языкъ всякаго народа отрывается отъ сферы случайной жизни, переходить въ сферу общаго и отъ сферы разговора восходить до сферы письменности». «Синтаксисъ и вообще слогъ этой высшей сферы и имѣть въ себѣ общее, собственно свойственное этой сферѣ, и слѣдовательно встрѣчающееся естественно во всѣхъ языкахъ». Вотъ почему «общее латинской конструкціи вслѣдствіе закона, только что показанного, доступно языку русскому». Ломоносовъ, слѣдовательно, имѣть право вводить «латинизмы», въ созданный имъ первымъ русскій письменный языкъ:

«Языкъ русский могъ согласно съ существомъ своимъ подняться въ высшую сферу языка, сферу общаго, открывающуюся тогда, когда общее пробуждается въ народѣ, и онъ возвысится до нея; слѣдовательно сфера эта и формы общія языка принадлежать ему потому уже самобытно; въ существѣ его лежитъ возможность этихъ формъ, этого синтаксиса; въ немъ уже,—и въ национальной его сферѣ, и такъ-же въ отвлеченномъ развитіи мысли въ словѣ,—видимъ мы эти начала, и видимъ главное—свободу синтаксиса. Ломоносовъ былъ гениемъ языка, возведшимъ его въ эту высшую сферу; дѣло его было свободно, и формы, принятыя языкомъ, принадлежали уже ему вполнѣ, вытекали изъ его духа». Не отрица затѣмъ того, что «фразы Ломоносова имѣютъ отпечатокъ латинской, собственно въ отѣнкѣ вѣнѣніемъ; что Ломоносовъ обращалъ вниманіе на латинскій языкъ, его избиралъ, иногда по крайней мѣрѣ, примиѣромъ своимъ», магистрантъ находитъ только, что «въ образѣ этого языка видѣлъ и находилъ онъ общее; онъ бралъ эти обороты, какъ выражающія общее въ языкѣ, обороты высшей его сферы и свойственные слѣдовательно языку русскому. Онъ бралъ ихъ, какъ достояніе языка русскаго и потому еще, что языкъ русскій, какъ именно русскій, самобытно имѣть ихъ или подобные имъ въ себѣ, и взятое повидимому изъ чуждаго не было чуждое; онъ занималъ съ полнымъ правомъ собственности, и оборотъ какъ бы вновь выросталъ на русской почвѣ,�елъ изъ русскаго и съ помощью полной его свободы становился русскимъ».

Такимъ образомъ, вся защита Ломоносова отъ обвиненій въ на-
сажденіи латинской конструкції сводится не къ отрицанію самого
факта, который слишкомъ очевиденъ, а къ сообщенію ему путемъ
чисто-философскихъ построеній иного характера. Но могутъ-ли фи-
лософскіе доводы имѣть значеніе въ такой точной, основанной на
строго-фактическихъ данныхъ наукѣ, какъ языкоznаніе? То, что го-
ворить магистрантъ объ общности синтаксиса всѣхъ языковъ, до-
шедшихъ въ свое мѣсто историко-культурномъ развитіи до фазиса пись-
менности, все это, еслибы даже было вѣрно, требовало для доказа-
тельства своей справедливости рядъ сравнительныхъ сопоставленій
синтаксиса различныхъ языковъ. Но магистрантъ и попытки не
сдѣлалъ такого фактическаго подтвержденія своего положенія. И вотъ
почему его диссертациія, рѣшительно ничего новаго не вносящая въ
исторической своей части, а въ филологической дающая только произ-
вольныя философствованія *ad majorem gloriam гегеліанства*, въ общемъ
не представляла собою никакого вклада въ исторію русской литературы.
Неудивительно потому, что она такъ радикально забыта теперь,
что ее даже не всегда упоминаютъ въ библіографіи литературы,
трактующей о Ломоносовѣ.

Чтобы покончить съ диссертацией Констант. Сергеевича, отмѣ-
тимъ въ ней еще кое-что, очень любопытное для изученія хода ум-
ственныхъ настроеній рассматриваемаго нами писателя. Всякаго, кто
имѣеть представленіе о Константинѣ Аксаковѣ, какъ о главарѣ
славянофильтва, поразили, вѣроятно, цитаты изъ диссертациіи его

о Ломоносовѣ, въ которыхъ такъ настойчиво говорится объ общности русской и западно-европейской духовной жизни. Настойчивость эта весьма мало вѣжется съ мыслями о полной «самобытности» русского духа, который составляютъ основной тезисъ большинства другихъ писаній Константина Сергеевича. Но еще менѣе вѣжется съ общимъ складомъ міросозерцанія Константина Аксакова восторженное отношеніе къ Петру, которое составляетъ основную черту диссертациіи о Ломоносовѣ. Просто глазамъ своимъ не вѣришь, читая такую характеристику Петровской эпохи:

«Для Россіи настало время рѣшительного освобожденія отъ исключительной национальности, рѣшительного перехода въ другую высшую сферу, рѣшительного преобразованія. Началась страшная борьба. Съ одной стороны исключительная национальность, опиравшаяся на уже образовавшуюся положительную силу стрѣльцовъ, старовѣровъ, имѣвшая съ собою, если не весь, то большинство народа. Она силилась удержать свои права, сохранить жизнь по старинѣ, и, лишенная уже жизни внутри, она хотѣла удержать ея прежній образъ, сохранивъ развѣ одинъ призракъ прежніго опредѣленія, навсегда утратившаго свою дѣйствительность; она упорно противилась новому свѣту и поддерживала ложную свою необходимость. Пробужденная рѣшительнымъ ударомъ, она совокупила всѣ свои силы, поднялась и начала ожесточенный бой за свою минимую современность.—Съ другой стороны, противъ народа, упорствовавшаго въ своемъ национальномъ опредѣленіи,—Петръ, опиравшійся на дѣйствительную потребность русскаго народа, сему послѣднему самому можетъ быть неизвѣстную. Онъ рѣшительно возсталъ на эту национальность, сокрушая прежнее, только мѣшившее уже свободному развитію народа. Раскрывая передъ нимъ новую сферу жизни, онъ круто поворачивалъ въ противоположную сторону, принималъ опредѣленія другихъ народовъ, обильно наполнялъ чуждымъ предѣлами Россіи, презирая страхъ национальности, только въ одномъ огражденіи находившей свое спасеніе; напротивъ, онъ принималъ отъ Запада все, къ чему только дошелъ Западъ въ своемъ развитіи, и настежь распахнулъ для него ворота Россіи, становясь съ нею, какъ была она дотолѣ и тогда, въ рѣзкую противоположность. Дѣйствительность дѣла его побѣдила. Въ страшной кровавой борѣ паля навсегда исключительная национальность Россіи; наступила новая эпоха».

Болѣе восторженного панегирика не могъ-бы написать самый взятый западникъ! Но именно оттого-то было-бы ошибочно строить на немъ какіе-бы то ни было выводы объ общемъ строѣ міровоззрѣнія Константина Аксакова. Онъ просто указываетъ, что въ началѣ сороковыхъ годовъ, къ которому относится диссертациія¹⁾, славянофильская доктрина не дифференцировалась еще окончательно, а въ частности Константинъ Аксаковъ, хотя уже находился въ открытой враждѣ съ членами кружка Бѣлинского и Станкевича, но вѣкоторыя изъ прежнихъ своихъ симпатій еще удерживались въ полной силѣ.

¹⁾ Она писалась въ 1842, 43 гг.

Диссертација о Ломоносовѣ только на половину относится къ исторіи литературы. Другая-же, и притомъ большая половина ея, именно обзоръ языка произведений до-ломоносовскаго периода, имѣть характеръ чисто-филологическій и составляеть, такимъ образомъ, одно изъ звеньевъ цѣлого цикла филологическихъ работъ, которыми Константина Сергеевича занимался въ теченіи всей своей жизни. По свидѣтельству близкихъ къ нему лицъ, филология была любимою науковою Константина Аксакова, начиная съ 15 лѣтъ. Онъ ей отдавался съ тою страстью, безъ которой для этого удивительно-цѣльнаго человѣка не были мыслимы сколько-нибудь серьезныя занятія.

Но не только въ филологической занятіи свои вносили Константина Сергеевича страсть. Онъ вносили ее также въ методъ своихъ лингвистическихъ изслѣдований, которыя лишь по стольку его интересовали, по скольку онъ подтверждалъ тезисы его общественнаго міросозерцанія. Но именно оттого-то эти изслѣдованія весьма мало напоминаютъ заправскія филологическая сочиненія и, какъ все что писалъ Константина Аксаковъ, представляютъ собою рядъ публицистическихъ статей на любимыя темы изслѣдователя. Могло-ли оно и быть иначе, когда Константина Сергеевича приступалъ къ своимъ филологическимъ работамъ съ такими понятіями о наукѣ вообще и о филологии въ частности:

„Всякая живая наука“ говоритъ онъ въ предисловіи къ „Опыту русской грамматики“, изданному имъ незадолго до смерти (1860) «то-есть: наука, имѣющая дѣло съ жизнью, имѣетъ дѣло съ таинствомъ; такова и филология, предметъ которой — слово, этотъ сознательный снимокъ видимаго міра, эта воплощенная мысль. Преслѣдуя жизнь въ той или другой области ея проявленія наука доходитъ до предѣловъ таинственнаго, до тѣхъ предѣловъ, откуда внутреннее становится вѣшнимъ, духъ осознательнымъ, безконечное — конечнымъ. Наука думаетъ иногда выйти изъ затрудненія, принявъ анатомическое воззрѣніе, сдѣлаться материальною, сказать, что вѣтъ духа и души, и недостойно успокоиться такимъ воззрѣніемъ, отрицательнымъ и тусклымъ, при которомъ вовсе непонятна и жизнь, и смыслъ ея, и то, что даже просто угадывается вѣщая душа наша. Но, слава свѣту сознательной мысли! Разумъ самъ обличаетъ ложь всѣхъ материальныхъ теорій, на немъ по видимому основанныхъ, прогоняетъ ихъ тяжелую тьму, самъ низвергаетъ всякое богослуженіе себѣ, самъ знаетъ свои предѣлы и признаетъ непостижимое, открывающееся откровеніемъ духу человѣческому.

Наука есть сознаніе общаго въ явленіи, цѣлого въ частности; зная свою предѣлы и доходя до нихъ, наука должна необходимо допустить таинство жизни, не подлежащее уже ея осознанію, таинство, которое можетъ она угадывать и опредѣлять приблизительно, но которымъ овладѣть она не въ силахъ, ибо это — таинство жизни». «И такъ, мы допускаемъ въ наукѣ (а слѣдовательно и въ филологии), на границѣ ея, свой таинственный, такъ сказать мистический элементъ, къ которому необходимо примыкаеть вся дѣятельность нашего разума, какъ мы и стараемся объяснить это».

Можно быть разного мнѣнія о психологической теоріи, легшей въ основаніе только-что приведенного взгляда. Но съ однимъ непремѣнно согласится всякий безпристрастный читатель, именно съ тѣмъ, что такое воззрѣніе на науку, какое было у К. Аксакова, даетъ самый широкій просторъ элементу, всего менѣе терпимому въ настоящей наукѣ—субъективности. Тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о неподчиняющихся анализу чувствахъ и мистицизмѣ, какъ одноть изъ главныхъ факторовъ, тамъ можетъ быть мѣсто чему угодно—вѣрѣ, дару проникновенія въ непостижимое и т. п., крайне-субъективнымъ вѣщамъ, но никакъ не наукѣ, которая только по столько и наука, поскольку она объективно и такъ сказать нелицепрѣятно, изслѣдуется и констатируется. И добро-бы еще Константина Сергеевича говорилъ о теологии или философіи, гдѣ дѣйствительно вѣра и всякия иные исключительно-субъективные факторы играютъ очень видную роль. А то припугивать мистицизмъ къ филологіи, этой точнѣйшей изъ всѣхъ «словесныхъ» наукъ, знающей только краснорѣчіе фактъ и всегда основывающей свои законы на обильномъ количествѣ тщательно-сдѣланныхъ наблюдений.

И оттого-то, повторяемъ мы, страстная филологическая діатрии Конст. Аксакова весьма мало напоминаютъ заправскія филологическія сочиненія, гдѣ о личности автора, о его вкусахъ, симпатіяхъ или антипатіяхъ, политическихъ или общественныхъ убѣжденіяхъ никогда и рѣчи не можетъ быть.

У Константина-же Сергеевича все это какъ на ладони.

Начать съ того, что даже въ самые мелочные, чисто-спеціальные вопросы онъ вносилъ весь запасъ своего обычнаго страстнаго отношенія. Какъ уже замѣтилъ П. А. Безсоновъ, Константина Аксаковъ «особенно любилъ звукъ *а*, играющій столь видную роль у нась и столь много способствующій розысканію филологическому: въ ту-же мѣру, онъ *возненавидѣлъ* противника—звукъ *и*, тою ненавистью, которую можетъ питать добрѣйшее сердце къ чему-либо гнусному. Онъ расточалъ этому врагу прозвища «надойднаго», «назойливаго», «вторгавшагося пролазы», «услужливаго», «рабскаго»; онъ перенесъ сюда смыслъ приторной угодливости, чуждый собственному его лицу и проникшій къ намъ въ видѣ поддакиванья, какъ рабское «да-са», «нѣть-са»: потому, какъ самъ говорилъ обыкновенно съ твердостью «да» или «нѣть», такъ навѣрное можно было считать признакомъ, что Аксаковъ недоволенъ или гнѣвенъ, когда онъ начиналъ употреблять «да-са», «нѣть-са».

П. А. Безсоновъ констатируетъ приведенные факты съ чувствомъ умиленія, видя въ нихъ доказательство того, что Константина

Сергѣевичъ держалъ свое знамя «грозно и честно». Умиленіе вполнѣ законное. Трудно, дѣйствительно, представить себѣ болѣе трогательное проявленіе душевной цѣльности и чистоты, какъ эту личную ненависть и любовь къ какимъ-нибудь суффиксамъ. Но нужно ли много доказывать, что такое страстное отношеніе къ дѣлу, неизбѣжно ведеть и къ страстному желанію отыскать непремѣнно то, что изслѣдователю хочется отыскать. А при такомъ желаніи, какіе-же мыслимы истинно-научные, т. е. соотвѣтствующіе дѣйствительности результаты? И вотъ почему, извѣстный чешскій ученый Гатала имѣлъ возможность сказать про «грамматику» Константина Аксакова:

«Покойный рѣдко гдѣ подкрѣпляетъ взглѣды примѣрами, почерпнутыми изъ письменныхъ и устныхъ памятниковъ языка русскаго, напротивъ обычно ограничиваются такими, которыхъ самъ себѣ понавыдумывалъ (navymyslel)».

Это пришлось сказать о Константинѣ Сергѣевичѣ! Онъ, который не задумываясь отдалъ бы жизнь за истину, «понавыдумывалъ»! И однаже оно такъ. Такого мнѣнія не одинъ Гатала. И Буслаевъ, и Срезневскій, въ свое время писавшіе о филологическихъ работахъ К. Аксакова, всѣ они того мнѣнія, что труды его полны крайней односторонности и притягиванія за волосы фактovъ къ предвзятымъ теоріямъ.

Къ какихъ-же именно теоріямъ?

Главнымъ образомъ о вредоносномъ вліяніи на русскую грамматику «иностранныхъ возврѣній». Для того, чтобы имѣть такія иностранныя возврѣнія, вовсе не нужно быть по Аксакову дѣйствительнымъ иностранцемъ.

«Нѣть сомнѣнія», говорить Константинъ Сергѣевичъ въ началѣ своего изслѣдованія о русскихъ глаголахъ, «что иностранцамъ трудно постигнуть языкъ, имъ чуждый; особенно нѣмцамъ трудно постигнуть языкъ русскій: но едва-ли легче понять его и русскому, руководимому иностраннымъ возврѣніемъ вообще, хотя бы онъ и не былъ послѣдователемъ именно того или другого иностранца. Не въ томъ главное дѣло, иностранецъ-ли по происхожденію сочинитель, но въ томъ, иностранецъ-ли онъ по возврѣнію».

Эти-то иностранныя возврѣнія принесли большой вредъ русскому языкознанію:

«Вмѣстѣ съ нашествиемъ иноземнаго вліянія на всю Россію, на весь ея бытъ, на все начала, и языкъ нашъ подвергся тому-же; его подвергся подъ формы и правила иностранной грамматики, ему совершенно чуждой, и какъ всю жизнь Россіи, вѣдомы и его коверкать и объяснять на чужой ладъ. И для языка должно настать время освободиться отъ этого стѣсняющаго ига иностранного. Мы должны теперь обратиться къ самому языку, изслѣдоввать, сознать его и изъ его духа и жизни вывести начала и разумъ его, его грамматику. Она не будетъ противо-

рѣчить грамматикѣ общечеловѣческой, но только и строю общей, а совсѣмъ не общечеловѣческой — выразившейся извѣстнымъ образомъ у другихъ народовъ и только представляющей свое самобытное проявленіе этого общаго... Въ ней, въ русской грамматикѣ, можетъ быть, вполнѣ и глубже явится оно, нежели гдѣ-нибудь. Кто изъ насъ станетъ отвергать общее, человѣческое? Русскій на него самъ имѣть прямое право, а не透过 посредство какого-нибудь народа; оно самобытно и самостоятельно принадлежитъ ему, какъ и другимъ, и кто знаетъ? можетъ быть *ему болѣе*, нежели другимъ, и можетъ быть міръ не видалъ еще того общаго, человѣческаго, какое явить великая славянская, именно русская природа... Да возникнетъ-же вполнѣ вся русская самобытность и національность! Гдѣ-же національность шире русской? Да освободится-же и языкъ нашъ отъ наложенного на него ига иноземной грамматики, да явится онъ во всей собственной жизни и свободѣ своей» (т. II, стр. 405, 406).

Да, намъ непремѣнно нужно внѣсти свои русскія возврѣнія въ русское языковданіе, которыя должны состоять въ томъ, чтобы мы отказались отъ стремленія непремѣнно отыскать у себя такія-же грамматическая формы, какъ въ чужихъ языкахъ. Такъ по вопросу о глаголахъ

«нѣкоторые теоретики, сливая всѣ глагольныя формы¹⁾», съ присоединеніемъ даже иныхъ предложныхъ въ дно спряженіе, богатое временами, быть можетъ, думаютъ, что это служить къ чести русского языка, что-де не только въ языкахъ чуждыхъ, но и у насъ есть полное спряженіе, что нашъ языкъ въ этомъ имѣ не уступаетъ, что у насъ, у одного и того-же глагола, есть всѣ времена. Но здѣсь видны ошибочное чувство и ошибочная мысль. Развѣ только въ томъ состоять честь и слава, чтобы повторить у себя чужое, чтобы пройти по чужой дорогѣ не хуже другихъ? Развѣ нельзя идти по своей дорогѣ, развѣ нельзя, не имѣя чужаго, имѣть вмѣсто него *своё*, совершенно особенное, отличное отъ всѣхъ? Развѣ это свое не можетъ быть еще лучше, еще достойнѣе, и развѣ тогда не больше славы? Но, какъ-бы то ни было, мы должны руководиться, при нашихъ изслѣдованіяхъ, не тѣмъ, чтобы стараться отыскать у насъ всѣ чужія особенности, какъ-бы повидимому онѣ ни были хороши—въ этомъ случаѣ мы впадемъ въ ошибку, чemu примѣръ всѣ наши грамматики, а тѣмъ, чтобы отыскать и узнать свое, какое-бы оно ни было,—тогда мы придемъ къ истинному взгляду» (т. II, стр. 410, 411).

И тѣмъ болѣе все это необходимо, что русскія грамматическая формы, по мнѣнію Константина Сергеевича, гораздо совершеннѣе. «Я нисколько не завидую другимъ языкамъ», говорилъ онъ въ книжкѣ о глаголахъ, «и не стану натягивать ихъ поверхностныхъ формъ на русскій глаголь».

Таково основное направленіе филологическихъ стремленій Константина Сергеевича. Въ примѣчаніи мы даемъ нѣсколько специальныхъ деталей практическаго осуществленія ихъ²⁾. Здѣсь-же скажемъ объ общемъ характерѣ этого осуществленія. •

¹⁾ Т. е. виды глагола *двигу*, *двигаю*, *двигиваю*.

²⁾ Особенно выдается стремленіе Конст. Аксакова отстоять самостоятельность

Не имѣютъ они сколько-нибудь видной научной цѣнности и не принадлежитъ Константина Аксаковъ къ авторитетнымъ дѣятелямъ русской филологии! Мы бы могли привести въ подтверждение сказанного отзывъ такого первокласснаго представителя русскаго языкоznанія, какъ Буслаевъ, который упрекалъ Константина Аксакова и въ сбивчивости, и въ поверхности, и даже въ отсутствіи «надлежащаго запаса этимологическихъ и историческихъ (о языкѣ) свѣ-

русскаго глагола, который «управляетъ съ категоріею времени совершенно самостоятельно и вовсе не похоже на глаголы другихъ языковъ», именно вотъ какимъ образомъ:

«Глаголъ въ русскомъ языкѣ выражаетъ самое дѣйствіе, его сущность. Отъ качества дѣйствія дѣлается уже заключеніе о времени. Поэтому и формами глагола обозначается самое дѣйствіе, время же въ немъ есть дѣло употребленія; это употребленіе основано на соотвѣтствіи глагольныхъ формъ съ временами. Неопредѣленное дѣйствіе, съ точки зрѣнія времени, естественно является неопределено продолжающимся; поэтому *дѣяніе* образуетъ *время настояще*. Дѣйствіе какъ мгновеніе, напротивъ, длиться не можетъ, следовательно, не можетъ быть настоящимъ; понятие въ минуту своего проявленія, оно является мгновенно наступающимъ, и потому относительно времени, принимается и употребляется, какъ будущее время, напр.: *двигну*. Это понятно: если дѣйствіе, какъ мгновеніе, не можетъ проявиться въ настоящемъ, то само собою разумѣется, оно можетъ проявиться только въ будущемъ или прошедшемъ; но прошедшее (о немъ надѣемся (пять сказать ниже) уже не есть дѣйствіе, не есть глаголь; стало быть, остается одно будущее. Такъ какъ въ русскомъ глаголѣ (что уже было замѣчено выше) главное дѣло—опредѣленіе самого дѣйствія, а время есть только выводъ, заключеніе, то поэтому дѣйствіе, и неопределено, и мгновенное, выражается независимо отъ времени, придавая такую жизнь и силу русской рѣчи, и ставя въ недоумѣніе нашихъ филологовъ. Что касается до прошедшаго дѣйствія, то оно не есть дѣйствіе по понятію русскаго языка, и это очень вѣрно. Въ самомъ дѣль, какъ скоро дѣйствіе прошло, гдѣ-же дѣйствіе? его нѣть; остается тѣтъ, кто совершилъ дѣйствіе, предметъ изъ котораго произтекло оно и въ которомъ пребывало; въ такомъ случаѣ все значеніе дѣйствія переходитъ на предметъ, дѣйствительно или отвлеченно представляемый, и становится уже *качествомъ предмета* или *прилагательнымъ*. Поэтому прошедшее время въ нашемъ языкѣ не имѣетъ соотвѣтственной глагольной формы, но форму отлагольного прилагательного или причастія. Всѣ степени или моменты дѣйствія имѣютъ, какъ и слѣдуетъ, свое прошедшее, ибо всякое дѣйствіе можетъ перестать; поэтому всѣ формы глагола, выражающія эти степени, имѣютъ отъ себя форму прошедшаго,—отлагольное прилагательное (*двигалъ*, *двигнулъ*, *двигивалъ*). Дѣйствіе-же, какъ рядъ моментовъ (*двигиватъ*) необходимо является только въ прошедшемъ (*двигивалъ*). Въ настоящемъ оно не можетъ быть представлено; ибо дѣйствіе опредѣленное, дѣйствіе, какъ осуществленные моменты, не можетъ длиться, не можетъ быть въ настоящемъ, которое, какъ скоро оно понятно не отвлечено, а дѣйствительно,—не существуетъ, оно есть только невидимый рѣзецъ, дѣлящий дѣйствіе на прошедшее и будущее. Въ будущемъ дѣйствіе, какъ рядъ моментовъ, также представлено быть не можетъ; ибо дѣйствіе грядущее или наступающее, выходящее изъ неопредѣленности, является при выраженіи всегда какъ *одинъ моментъ*; оно вы-

дѣній». Но такъ какъ Буслаевъ относился неодобрительно къ чрезмѣрному стремлению Константина Сергеевича отстаивать нашу национальную самостоятельность тамъ, гдѣ въ этомъ едва-ли предстоитъ серьезная необходимость, и, слѣдовательно, его неодобрение можетъ быть отнесено не на счетъ дѣйствительной научной малоцѣнности филологическихъ трудовъ Аксакова, а на счетъ непріязни къ славянофильству, то вотъ отзывы Срезневскаго. По поводу книжки о глаголахъ онъ писалъ:

«Разсужденіе г. Аксакова не филологическое, а философское; если оно пробуждаетъ мысль, то и достигаетъ своей цѣли; а едва-ли можно сказать, что оно не пробуждаетъ мысли. Нельзя впрочемъ не пожалѣть, зачѣмъ оно не филологическое, зачѣмъ авторъ не далъ мѣста разбору употребленія глаголовъ въ древнемъ славянскомъ языѣ по нѣсколькимъ его нарѣчіямъ, и между прочимъ въ памятникахъ переводныхъ, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ переводчики отступали отъ дословности перевода».

Пять лѣтъ спустя, когда вышелъ первый выпускъ «Русской грамматики», Срезневскій опять подчеркивалъ способность К. Сергеевича

развившемся слѣдующемъ моментѣ мы говорить еще не можемъ, ибо его еще нѣть; онъ таится въ безразличной отвлеченной силѣ дѣйствія. Рядъ моментовъ можетъ образоваться тогда, когда является рядъ выраженныхъ, слѣдовательно совершившихся, бывшихъ, прошлыхъ моментовъ. Поэтому дѣйствіе, какъ рядъ моментовъ, понимается и употребляется, относительно времени, только какъ прошедшее, и слѣдовательно, въ глаголѣ, не имѣя собственно глагольной формы, имѣть только форму прошедшаго, т. е. форму отглагольного прилагательного, напр. *денивалъ*.

И такъ, уже съ первого взгляда видно, что Русскій языкъ совершенно особенно и самостоятельно образовалъ глаголь. Языкъ нашъ обратилъ вниманіе на внутреннюю сторону или качество дѣйствія, и отъ качества уже вывелъ, по соответствію, заключеніе о времени.—Такой взглядъ несравненно глубже взгляда другихъ языковъ. Вопросъ качества, вопросъ: *какъ?* есть вопросъ внутренний и обличаетъ взглядъ на сущность самого дѣйствія; вопросъ времени, вопросъ: *когда?* есть вопросъ поверхностный и обличаетъ взглядъ на вѣнчшее проявленіе дѣйствія.

И такъ, временѣ въ Русскомъ глаголѣ вовсе нѣть. Каждая форма глагола, выражая опредѣленіе самого существа дѣйствія, имѣть только отношеніе къ соответствующему, приличному ей, времени. Форма глагола неопределенная относится ко времени настоящему, форма *мгновенная*—къ будущему, форма *многомгновенная*—только къ прошедшему. Прошедшее, какъ превратившееся дѣйствіе и потому уже не какъ глагольное форма, а отглагольная прилагательное, идетъ во всѣмъ формамъ глагола; но при послѣдней оно исключительно.

Вотъ наша общая мысль о Русскомъ глаголѣ. Вопросъ о временахъ устраиваетъ. Поэтому, съ одной стороны, мнѣніе наше противоположно мнѣнію послѣдователей Ломоносова, принявшихъ столько временѣ въ Русскомъ глаголѣ, и отъ того смѣшившихъ въ немъ опредѣленія самого дѣйствія. Съ другой—опровергается мнѣніе Фатера, Таппе и ихъ послѣдователей, раздѣлившихъ спряженіе на отдѣльные глаголы и сохранившихъ категорію времени.—Нѣть, всѣ эти формы,—формы одного и того же глагола, но формы не времени, а качества дѣйствія; понятіе же времени, какъ сказано есть выводное изъ качества дѣйствія.

«вызывать въ читатель силу наблюдательности», говорилъ о «само-бытности» авторскаго мышленія и его «независимости» умственной, о «чутьѣ» языка, которымъ авторъ «часто замѣняетъ наблюдательность» и вслѣдъ затѣмъ прибавлялъ: «несмотря на это, едва-ли нужно пожелать, чтобы и слѣдующіе выпуски этой книги были совершенно таковы, какъ первый. Толи пожелають отъ нихъ всѣ, а я со своей стороны позволяю желать себѣ»

— Чтобы во всѣхъ подобныхъ произведеніяхъ теорія языка была строго выводима исключительно изъ однихъ наблюденій и чтобы эти наблюденія были производимы не надъ какими нибудь избранными явленіями, и на сколько можно болѣе были разнообразны;

— Чтобы чутые свойства языка было строго сдерживаемо также въ предѣлахъ, допускаемыхъ наблюденіями, и укрѣплялось изслѣдовательностью: самъ въ себѣ человѣкъ легко можетъ смѣшать дѣйствительное чутье съ тѣмъ, что не чутье, а только случайное мнѣніе, выведенное изъ немногихъ данныхъ, и опровергаемое другимъ;

— Чтобы наблюденія были не только производимы полно, но представляемы читателю для того, чтобы онъ могъ положительнѣе изучить исходъ наблюденій».

Нужно знать язвительность покойнаго Измаила Ивановича, чтобы тотчасъ-же понять, что за этими очень вѣжливо-выраженными *desiderata* въ дѣйствительности скрываются совсѣмъ не вѣжливо задуманные три весьма серьезныхъ упрека. Прежде всего скептикъ и насмѣшникъ, Срезневскій, по разнымъ, однако-же, причинамъ, приминаясь къ направленію, выставлявшему на показъ свои «руссія» чувства и потому онъ особенно рѣзко не могъ отнести къ стремленію Конст. Сергеевича создать вполнѣ самобытную и нежелающую знать иностранныхъ образцовъ грамматику. Но по существу его *desiderata* должны быть поняты въ томъ смыслѣ, что Конст. Сергеевичъ для своихъ выводовъ 1) пользовался только «избранными явленіями» т. е. игнорировалъ тѣ, которыя ихъ не подтверждали 2) не подкрѣпляль ихъ «изслѣдовательностью», т. е. не заботился о томъ, чтобы его грамматическая индукція были основаны на сколько-нибудь достаточномъ количествѣ фактовъ и наконецъ 3) часто вовсе не «представляль читателю наблюденія» т. е. давалъ выводы чисто догматически, не вводя читателя въ свою филологическую лабораторію.

Противъ послѣдняго упрека, крайне тяжелаго по отношению къ какой-бы то ни было научной работѣ, счѣль необходимымъ возражать издатель и большой почитатель филологическихъ трудовъ Конст. Сергеевича — П. А. Безсоновъ. По его словамъ эта «безпримѣрность» т. е. отсутствіе подкрѣпляющихъ выводы грамматическихъ примѣ-

ровъ объясняется тѣмъ, что филологическія работы Константина Сергеевича «и не выражались и не сопровождались непремѣнно выписками пера: работавшій — много если дѣлалъ замѣтки на самихъ книгахъ, краткія, летучія. Вся эта бездна прочтеннаго филологическімъ взоромъ и передуманнаго языкоznательнымъ умомъ—скрывалась внутрь, слагая запасъ громаднѣйшей памяти, какую лишь удавалось намъ встрѣтить въ комъ либо: она пошла въ душѣ на созиданіе того величаваго, но невещественнаго, одухотвореннаго образа, какимъ представлялся русскій языкъ Аксакову. Матеріаль превращался въ живое существо, работа въ творчество; творчество въ самомъ языкѣ, создавшее языкъ силами народа, и творческій образъ самаго языка, изъ языка схваченный взоромъ личнымъ, умомъ художественнымъ, сливались во едино. Мало было-бы сказать, что Аксаковъ «носилъ» въ себѣ этотъ образъ, и существующій въ природѣ, и оттуда добытый, или что онъ «носился» съ этимъ образомъ, какъ съ роднымъ и все-таки «выѣшнимъ», какъ принятимъ внутрь и все-таки со стороны: Аксаковъ этимъ жилъ, вопросъ русскаго языка былъ для него вопросомъ жизни собственной; жизнь личная, казалось, иногда, располагалась по вопросамъ языка и имъ всего чаще отвѣчала. Странно было-бы (по этому), встрѣтить, что Аксаковъ «записываетъ», трудно было уловить моменты его спровокъ по книгѣ».

Такимъ образомъ, самаго факта, отмѣченного Срезневскимъ и другими критиками, почтенный профессоръ и не отрицасть. Онъ только даетъ ему другое объясненіе; объясненіе, въ сотый разъ доказывающее удивительную симпатичность Конст. Сергеевича, какъ человѣка, но совсѣмъ не измѣняющее существа дѣла. Въ наукѣ нѣть личнаго довѣрія, вѣрять только въ факты, доступные проверкѣ каждого, а не «чутью».

Въ заключеніе нашего обзора филологическихъ трудовъ Конст. Аксакова, приведемъ оцѣнку ихъ, сдѣланную Иваномъ Сергеевичемъ Аксаковымъ. Приводимъ ее не потому, чтобы она заключала въ себѣ что-нибудь новое и что-нибудь такое, чтобы не было высказано выше, а именно потому, что она, правда съ другой точки зрѣнія и иначе освѣщающая, по существу подтверждаетъ всѣ тѣ упреки, которые мы отмѣтили. Уже если такой восторженный поклонникъ учено-литературной дѣятельности Константина Сергеевича, какъ Иванъ Сергеевичъ, не могъ обойти того факта, что филологические труды Конст. Аксакова, главнымъ образомъ, замѣчательны поэтическою и художественною стороною своею, значитъ, дѣйствительно, въ пользу научнаго значенія ихъ не много можно привести доведовъ.

Итакъ, вотъ эта характеристика, въ которой такъ нетрудно отѣлить факты отъ дружескихъ стараний смягчить ихъ:

«Константинъ Сергеевичъ не былъ и, по самой природѣ своей, не могъ быть ученымъ въ смыслѣ нѣмецкаго гелертера; процессъ его ученой работы быть не просто аналитической, но такъ сказать и художественный вмѣстѣ, мгновенно объемлюющій синтезъ изслѣдуемаго явленія, его «душу живу» и органическую цѣльность. Его мысль почти всегда предваряла длинный путь логическихъ выводовъ и формального знанія, и нерѣдко, къ удивленію ученыхъ, находила себѣ подтвержденіе или въ цѣлой массѣ научныхъ данныхъ, еще вовсе не извѣстныхъ Константину Сергеевичу, или въ послѣдующихъ открытіяхъ науки. Было бы ошибочно, впрочемъ, заключать изъ нашихъ словъ, что мы ставимъ ему въ особенную заслугу такой способъ научныхъ изслѣдованій и даже отаемъ этому способу предпочтеніе предъ всѣми другими. Мы просто указываемъ на художественную стихію, присущую всей дѣятельности К. С., какъ на психическую его особенность, и съ своей стороны свидѣтельствуемъ, что въ его душѣ не было никогда ни тѣни пренебреженія къ строгому методу нѣмецкихъ ученыхъ. Мы полагаемъ, однако же, что эта его особенность, въ свою очередь, не должна бы возбуждать (какъ это до сихъ поръ не разъ бывало) пренебреженія со стороны тружениковъ ученаго цеха, и что поэтическое чувство есть также одно изъ познавательныхъ орудій человѣческаго духа, наравнѣ съ логическимъ разумомъ. Константину Сергеевичу безъ сомнѣнія недоставало той обширной эрудиціи, кото-
рая лежитъ въ основаніи ученыхъ трудовъ германскихъ филологовъ, и того близкаго знакомства съ литературою предмета, которое обна-
руживаются многіе изъ русскихъ ученыхъ, особенно въ области срав-
нительной филологии. Но этотъ недостатокъ, имъ вполнѣ сознаваемый, едва ли не съ избыткомъ восполнялся его филологическимъ чутьемъ, его способностью проникать въ самыя духовныя нѣдра слова и уга-
дывать сокровенную мысль грамматическихъ видоизмѣненій» (Преди-
словіе ко II т. соч. К. А.).

Перейдемъ теперь къ значительнѣйшей части духовнаго наслѣдія Константина Сергеевича—его историческимъ трудамъ, которыхъ почти всѣ относятся къ первой половинѣ пятидесятыхъ годовъ.

Но прежде всего, да не выведетъ читатель ложнаго заключенія изъ слова «трудамъ». «Константинъ Аксаковъ», скажемъ мы словами

Костомарова «не оставилъ послѣ себя ни историческихъ повѣствованій, ни большихъ изслѣдованій, ни даже трудолюбивой обработки источниковъ; онъ по русской исторіи писалъ мало». Если мы въ самомъ дѣлѣ, присмотримся къ I тому Собрания Сочиненій Конст. Аксакова, посвященному «Сочиненіямъ Историческимъ», то что мы тутъ находимъ? На пространствѣ 600 страницъ—27 статей. Нѣкоторыя изъ нихъ представляютъ собою простые черновые наброски, другія занимаютъ 6, 7 страницъ, а самая значительная, какъ по содержанію, такъ и по объему историческая статья Конст. Сергеевича—«О древнемъ бытѣ Славянъ вообще и русскихъ въ особенности» содержитъ въ себѣ всего 65 страницъ. Такимъ образомъ, того, что обыкновенно составляеть главное достоинство заправскихъ историческихъ «трудовъ»—обстоятельности, читатель не найдетъ въ «сочиненіяхъ историческихъ» Конст. Сергеевича.

Но не одною обстоятельностью обусловливается значеніе историческихъ работъ. Помимо трудовъ повѣствующихъ, требующихъ детальности и объемистости, есть еще цѣлый разрядъ трудовъ обобщающихъ и критическихъ, значеніе которыхъ обусловливается широтою положенныхъ въ нихъ взглядовъ. Къ этому-то разряду трудовъ по такъ называемой философіи исторіи и принадлежать историческая и историко-критическая статьи Константина Сергеевича. «Въ немногихъ статьяхъ его», говорить Костомаровъ «сохранились животворные мысли, свѣтлые взгляды, которые не напрасно высказаны для науки, и будутъ служить путеводными нитями для дальнѣйшихъ изслѣдованій надъ важнѣйшими сторонами нашего прошедшаго». Слова знаменитаго историка очень субъективны. «Свѣтлы»-ли взгляды К. Аксакова или, напротивъ того, вносятъ мракъ, «животворны»-ли они или, напротивъ того, мертвящи,—объ этомъ могутъ быть разныя мнѣнія, хотя, несомнѣнно, что въ устахъ Костомарова, отнюдь не принадлежащаго къ славянофильской школѣ, похвала одному изъ главарей славянофильства могла-бы служить ручательствомъ ея полнаго безпристрастія. Но, конечно, мы будемъ еще ближе къ истинѣ, если, устранивъ всякую субъективность, скажемъ просто, что исторические взгляды Константина Аксакова очень *значительны*. Они открываютъ новые горизонты, можетъ быть и невѣрные, но безспорно обширные.

По нашему мнѣнію, возврѣнія Константина Сергеевича на русскую исторію могутъ быть сведены къ четыремъ основнымъ мыслямъ: 1) о томъ, что укладъ первоначальной русской жизни былъ не родовой, а общинно—вѣчевой 2) о томъ, что русскій народъ рѣзко отдѣлялъ понятіе «земли» отъ понятія о государствѣ 3) о томъ, что древне-

русская, допетровская история представляетъ собою картину высоко-идеальныхъ общественныхъ отношеній. И наконецъ, какъ общій выводъ изъ предыдущаго является у Константина Аксакова 4) мысль о томъ, что русскій народъ есть носитель спеціально ему присущихъ высокихъ доблестей, которыя отводятъ ему особое, высокое положеніе во всемирной истории. Послѣднюю мысль мы бы назвали мыслью о богоизбранности русскаго народа.

Теорію общиннаго быта Конст. Сергѣевичъ выскажалъ сначала въ небольшой газетной статейкѣ «Родовое или общественное явленіе было изгой», помѣщенной въ «Моск. Вѣд.» 1850 г. (№ 97), а затѣмъ болѣе обстоятельно въ статьѣ «О древнемъ бытѣ у славянъ вообще и у русскихъ въ особенностяхъ», напечатанной въ I т. «Моск. Сборника» 1852 года.

Статья начинается съ констатированія того, что нѣмецко-русскіе ученые—Байеръ, Миллеръ, Шлецеръ, «не принадлежа къ русскому народу, не имѣя съ нимъ жизненной связи, принялись толковать его жизнь» и «объясняли русскимъ ихъ исторію». Подъ ихъ вліяніемъ и настоящіе русскіе ученые «смотрѣли также не по русски на свою исторію» и «изображали русскую исторію такъ, что въ ней русскаго собственно ничего не было видно». «Но дальнѣйшее знакомство съ лѣтописями и грамотами, но быть простаго народа, сохранившійся въ своей тысячелѣтней оригинальности, подействовали, наконецъ, на взгляды нашихъ ученыхъ, и желаніе понять русскую исторію настоящимъ образомъ, желаніе самобытнаго возрѣнія—пробудились. Политическій взглядъ, гдѣ обыкновенно рисуются князья, войны, дипломатические переговоры и законы, взглядъ Шлецера и (его послѣдователя) Карамзина, былъ, наконецъ, оставленъ, и, въ наше время, вниманіе обратилось на быть народный, на общественные, внутреннія причины его жизни». Къ числу представителей такого «желанія самостоятельнаго пониманія» и «возрѣнія бытоваго» Аксаковъ причисляеть, между прочимъ, Соловьевъ. Но тотъ-же Соловьевъ, однако, а въ мѣстѣ съ нимъ еще нѣсколько молодыхъ ученыхъ—Кавелинъ, Калачовъ, Афанасьевъ, освободившись отъ взглядовъ одного нѣмца—Шлецера, подняли другую нѣмецкую, совсѣмъ не соответствующую русской исторической дѣйствительности, теорію—о родовомъ быть у древнихъ славянъ вообще и у русскихъ въ частности, теорію, возвѣщенную известнымъ Эверсомъ.

По мнѣнію Конст. Сергѣевича теорія о существованіи родоваго быта у древнихъ славянъ зиждется на томъ, что приверженцы ея «не опредѣлили настоящимъ образомъ, что такое родовой быть» и путаютъ два такихъ совершенно различныхъ понятія, какъ быть ро-

довой и быть семейный. Такъ Соловьевъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своей исторіи позволяетъ себѣ говорить «семья или родъ», а въ другихъ утверждаетъ, что предки наши не звали семьи; затѣмъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ говоритъ о родоначальникѣ, какъ о правительѣ рода, не знающемъ надъ собою высшей власти, въ чёмъ и выражается родовое начало, а въ другихъ мѣстахъ оказывается, по Соловьеву-же, что «каждый младшій, будучи недоволенъ решениемъ старшаго, имѣлъ возможность возстать противъ этого решения». Такую-же сбивчивость представлений о родовомъ бытѣ Аксаковъ подчеркиваетъ и у Кавелина, который, кромѣ того, возмущаетъ Конст. Сергеевича тѣмъ, что доводить родовой бытъ въ Россіи до Петра Великаго, между тѣмъ какъ даже Соловьевъ говорить, что родовой бытъ начинаетъ исчезать у насъ уже при Ярославѣ.

Остановившись еще на мнѣніяхъ Калачова и Афанасьевы, изъ которыхъ послѣдній особенно смѣшиваетъ семью и родъ, Аксаковъ даетъ, затѣмъ, свое собственное опредѣленіе родового быта. Если при изложеніи взглядовъ Кавелина, онъ всего менѣе пріязненно относился къ стараніямъ послѣдняго подвести родовой бытъ у нашихъ предковъ подъ общій законъ развитія общественной жизни, свойственный всѣмъ народамъ, то теперь онъ, все таки, «не думаетъ отвергать», что «первоначальный видъ общества и первоначальный бытъ—есть безспорно родовой». Но въ чёмъ отличительныя черты этого быта? Сдѣлавши краткій очеркъ хода его нарожденія, Конст. Сергеевичъ говоритъ: «Что-же мы въ немъ видимъ? Мы видимъ, во первыхъ, что семья въ немъ исчезаетъ, ибо поглощена единствомъ рода и единствомъ родоначальника; во-вторыхъ, что отношенія родовыхъ не остаются въ своей чистотѣ, а немедленно получаютъ значеніе гражданское, не переставая быть родовыми. Состояніе напряженное и ложное, стѣсняющее съ одной стороны семью, съ другой гражданственность. Гражданственность смущаетъ родовые отношенія; родовые отношенія мѣшаютъ гражданственности и семье. Такимъ образомъ семья и родъ, семейное и родовое начало не только не одно и тоже, но взаимно исключаютъ или ослабляютъ другъ друга. Гдѣ сильно начало родовое, тамъ нѣть начала семейного или оно слабо. Гдѣ сильно начало семейное, тамъ нѣть родового или патріархальнаго, или-же оно находится на слабой ступени. Патріархальное и семейное начало образуютъ двѣ противоположности, хотя, повидимому, истекаютъ изъ одного источника, близки другъ къ другу».

Но если родовой бытъ, въ только что очерченномъ видѣ и «быть первой общественnoю ступенью, черезъ которую прошли, безспорно, всѣ народы», то, все таки «одни только прошли чрезъ него не ос-
gle

тапавливаясь, другіе остановились болѣе или менѣе, утвердили за собою этотъ бытъ, формулировали, опредѣли его явственно, съ большиими или меньшими подробностями, особенностями и оттѣнками». Славяне къ числу послѣднихъ народовъ, по мнѣнію К. Аксакова, не принадлежать. Такъ, если мы обратимся къ сказаніямъ древне-византійскихъ историковъ, то что мы находимъ? «Прокопій говоритъ, что славяне не повинуются одному мужу, но изъ начала живутъ при народномъ правленіи (*εὐδημοκρατία*). Это свидѣтельство говорить ясно противъ родового быта, ибо демократическое устройство такому быту противорѣчить». Тотъ-же Прокопій сообщаетъ «что у славянъ быть обычай совѣщаться вмѣстѣ о своихъ дѣлахъ. Опять свидѣтельство, указывающее ярко на народное или общинное устройство». Маврикій говоритъ, что славяне не знаютъ правительства. Приблизительно тоже самое отмѣчаютъ позднѣйшіе хронисты. Такъ Адамъ Бременскій говоритъ о славянахъ, что они не терпятъ между собою господина или повелителя. Дитмаръ Мерзебургскій «повѣствуя о вѣчахъ Лутичей и, почти въ тѣхъ-же выраженіяхъ, какъ Прокопій, говоря, что они не повинуются одному, а всѣ совѣщаются о дѣлахъ своихъ,—прибавляетъ, что дѣла рѣшались единогласіемъ, которое было необходимо».

Отъ иноземныхъ свидѣтельствъ, Константинъ Аксаковъ переходитъ къ разбору двухъ славянскихъ памятниковъ, на нѣкоторыхъ мѣстахъ которыхъ Соловьевъ съ особенною настойчивостью хотѣлъ основать свою теорію родового быта. Памятники эти—1) «Судь Любушки» и 2) Лѣтопись Нестора.

Содержаніе «Суда Любушки», какъ извѣстно, состоить въ томъ, что братья Кленовичи спорили объ отцовскомъ наслѣдствѣ и явились за разрѣшеніемъ спора къ княжнѣ Любушѣ. Любуша собирается снемъ (сеймъ) изъ Кметовъ, Леховъ и Владыкъ, предлагается дѣло на ихъ разсмотрѣніе, причемъ отъ себя говорить, что по закону вѣковизненныхъ боговъ, братья—или должны владѣть вмѣстѣ или раздѣлиться поровну. Снемъ рѣшаетъ, чтобы оба брата владѣли вмѣстѣ. Старшій братъ недоволенъ этимъ рѣшеніемъ. Онъ съ яростью говоритъ, что наслѣдство надо дать первенцу и поносить Любушу за то, что она другого мнѣнія. Тогда въ защиту ея поднимается Ратиборъ, который, усматривая въ словахъ старшаго Кленовича вліяніе нѣмецкихъ обычаевъ, говоритъ: «не хвално намъ въ нѣмцахъ искать правды, у насъ правда по закону святому, которую прінесли отцы наши» и затѣмъ рисуетъ такую картину древне-чешской жизни: «Всякой отецъ воеводить свою челядь (домочадцевъ). Мужи пашутъ, женщины шьютъ одежду, и какъ скоро умираетъ глава челяди, то дѣти все владѣютъ вмѣстѣ наслѣдствомъ, выби-

рая себѣ владыку изъ рода, который, для пользы, ходить въ славные снemy, ходить съ Кметами, Лехами, Владыками».

Во всемъ этомъ Соловьевъ видить родовое устройство, съ его общимъ владѣніемъ и рѣшающею властью родонаучальника. Но Аксаковъ видить тутъ, напротивъ того, полное опроверженіе теоріи родового быта.

«Любуша», говоритъ онъ, «предлагаетъ или общее владѣніе, или ровный раздѣлъ. Снemъ рѣшаетъ общее владѣніе. Положимъ, что предметъ суда есть вопросъ родовой, вопросъ именно *родовою* владѣнія, наслѣдства. Этотъ вопросъ о наслѣдствѣ рѣшается на основаніи родового устройства (думаетъ г. Соловьевъ), именно словами Ратибора, въ которыхъ изображается родовой бытъ. Допустимъ это. Кѣмъ-же представляется родъ? *Даумя братьями*. Весь споръ между ними и для нихъ, для рѣшенія братскаго спора приводится весь порядокъ, вся правда, принесенная предками. Что должны мы заключить? Или-то, что родъ не имѣлъ другихъ представителей, былъ весь, кроме двухъ, уничтоженъ (а то бы все родичи должны были участвовать въ спорѣ, ибо все имѣли общее право на общее владѣніе, по мнѣнію послѣдователей Эверса); но такую случайность предположить трудно и объ ней было бы упомянуто, тѣмъ болѣе, что оба брата—древняго происхожденія. Или-же, что гораздо проще, судебный вопросъ этотъ былъ не родовой, а чисто *семейный*. Да и прямо говорится, что споръ идетъ объ отцовской дѣдинѣ. Тогда дѣло перемѣняется и родовое устройство исчезаетъ: ибо, какъ скоро выступаетъ семья, какъ скоро рѣчь идетъ только между братьями и ни о какихъ родичахъ нѣтъ и рѣчи, то гдѣ-же общее владѣніе рода, гдѣ-же родовой бытъ, который допускаетъ участіе всѣхъ родичей, особенно когда родъ оставался безъ главы!—И такъ на сценѣ только семья, выдѣлившаяся, слѣдовательно, изъ рода, а рода нѣтъ».

Затѣмъ: «вспомнимъ, что Любуша по закону *въкожизненныхъ богоvъ*, говоритъ братьямъ: или владѣйте вмѣстѣ, или раздѣлите поровну. И такъ и то и другое—по закону богоvъ» и рушится, значить, другой отличительный признакъ родового быта—общность владѣнія.

Наконецъ, что касается мѣста рѣчи Ратибора, гдѣ говорится о выборахъ и роли владыки, то здѣсь Аксаковъ не усматриваетъ ничего такого, что бы давало основаніе видѣть въ владыкахъ родонаучальниковъ. Если «въ пѣснѣ говорится, что дѣти выбираютъ себѣ владыку (а не отца, не родонаучальника), который ходить въ снemy съ Кметами и Лехами, то это значило, что каждая семья посыпала на сходку своего представителя. Кто знаетъ устройство нашихъ сходокъ, тотъ увидитъ что этотъ обычай и до сихъ поръ у насть сохранился въ народѣ; на сходку ходить или старшій въ домѣ, или же избранный въ домѣ отъ семьи. Кого послать—это былъ и есть домашній распорядокъ внутри дома, но за порогъ дома семья у насть не переходила. И такъ владыки были то же, что и теперь у насть—избранные или неизбранные представители семействъ на сходкѣ».

Кметы и Лехи, составлявшіе, какъ видно, званія (можеть быть мужи княжіе), уже и по званію своему тамъ засѣдали, какъ у насъ потомъ на земскихъ соборахъ бояре и выборные люди».

Покончивъ съ «Судомъ Любушки», составляющимъ одинъ изъ краеугольныхъ камней теоріи Соловьева, Константинъ Сергеевичъ останавливается нѣсколько на извѣстномъ изслѣдованіи Губе о на-слѣдственномъ правѣ у славянъ, изъ котораго извлекается рядъ одиночныхъ доказательствъ того, что у древнихъ славянъ отнюдь не было родового быта, а дѣйствовала свободная воля семьи, и затѣмъ переходитъ къ другому краеугольному камню поборниковъ родового быта—лѣтописи Нестора. У Нестора имѣется слѣдующее мѣсто, съ первого раза дѣйствительно заставляющее думать, что у предковъ нашихъ господствовалъ родовой бытъ:

«Поляномъ же живущемъ особѣ и володѣющемъ роды своими, и живяху каждо съ своимъ родомъ и на своихъ мѣстахъ, владѣюще каждо родомъ своимъ».

Но въ какомъ, однако-же, смыслѣ употреблено здѣсь слово «родъ»?

«Несторъ, говоря о Полянахъ, вслѣдъ за вышеприведенными словами, разсказываетъ о трехъ братьяхъ: Кій, Щекъ и Хоривъ; это даетъ намъ возможность прослѣдить и пропрѣтить слова Нестора о Полянахъ. Кій, Щекъ и Хоривъ—три брата: одинъ-ли это родъ? Конечно, если сколько-нибудь есть родовое устройство. Что-же мы видимъ? Что все трое жили особо, на своихъ мѣстахъ. Кій живетъ на горѣ, гдѣ увозъ Боричевъ, Щекъ на другой горѣ, Щековицѣ, а Хоривъ на третьей, Хоревицѣ. И такъ каждый братъ составлялъ особый родъ, но возможно-ли это при родовомъ устройствѣ? Три брата не могли быть тремя родоначальниками и раздѣлить родъ на трое, ибо родовое устройство такого дѣлежа не допускаетъ. Если-же у каждого изъ нихъ могъ быть свой родъ, ибо они жили особо другъ отъ друга, то это можно объяснить не иначе, какъ тѣмъ, что родъ быть семья». Въ послѣднемъ убѣжденіи Конст. Аксакова поддерживаетъ еще и то, что «лѣтопись Нестора южно-русская, и въ ней много встречается, и до сихъ поръ сохранившихся въ Малороссии, южно-русскихъ выражений,—а въ Малороссии и теперь родъ имѣть значеніе семьи. Малороссъ, говоря про свою семью, скажетъ: *се мій родъ*. И такъ, нѣть сомнѣнія, что родъ въ вышеприведенномъ мѣстѣ лѣтописи имѣть значеніе *семьи*; онъ упоминается только у Полянъ, у которыхъ однихъ былъ *бракъ* и, слѣдовательно, *семья*. Да и по русски развѣ мы не говоримъ «двоюрод-

ный братъ»? А что «значить: двоюродный» здѣсь мы легко открываемъ двойственное число: *двою роду* то есть: *двухъ родовъ*; и такъ двоюродный братъ значить братъ *двухъ родовъ*, то есть *двухъ семей*».

Разсмотрѣвъ, такимъ образомъ, доказательства, выставляемыя приверженцами теоріи родового быта, Аксаковъ начинаетъ уже отъ себя приводить рядъ свидѣтельствъ древнихъ памятниковъ, по его мнѣнію рѣшительно не оставляющихъ мѣста для предположеній о существованіи родового быта въ древней Руси. Такъ, по Русской Правдѣ «мстить долженъ или братъ, или отецъ, или племянникъ съ братиной и сестриной стороны; вотъ всѣ родовые мстители». Вяжется ли такое ограниченіе съ сколько-нибудь развитымъ родовымъ бытомъ?

Но еще важнѣе другое свидѣтельство Русской Правды изъ области гражданскихъ отношеній, именно то, что имѣніе человѣка, не оставившаго послѣ себя дѣтей, считается выморочнымъ и переходитъ къ князю. Тутъ уже, значитъ, о родовомъ бытѣ съ его общимъ владѣніемъ и рѣчи не можетъ быть.

Всѣ эти «опроверженія родовому быту» и приводятъ Аксакова къ мысли о бытѣ семействомъ и вмѣстѣ общинно-вѣчевомъ. Не довольствуясь уже извѣстными намъ свидѣтельствами Прокопія, Маврикія, Дитмара Мерзебургскаго, Адама Бременскаго и «Суда Любуши», Константинъ Сергиевичъ приводить длинный рядъ почерпнутыхъ изъ лѣтописи фактовъ древне-русской жизни, фактовъ говорящихъ, какъ о развитіи государственной жизни, такъ и о широкомъ народовластіи.

Кѣмъ призываются Варяги? Всѣмъ народомъ. Ни о старѣшинахъ, ни о старцахъ въ относящемся сюда лѣтописномъ сказаніи ни слова нѣтъ. Призваніе князей было полнымъ проявленіемъ «народной воли. Это заставляетъ предполагать бытъ народный, общинный. Самое призваніе князя, особенно-же племенами, даже чужеродными (славяне, чудь) устраниетъ всякую мысль о родовомъ бытѣ. Это поступокъ гражданскій, государственный и сознательный». «Въ договорѣ съ греками Олега, еще виднѣе Игоря, высказывается вполнѣ общинное устройство, котораго вдругъ завести нельзя. Въ этихъ договорахъ посольство правится отъ великаго князя, князей, бояръ, купцовъ и отъ всей земли. Быть вполнѣ общественный. Это тоже явленіе, какое мы видимъ и впослѣдствіи, и которое приняло образъ Земской Думы, Земскаго Собора. Въ договорахъ этихъ выступаетъ значеніе всей земли, всего народа».

Еще характернѣе событія, связанныя со смертью Игоря. *Древляне* сдумавши съ княземъ своимъ Маломъ (а не князь Малъ самъ по себѣ) и не видя конца насилиямъ Игоря, убиваютъ послѣдняго. Послѣ этого опять *Древляне* (т. е. народъ) говорятъ: возьмемъ Ольгу за нашего князя Мала. *Древляне*-же посылаютъ лучшихъ мужей къ Ольгѣ. Мужи эти, пришедши къ Ольгѣ, говорятъ: «посла ны *Деревъска земля*».

Когда Святославъ «жилъ въ Переяславлѣ, и Киевъ едва былъ спасенъ воеводою Претичемъ отъ печенѣговъ, кievляне посылаютъ сказать ему, что онъ бросилъ свою землю и ищетъ чужой, напоминаютъ ему о матери его и дѣтяхъ, о семейныхъ его обязанностяхъ. Нечего и говорить, что тутъ между княземъ и народомъ не было никакихъ родовыхъ или патріархальныхъ отношеній».

Чѣмъ дальше отодвигается Конст. Сергеевичъ отъ первыхъ князей Рюрикова дома, тѣмъ легче, понятно, ему становится находить доказательства существованія государственного быта въ древней Руси. И еслибы его задача состояла въ томъ, чтобы доказать невѣрность теоріи родового быта, онъ-бы могъ ограничиться вышеприведенными фактами, такъ какъ несостоятельность мнѣнія Кавелина, что родовой быть сохранился до Петра I слишкомъ уже очевидна, а Соловьевъ и самъ признается, что при Ярославѣ родовой быть исчезаетъ въ Россіи.

Но Конст. Сергеевичу хочется, кромѣ того, доказать, что укладъ государственной жизни древней Россіи былъ общинно-вѣчевой. Вотъ почему онъ и приводить длинный рядъ выписокъ изъ лѣтописей, доказывающихъ первенствующее значеніе народной воли въ древнерусской жизни и зависимость князя отъ вѣча. Такъ, кievляне, собравшись въ 1067 г. на вѣче и встрѣтивъ въ Изяславѣ I сопротивленіе своему намѣренію сразиться съ Половцами, освободили заключеннаго Всеслава и поставили его княземъ, а Изяславъ долженъ былъ удалиться. Въ 1096 году Святополкъ и Владиміръ, предлагая Олегу идти противъ Половцевъ, дѣлаютъ это въ такой формѣ: «поиди Кыеву, да порядокъ положимъ о русътѣй земли предъ епископы, и предъ игумены, и предъ мужи отецъ нашихъ, и предъ людми градскими, да быхомъ оборонили русскую землю отъ поганыхъ». Ослѣщеніе Василька совершилось только послѣ того, какъ Святополкъ имѣвшій уже Василька въ своихъ рукахъ, собралъ Кievлянъ на вѣче и увѣрилъ ихъ, что Василько питаетъ разные предательскіе замыслы. Въ томъ-же году, когда Володарь и Василько осадили Давида во Владимірѣ (Волынскомъ) они вели переговоры не съ Давидомъ, а съ Владимірцами, которые «созваша вѣче» и заставили князя покориться

своему рѣшенію. Въ 1146 году послѣ брата своего Всеволода Ольговича Игорь сталъ княземъ Кіевскімъ. «И неугоденъ бысть Кіяномъ Игорь» и послали они къ Изяславу и сказали послѣднему: «пойди, княже, къ намъ, хощемъ тебѣ. Не хотимъ Ольговичей, не хотимъ доставатъся какъ-бы по наслѣдству. Сѣвши на Кіевскій столъ, Изяславъ задумалъ идти походомъ противъ Юрія, сына Владимира Мономаха. Но кіевляне, созванные Изяславомъ для совѣта, прямо ему отвѣтили: «Князь! Ты на насть не гнѣтайся, мы не можемъ поднять руки на Владимірово племя, если на Ольговичей, то готовы хоть съ дѣтьми». Изяславъ соединился тогда съ черниговскими Ольговичами, но когда тѣ затѣяли измѣну, послалъ опять къ кіевлянамъ за помощью. «Кіевляне сошлись всѣ, отъ мала до велика, къ сватой Софіи на дворъ, составили вѣче и на этотъ разъ, возмущенные предательствомъ Ольговичей, оказали князю содѣйствіе. Въ 1154 г. Изяславъ умираетъ. «И посадиша въ Кіевѣ Ростислава Кіяне, рекуче ему: якоже братъ твой Изяславъ честилъ Вячеслава ¹⁾, такоже и ты чести; а до твоего живота Кіевъ твой». «Здѣсь» замѣчаетъ Аксаковъ «народъ распоряжается княжествомъ».

Ростиславъ, ставъ княземъ, затѣялъ разные походы и уѣхалъ изъ Кіева, но мужи уговаривали его вернуться туда, говоря ему: «ты съ людьми (т. е. народомъ) въ Кіевѣ еще не утвердился; побѣжай лучше въ Кіевъ, утвердись съ народомъ».

Еще нѣсколько подобныхъ предыдущему примѣровъ огромнаго значенія народной воли въ древне-русской жизни приводить Конст. Сергеевичъ и затѣмъ съ торжествомъ отмѣчаетъ слѣдующія «въ высшей степени замѣчательныя и важныя слова лѣтописи: *Ново-родци бо изначала, и Смолене, и Кияне, и Полочане и вся власти* (т. е. волости), якоже на думу, на вѣча сходятся». Слова эти «прямо указываютъ на общинное устройство во всей русской землѣ».

«Мы привели достаточно примѣровъ», говоритъ затѣмъ Константинъ Сергеевичъ, «доказывающихъ, что въ древней Руси было общественное, именно общинное устройство,—общинный бытъ. Здѣсь вѣть и мѣста родовому быту. Это общинное устройство, со времени единодержавія Москвы, провозгласившей имя всей земли русской, не уничтожилось. Изъ грамотъ мы видимъ, какъ цѣлымъ волости, свободы управляются выборными людьми. Губные старости, цѣловальники, выборные люди, присутствовавшіе на судахъ,—все показываетъ, что древняя основа хранилась.—Наконецъ Земскіе Соборы, созываемые царями ото всей Земли, представляли голосъ и совѣтъ всей русской Земли, что тогда ясно чувствовалось».

¹⁾ Вячеславъ былъ старшій въ родѣ и могъ-бы претендовать на княжество, чего, однако, не дѣялъ, довольствуясь почтительнымъ къ нему отношеніемъ Изяслава.

валось и созывалось.—Междуцарствіе, въ течепіе котораго разлетѣлась на время государственная оболочка и обнажилась Земля, показываетъ намъ, что она не отвыкла отъ своего устройства: беспрестанныя совѣщанія народныя въ городахъ и селахъ, совѣщанія, на которыхъ, по обычаю русскому, всѣ сословія, весь народъ принималъ участіе,—условія Земли съ воеводами—троеначальниками, наконецъ выборный отъ всей Земли русской, все это свидѣтельствуетъ, что община постоянно была основою русскою общественною устройствомъ».

Заканчивается статья такъ:

«Изъ изслѣдований нашихъ выводимъ заключеніе: *русская Земля есть изначала наименѣе патріархальная, — наиболѣе семейная и наиболѣе общественная (именно общинная Земля)*».

Таковы основы выдвинутой Константиномъ Аксаковымъ общинной теоріи.

Не трудно замѣтить въ ней, при сколько-нибудь детальному анализѣ, рядъ частныхъ недохватокъ и тенденціозныхъ натяжекъ. Не станемъ, однако же, останавливаться на мелочахъ и укажемъ только существеннѣйшій недостатокъ Аксаковской теоріи, именно отмѣтимъ крайнюю неопредѣленность, съ которой авторъ общинной теоріи пользуется словомъ «общинный».

Подъ общиною принято понимать небольшую территоріальную или соціальную единицу тѣсно связанныю общностью непосредственныхъ жителейскихъ интересовъ. Въ частности, подъ общиною въ русской экономической и политической литературѣ принято подразумѣвать общину сельскую. Между тѣмъ К. Аксаковъ подставляетъ подъ слова «община» и «общинный» самыя разнообразныя понятія. Такъ, въ только что приведенномъ резюме статьи о родовомъ бытѣ онъ прямо употребляетъ какъ синонимы слова «общинный» и «общественный», а въ другихъ мѣстахъ у него понятія обѣ общинности сливаются съ понятіемъ о государственности и «община» обнимаетъ собою то пространство волости, то пространство княжества, то наконецъ пространство всей Россіи. Разбирая напр. I томъ исторіи Соловьевъ, Конст. Сергеевичъ говорить по письму исторической роли Москвы: «Москва первая задумала единство государственное и начала уничтоженіе отдѣльныхъ княжествъ. Вся эта борьба княжествъ на общинѣ не простидалась; общины были довольны, когда падали между ними государственные перегородки. Государство, уничтожая ихъ, исполняло желаніе земли, и, стремясь къ единству государственному, содѣйствовало единству земскому. Нѣть ни одного призыва, чтобы община заступилась за своего князя. Москва провозглашаетъ, наконецъ, имя всей Руси, единаго русскаго государства и единой Русской Общины, русской земли».

На пространствѣ нѣсколькихъ строкъ тутъ господствуетъ самое

хаотическое смѣшеніе административно - политическихъ единицъ и предѣлы общинъ до того раздвинуты, что теряется всякое опредѣленное о ней представление.

И, конечно, эта неопределенность и смѣшеніе понятій могли бы совсѣмъ подорвать значеніе общинно-вѣчевой теоріи, еслибы не здорово зерно ея, если бы не то, что въ основѣ ея лежало глубокое пониманіе внутренняго смысла древне-русской исторіи. Теперь, когда прошло около сорока лѣтъ послѣ появленія статьи Константина Сергеевича, не найдется уже ни одного историка, который столь-бы игнорировать огромную роль общинно-вѣчеваго начала въ ходѣ древне-русской государственной жизни. Приведенные нами факты, на которыхъ Константинъ Аксаковъ основалъ свой взглядъ, были, конечно, хорошо известны и до него. Но прежній государственный взглядъ на исторію настолько еще сильно владѣлъ умами историковъ русскихъ, настолько еще сильна была привычка обращать вниманіе исключительно на трактаты, походы и княжескія междоусобія, что все, касавшееся народа въ тѣсномъ смыслѣ этого слова оставалось въ тѣни. Вотъ почему оставались въ тѣни и факты, такъ рѣзко выдвинутые Константиномъ Сергеевичемъ на первый планъ. И факты эти дѣйствительно говорятъ все то, что подчеркивалось съ такимъ энтузиазмомъ восторженнымъ авторомъ общинно-вѣчевой теоріи. Они дѣйствительно не оставляютъ никакого сомнѣнія относительно необыкновенного развитія демократическихъ чувствъ въ древней Руси и широкихъ предѣловъ народовластія, они дѣйствительно говорятъ о подставленной Конст. Сергеевичемъ вмѣсто «рода» сельской общинѣ, какъ объ основной соціальной единицѣ, дававшей тонъ всему укладу древне-русской жизни. И вотъ почему подборъ всѣхъ этихъ фактовъ былъ новымъ откровеніемъ для занимающихся русскою исторіею. Съ тѣхъ поръ основные черты Аксаковской теоріи доминируютъ въ разработкѣ древне-русскаго права. Всепѣло, со всѣми ея деталями, теорія Константина Сергеевича, правда, не принята. Но, во-первыхъ: теорія родового быта пала совершенно и даже тѣ изъ изслѣдователей, которые нѣсколько отрицательно относятся къ воззрѣніямъ Конст. Аксакова на древне-русскую жизнь (проф. Самоквасовъ напр. или Забѣлинъ) не могутъ не признать, что критическая часть обсуждаемой нами статьи блистательна. Конст. Сергеевичъ окончательно похоронилъ теорію родового быта въ томъ видѣ, какъ ее создали Эверсъ и Соловьевъ и послѣ его статьи ни одинъ серьезный изслѣдователь не поднялъ этой теоріи, которая теперь фигурируетъ исключительно въ обзорѣ *старыхъ* воззрѣній на древнерусский бытъ.

Но важнѣе, конечно, положительная часть теоріи Константина Аксакова. Про нее-то и можно сказать, что она доминируетъ въ современныхъ возврѣніяхъ на древне-русское право. Если мы переберемъ взгляды главнѣйшихъ юристовъ и историковъ послѣднихъ 30-ти лѣтъ, то мы увидимъ, что большинство изъ нихъ и при томъ такие люди, какъ Бѣляевъ, Лешковъ, Костомаровъ, Шипилевскій, Градовскій всецѣло примыкаютъ къ возврѣніямъ Константина Сергеевича на древне-русскій общественный укладъ, другое, какъ Сергеевичъ, Владимірскій-Будановъ принимаютъ ихъ съ нѣкоторыми оговорками, наконецъ третіи, выступающіе съ собственными теоріями, какъ Леонтовичъ и Бестужевъ-Рюминъ съ теоріей задруги или Соколовскій съ теоріей волостной по существу, все таки, тоже примыкаютъ къ направленію, созданному Константиномъ Сергеевичемъ. Община—задруга на хорватскій образецъ и волость съ тѣмъ характеромъ, съ какимъ она является въ теоріи П. А. Соколовскаго—все это видоизмѣненія одного и того же общественного и правового института. Важна основа, а она-то именно одна и та же и въ волостной, и въ задружной и въ Аксаковской теоріи, важно, что всѣ эти теоріи съ одинаковою энергией выдвигаютъ рѣшающее значеніе демократически-альtruистическихъ началь, глубоко коренящихся въ русской народной психологіи и потому окрашивавшихъ въ свой цветъ тотъ періодъ древне-русской жизни, когда вліяніе другихъ факторовъ было слабо. И вотъ эта-то энергія въ подчеркиваніи демократического характера старо-русской жизни, этотъ-то энтузіазмъ предъ основами русского народнаго быта и составляетъ огромную заслугу Константина Аксакова. Онъ внесъ народничество въ разработку древне-русского права, онъ заставилъ насъ смотрѣть на народное міровоззрѣніе и складъ народнаго характера съ тѣмъ уваженіемъ, котораго они заслуживаютъ по своему огромному вліянію на ходъ русской исторіи, онъ пріобщилъ, такимъ образомъ, русскую историческую науку къ тому великому движению демократическихъ идей, которое составляетъ основную черту духовной жизни русской интеллигенціи вотъ уже болѣе сорока лѣтъ.

Въ заключеніе, считаемъ нѣлишнимъ сказать нѣсколько словъ по адресу проф. Самоквасова, который въ своемъ курсѣ исторіи русского права называетъ первымъ провозвѣстникомъ общино-вѣчевой теоріи Бѣляева. Это невѣрно. Ошибка почтеннаго проф. произошла вслѣдствіе того, что онъ считаетъ, что впервые Конст. Аксаковъ высказалъ свои мысли о родовомъ бытѣ въ обсужденной нами статьѣ, появившейся въ «Моск. Сборникѣ» 1852 года. А такъ какъ Бѣляевъ двумя годами раньше, во «Временнике Московскаго Общества Ис-

торіи и Древностей» 1850 г., кн. VII, помѣстилъ статью «Русская земля передъ прибытиемъ Рюрика въ Новгородъ», гдѣ высказалъ идеи весьма схожія съ тѣми, которыя проводилъ Конст. Сергѣевичъ въ своей статьѣ о родовомъ бытѣ, то оно и выходитъ, какъ будто Бѣляевъ имѣеть тутъ права первенства. Но дѣло въ томъ, что мысли свои объ общино-вѣчомъ началѣ древней Руси Конст. Сергѣевичъ только *развилъ* въ статьѣ «Моск. Сборника» 1852 года. Въ общихъ же чертахъ всѣ эти мысли выражены имъ въ статьѣ «Родовое или общественное явленіе быть Изгой», помѣщенной въ началѣ 1850 года въ «Москов. Вѣд.» (№ 97) и заключавшей въ себѣ прямое обѣщаніе «представить въ особой статьѣ доказательство того, что въ древней Руси не было родового быта, а быть быть общественный». Статья «Моск. Сборн.» и явила исполненіемъ этого обѣщанія.

Уже если говорить въ данномъ случаѣ о чьихъ нибудь правахъ на первенство, то рѣчь можетъ идти только о Юріѣ Самаринѣ, который въ статьѣ «О мнѣніяхъ «Современника» историческихъ и литературныхъ» помѣщенной въ «Москвит.» 1847 г. (ч. II, стр. 135—174) дѣйствительно первый въ русской литературѣ, хотя очень кратко, то, все-таки, очень определенно, заявилъ: «общинное начало составляетъ основу, грунтъ всей русской истории, прошедшей, настоящей и будущей; сѣмена и корни всего великаго, возносящагося на поверхности, зарыты въ его плодотворной глубинѣ».

Только что сдѣланное указаніе принадлежитъ А. Н. Пыпину и высказано имъ въ его «Характеристикахъ литературныхъ мнѣній», еще въ началѣ 70-хъ годовъ. Этимъ замѣчаніемъ почтенный изслѣдователь хотѣлъ ослабить панегирикъ Костомарова, который ставилъ Конст. Аксакову въ особую заслугу провозглашеніе общинного начала. Мы думаемъ, однако, что поправка А. Н. имѣеть по преимуществу библіографическое значеніе и заслугъ Конст. Сергѣевича не умаляетъ. Да, дѣйствительно, *въ печати* общинную теорію первый провозгласилъ М... З... К. (псевдонимъ Юрія Самарина). Но кому же, какъ не такому знатоку внутренней жизни литературныхъ кружковъ 40-хъ годовъ, какъ Алекс. Николаевичъ, лучше известно, что славянофильский кружокъ представлялъ собою нечто до такой степени сплоченное и слитное, что отдѣлять, гдѣ начинаются мнѣнія одного изъ членовъ кружка и гдѣ кончаются мнѣнія другого, является дѣломъ почти невозможнымъ. Первые славянофилы были люди тѣсно связанные не только единствомъ духовныхъ стремленій, но и личнымъ общеніемъ. Почти ежедневно собирались они вмѣстѣ либо въ домѣ Хомякова, либо у Кириевскихъ, либо, наконецъ, у

Аксаковыхъ и въ живомъ обмѣнѣ мыслей разрабатывали детали общаго имъ всѣмъ міросозерцанія. Иниціатива принадлежитъ тутъ всѣмъ вмѣстѣ и каждому въ отдельности. Одинъ дѣлалъ намекъ, другой его подхватывалъ, третій подбиралъ доказательства и въ концѣ получался тезисъ, родительскія права на который въ одинаковой степени должны приписываться всѣмъ членамъ кружка безраздѣльно. Вотъ почему, между прочимъ, первоначальное славянофильство совсѣмъ не знаетъ фракцій. Тутъ люди до того спѣлись *предварительно*, дома, что выступали въ печать уже съ совершенно законченнымъ міровоззрѣніемъ, вошедшімъ въ плоть и кровь каждого изъ принимавшаго участіе въ выработкѣ его. Слѣдовательно, *печатное* первенство въ дѣлѣ возвѣщенія славянофильскихъ принциповъ можетъ имѣть исключительно библіографіческій интересъ и всегда есть простая случайность. Юрію Самарину по конкретной надобности (для опроверженія идей Кавелина) пришлось говорить объ общинномъ началѣ, — онъ его и провозгласилъ. А Конст. Сергѣевичу въ 1847 г. надобности такой не было, онъ и не высказывался. Но отсюда всего менѣе слѣдуетъ, чтобы Конст. Сергѣевичъ чему-нибудь научился изъ коротенькой, чисто катехизической статейки Самарина или узналъ-бы что-нибудь новое изъ нея. Все это было ему превосходно известно раньше и въ кружковыхъ дебатахъ онъ, конечно, не одно тутъ доказательство подбирая и не одинъ разъ укрѣпляя своимъ пафосомъ увѣренность сочленовъ въ томъ, что дѣйствительно только общиннымъ началомъ можно уяснить себѣ явленія древне-русской и современной народно-русской жизни.

Мы нѣсколько распостранились по вопросу о правахъ первенства Юрія Самарина на общинную теорію, потому что тутъ идетъ рѣчь о вещи, имѣющей значеніе для оцѣнки всѣхъ вообще идей разсматриваемаго нами писателя. Намъ очень важно подчеркнуть, что читая сочиненія основателей славянофильства, мы какъ будто имѣемъ предъ собою разныя редакціи одного и того-же. У одного короче, у другаго длиннѣе, у одного съ большимъ, у другого съ меньшимъ талантомъ, у одного суще, у другого страстнѣе, наконецъ у одного намеки, у другаго подробное развитіе. *Только этими*, почти вѣнчими, качествами и отличаются сочиненія славянофиловъ другъ отъ друга. Въ частности, слѣдовательно, идеи Конст. Аксакова не ему одному принадлежать. Если-же мы говоримъ о нихъ, усматривая въ нихъ писательскую индивидуальность Конст. Сергѣевича, то потому, что помимо такихъ уже чисто-индивидуальныхъ качествъ, какъ напр. большое знаніе русской политической исторіи, древне-

русского юридического быта и т. д. сочиненія Конст. Сергѣевича рѣзко запечатлѣны его необыкновенною страстью, благодаря которой онъ довелъ всѣ принципы славянофильства до ихъ крайняго развитія. Тамъ гдѣ у спокойныхъ Київскихъ, дѣловитаго Самарина и лишеннаго душевнаго энтузіазма Хомякова идеть спокойная экспозиція, тамъ Конст. Аксаковъ, выражаясь вульгарно, рветъ и мечеть и потому онъ въ славянофильствѣ занимаетъ приблизительно такое же мѣсто, какое занимаетъ въ западничествѣ его нѣкогда за-
кадычный другъ Бѣлинскій. Извѣстно, что и «неистовый Виссаріонъ» проводилъ идеи, далеко не ему одному принадлежавшія, но онъ проводилъ ихъ съ такимъ жаромъ и увлеченіемъ, что онѣ остались въ литературѣ съ его именемъ. У Конст. Аксакова не было таланта Бѣлинскаго, но и изъ его изложенія многія славянофильскія идеи, благодаря горячей убѣжденности его, запечатлѣваются рѣзче, чѣмъ изъ изложенія другихъ славянофиловъ и потому они по справедливости должны быть связаны именно съ его литературною дѣятельностью.

Возвращаясь же къ проф. Самоквасову, замѣтимъ, что во всякомъ случаѣ, если говорить о фактическомъ вліяніи общинно-вѣчевой теоріи на разработку древне-русской исторіи, то честь его всецѣло принадлежитъ Константину Аксакову. Статья Бѣляева настолько мало извѣстна, что одинъ только пр. Самоквасовъ и цитируетъ ее. Всѣ-же, которые поддались дѣйствію народническихъ воззрѣній на древне-русскую жизнь, взяли ихъ у Константина Сергѣевича. Это онъ ихъ зажегъ своимъ восторженнымъ энтузіазмомъ, это его стремительность опрокинула освященное прежде историческою науковою пренебреженіе къ основамъ народнаго міросозерцанія.

Переходя ко второй основной мысли историческихъ работъ Константина Сергѣевича — о томъ, что русскій народъ рѣзко отдѣлять понятіе о «землѣ» отъ понятія о государствѣ, не можемъ не замѣтить, прежде всего, что свидѣтельствуя, какъ и все когда-либо вышедшее изъ подъ пера Конст. Аксакова, о глубокомъ благоговѣніи его къ качествамъ русского народного духа, мысль эта, однакоже, весьма мало гармонируетъ съ только-что очерченной теоріей того-же автора о широкомъ значеніи народовластія въ древней Руси. Читатель, конечно, замѣтилъ, съ какою энергию Конст. Сергѣевичъ подбиралъ лѣтописные факты, изъ которыхъ ясно, что важнѣйшія события государственной жизни древней Руси совершились при непосредственномъ участіи народа. Всѣ вообще усилия автора теоріи объ общинно-вѣчевомъ бытѣ только къ тому и направлены, чтобы нарисовать картину того, какъ въ первоначальные периоды нашей исторіи русскій народъ *государствовалъ*.

Но что-же находимъ мы въ двухъ статьяхъ «*Объ основныхъ начальахъ русской исторіи*», которые совершенно правильно поставлены во главѣ историческихъ работъ Конст. Аксакова, какъ заключающія въ себѣ главныя мысли его о русской исторіи?

Авторъ даетъ въ ней очеркъ нарожденія русскаго государствен-наго уклада. До Рюрика, говорить онъ, «славянскія племена, насе-лявшія Россію жили подъ условіями быта; община, такъ устроен-ная, носитъ простое название земли, которое мы удержимъ: оно оправдывается впослѣдствії». Но вотъ землю начинаютъ снить «бран-ные, неугомонные сосѣди», возникаетъ также вражда внутрення. Тогда «земля, чтобы спасти себя, свою земскую жизнь, рѣшается призвать на защиту Государство. Но, надо замѣтить, славяне не образуютъ изъ себя Государство, они призываютъ его; они не изъ себя избираютъ князя, а ищутъ его за моремъ; такимъ образомъ, они *не смишиваются съ Государствомъ, приблигая къ послѣднему, какъ къ необходимости для сохраненія первой. Государство, политическое устройство—не сдѣладось цѣлью ихъ стремленія*,—ибо они отдѣляли себя или земскую жизнь отъ Государства и для сохраненія первой призывали послѣднее».

Стремленіе отдѣлить Землю отъ Государства такъ глубоко вкоре-нилось въ русскомъ характерѣ, что оно замѣтно даже у такой воль-ницы, какъ Новгородцы. «Многіе думаютъ о Новгородѣ», говоритъ Аксаковъ, «какъ о наиболѣе мѣнявшемъ князей, что онъ былъ рес-публика: совершенно можно! Новгородъ не могъ оставаться безъ князя. Возьмите новгородскую лѣтопись, прочтите, съ какимъ ужасомъ го-ворить лѣтописецъ о томъ, что они три недѣли были безъ князя».

Чрезъ всю исторію Россіи, начиная съ древнѣйшихъ временъ ея и вплоть до междуцарствія и Петра, проходитъ это рѣшительное откращиваніе отъ власти. «Государство никогда у насть не оболь-щало собою народа, не плѣняло народной мечты; вотъ почему, хотя и были случаи, не хотѣлъ народъ нашъ облечься въ государстven-ную власть, а отдавалъ эту власть выбранному имъ и на то назна-ченному Государю, самъ желая держаться своихъ внутреннихъ, жиз-ненныхъ начальъ».

Можно быть разнаго мнѣнія объ исторической вѣрности только-что приведенного взгляда Константина Сергеевича и о степени его соотвѣтствія съ такими явленіями древне-русской жизни, какъ ча-стые земскіе соборы или выборное замѣщеніе должностей чисто-административнаго характера, т. е. представляющихъ собою delega-цію центральной государственной власти. Но, во всякомъ случаѣ, едва-ли кто станетъ отрицать коренное противорѣчіе выдвигаемаго

нашимъ авторомъ откращиванія отъ власти съ общимъ характеромъ фактovъ, имъ-же подчеркиваемыхъ въ статьѣ объ общинномъ бытѣ. Тамъ объ этомъ откращиваніи и индиферентизмѣ не было ни слова. Напротивъ того, энергично напиралъ Конст. Сергеевичъ на то, что «голосъ и совѣтъ Русской земли» имѣлъ огромное значеніе даже въ эпоху царскую, когда по общему представлению народовластіе исчезло окончательно. Съ энтузіазмомъ указываетъ онъ тамъ, какъ въ эпоху междуцарствія происходили «безпрестанныя совѣщанія народныя въ городахъ и селахъ, совѣщанія, на которыхъ, по обычаю русскому, всѣ сословія, весь народъ принималъ участіе», какъ земля предъявила «свои условія къ воеводамъ-троеначальникамъ» и какъ вообще даже «единодержавіе Москвы» ничуть не измѣнило прежняго уклада. О томъ-же, что все это народовластіе носить тотъ особенный, мало имѣющій общаго съ обычными представліеніями о народовластіи, характеръ, который придає ему Конст. Сергеевичъ въ своихъ стараніяхъ отдѣлить понятіе древне-русской «земли» отъ понятія о государствѣ, обо всемъ этомъ, повторяемъ, авторъ статьи объ общинномъ бытѣ и не заикался. Странность тѣмъ болѣе разительная, что статья объ общинномъ бытѣ написана позже статей, трактующихъ о различіи между древне-русскою «Землею» и государствомъ.

Странность эта, однакоже, вполнѣ объясняется, если мы примемъ во вниманіе, что не an und f眉r sich привлекали Константина Сергеевича историческія явленія, изслѣдованіемъ которыхъ онъ отъ времени до времени занимался. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ ученыхъ, которыхъ интересуетъ предметъ изслѣдованія, какъ таکовой. Публицистъ и трибунъ по натурѣ, онъ приступалъ къ историческимъ работамъ исключительно затѣмъ, чтобы обставить «фактами» тѣ априорные выводы, которые онъ дѣлалъ подъ диктовку общаго своего міровоззрѣнія. Въ данномъ случаѣ, вопросъ объ общинномъ бытѣ древней Руси отнюдь не по существу занималъ нашего пламенного патріота. Все это ему нужно было какъ средство *выставить въ идеальномъ видѣ древне-русскую жизнь*. Быть государственный выше патріархального, и народу стоящему на этой ступени исторического развитія отводится въ этнографической іерархіи болѣе почетное мѣсто—вотъ изъ чего *сердцемъ* исходилъ Конст. Сергеевичъ и вотъ что побуждало его выдвинуть общинно-вѣчевую теорію, какъ возвеличивающую основы русского народного быта и духа. А что тутъ не было строгаго соотвѣтствія съ тѣмъ весьма ограниченнымъ народовластіемъ, которое лежитъ въ основѣ ученія Конст. Сергеевича о различіи между «землею» и государствомъ—это потому мало

тревожило его, что самое-то учение о различіи «земли» и государства есть тоже ничто иное, какъ средство *составить въ идеальномъ видѣ древне-русскую жизнь*.

О какомъ, въ самомъ дѣлѣ, высокомъ нравственномъ уровнѣ говорить эта раздѣльность, если понимать ее, а главное объяснять ея происхожденіе такъ, какъ оно дѣлается Константиномъ Сергѣевичемъ.

«Нравственное дѣло», говорить онъ «должно и совершаться нравственнымъ путемъ, безъ помощи внѣшней, принудительной силы. Вполнѣ достойный путь одинъ для человѣка, путь свободного убѣжденія, путь мира, тотъ путь, который открылъ намъ Божественный Спаситель, и которымъшли Его Апостолы. Это путь *внутренней правды*».

Существуетъ, однако, и «другой путь, гораздо, повидимому, болѣе удобный и простой; внутренній строй переносится во внѣ, и духовная свобода понимается только какъ *устройство, порядокъ*; основы, начала жизни понимаются какъ правила и предписанія. Все формулируется. Этотъ путь не внутренней, а *внѣшней правды*, не совѣсти, а принудительного закона».

Послѣднимъ путемъ, «путемъ внѣшней правды, путемъ государства двинулось западное человѣчество». Такой путь гибеленъ. «Формула, какая-бы то ни была, не можетъ обнять жизни; потомъ, налагаясь извнѣ и являясь принудительной, она утрачиваетъ саму главную силу, силу внутренняго убѣжденія и свободного ея признания; потомъ далѣе, давая такимъ образомъ человѣку возможность опираться на законъ, вооруженный принудительной силою, она усыпляетъ склонный къ лѣни духъ человѣческій, легко и безъ труда успокаивая его исполненіемъ наложенныхъ формальныхъ требованій и избавляя отъ необходимости внутренней нравственной дѣятельности и внутренняго нравственнаго возрожденія».

Русскій-же народъ пошелъ путемъ *внутренней* правды. «Подъ вліяніемъ вѣры въ нравственный подвигъ, возведенный на степень исторической задачи цѣлаго общества» создался «мирный и кроткій характеръ древне-руssкаго народа» благодаря которому онъ, не желая государствовать, добровольно призывалъ государственную власть извнѣ. Добровольность призванія государства имѣть въ глазахъ Конст. Сергѣевича особенную цѣну, потому что оно рѣзко оттѣняетъ процессъ нарожденія государства въ Россіи отъ процесса его нарожденія на Западѣ, где онъ совершился путемъ завоеваній. Вслѣдствіе добровольности призванія въ Россіи земля и государство, хотя «и не смѣшались, а отдѣльно стояли», все-таки находились «въ союзѣ другъ съ другомъ. Въ призваніи добровольномъ означились

уже отношенія земли и государства—взаимная довѣренность съ обѣихъ сторонъ. Не брань, не вражда, какъ это было у другихъ народовъ, вслѣдствіе завоеванія, а миръ, вслѣдствіе добровольнаго призванія».

Такъ складывался русскій государственный строй въ княжескій періодъ, такъ было и потомъ. «Явился Великій Князь и потомъ царь Московскій и всея Руси, наслѣдственный и самодержавный. Отношеніе Земли и Государства, народа и правительства, прежняя взаимная довѣренность—были основою ихъ отношеній. Подобно тому какъ князь созывалъ Вѣче *), царь созывалъ Земскую Думу или Земской Соборъ. Народъ не требовалъ, чтобы государь спрашивалъ его мнѣнія. Государь не опасался спрашивать мнѣнія народа. Кто читалъ эти Думы, тотъ знаетъ, какъ просто излагалось въ нихъ дѣло. Спрашивали выборныхъ отъ всѣхъ сословій; они говорили: мысль напа такова, а тамъ какъ будетъ угодно государю. Не личное самолюбіе, не гордость западной свободы была адѣсь, а обоюдное искреннее желаніе пользы. Здѣсь не ораторствовали, а говорили, и слово не превышало дѣла».

Вотъ въ какихъ очертаніяхъ представлялась въ воображеніи Конст. Сергеевича древне-русская государственная жизнь, вотъ какая идиллическія соціальная отношенія вырисовывалъ онъ съ помощью раздѣльности «Земли» отъ Государства, которая только потому и дорога ему, что является посылкою для восторженного панегирика древней Руси. Еслибы, въ самомъ дѣлѣ, его тутъ интересовалъ вопросъ непосредственнаго историческаго изслѣдованія явленій, вѣдь не могъ-же бы онъ проглядѣть и темныхъ сторонъ, которые неизбѣжны во всѣхъ человѣческихъ учрежденіяхъ уже просто потому, что нѣтъ совершенства на землѣ. Но такъ какъ вся дѣятельность Конст. Аксакова какъ историка имѣла въ основѣ своей исключительно-полемическія цѣли, цѣли борьбы съ «пренебреженіемъ» западниковъ къ древне-русской жизни, такъ какъ во всѣхъ своихъ историческихъ статьяхъ онъ всегда является адвокатомъ и никогда не бываетъ судьею, то слова укоризны и не срываются никогда съ его устъ. Когда- же темные стороны настолько рѣзки, что просто умолчать о нихъ, какъ это дѣлаетъ онъ обыкновенно, невозможно,

*) Въ другихъ мѣстахъ своихъ историческихъ работъ, тамъ гдѣ Конст. Сергеевичу хотѣлось подчеркнуть широкіе предѣлы древне-русскаго народовластія, «созывъ» вѣча окрашивался имъ совсѣмъ въ другой цвѣтъ. Вотъ что, напр., мы читаемъ на стр. 617: «Князь долженъ быть заниматься дѣлами, пока вѣче не собирается. А когда вѣче собирается, оно было важнѣе князя и могло князя прогнать».

тогда всѣ силы его страстной діалектики направляются къ тому, чтобы смягчить и скрасить неприглядность фактovъ, плохо вяжущихся съ картиною аркадскихъ нравовъ. Любопытнымъ образчикомъ такого желанія скрашивать во что бы то ни стало и не смущаясь рѣшительно ничѣмъ можетъ служить отношеніе Конст. Сергѣевича къ крѣпостному праву въ древней Руси. Казалось-бы, какъ спрavitься съ этимъ фактамъ, столь мало говорящимъ о какомъ-то необыкновенномъ душевномъ согласіи «земли» и государства? И однакоже, Конст. Сергѣевичъ нашелъ въ себѣ достаточно пристрастности, чтобы иронически обратиться къ «милостивымъ государямъ» «просвѣщеннымъ противникамъ древней Руси», отъ которыхъ «часто слышали, что безчеловѣчное крѣпостное право установлено древнею Русью» и сказать имъ: «кто говорить, милостивые государи, крѣпостное право наше—дѣло возмутительное. Но виновата-ли въ этомъ древняя Русь?» Статья начинающаяся такимъ ироническимъ обращеніемъ («О состояніи крестьянъ въ древней Руси») осталась неоконченной, слѣдовательно вполнѣ развитъ свою защиту Конст. Сергѣевичу не удалось. Но на поляхъ статьи нашелся краткій конспектъ ея и тезисы. И вотъ заключительный изъ этихъ тезисовъ, въ связи съ общимъ ходомъ аргументаціи статьи, даетъ полное представление объ окончательномъ выводѣ ея, которымъ должны были быть побиты «милостивые государи», коловшіе славянофильству глаза древнерусскимъ крѣпостнымъ правомъ.

„Русь не понимала рабства“, намѣчай въ общихъ чертахъ Конст. Сергѣевичъ свою главную мысль, „къ тому-же въ ней нѣ либерализма, нѣ рабства. Свободная страна. Западъ началъ съ рабства, прошелъ сквозь бунтъ и хвастаетъ холопской дерзостью либерализма...“

„Западъ имѣть опытность грѣха; онъ ужъ узналъ всѣ мерзости и установилъ свои отношенія. Кому-же какъ не лисѣ всѣ лисы норки знать? Русь не имѣла этой опытности и поневолѣ попала въ рабство.“

„Большая разница между грѣхомъ и порокомъ. Въ древней Руси есть грѣхи, но нѣтъ пороковъ.“

Мы съ особеннымъ удовольствіемъ привели эти нѣсколько строкъ. Въ нихъ весь Конст. Аксаковъ, съ его почти безумнымъ обожаніемъ допетровской старины, съ его поистинѣ трогательною способностью выдвигать въ защиту древне-русской жизни такие поражающіе софизмы, которые показываютъ, что мы тутъ имѣемъ дѣло уже не съ теоретическимъ возврѣніемъ, не съ научнымъ взглядомъ, а прямо съ какимъ-то религіознымъ экстазомъ.

Мы выше старались показать, что мысли Конст. Аксакова объ общинномъ бытѣ и раздѣльности «земли» отъ Государства, по основному назначенію своему, являются посылками для созданія величаваго образа древне-русской жизни до ея «порчи» ненавистными Конст. Сергѣевичу, въ періодъ окончательного установлениія его міросозерцанія, реформами Петра Великаго. Эти посылки могутъ быть названы главными устоями историческихъ взглядовъ Конст. Аксакова и потому мы ихъ выдѣлили особо. Но ими далеко не исчерпывается число деталей, съ помощью которыхъ восторженный паладинъ древне-русского уклада жизни хотѣлъ сразить скептицизмъ своихъ западническихъ противниковъ, видѣвшихъ въ этомъ укладѣ не только свѣтлыя стороны, но и цѣлый рядъ фактовъ грубаго по-пиранія элементарныхъ основъ человѣческаго общежитія. Конст. Сергѣевичъ, напротивъ того, то и дѣло открывалъ новыя данные для подтвержденія своего восторженнаго отношенія къ древней Руси.

Въ древней Руси, напримѣръ не было аристократіи, «и не могло быть, ибо боярство не было наслѣдственно. Князья часто попадаются въ жильцахъ; все зависѣло отъ службы. Сюда, правда, входило мѣстничество; но само мѣстничество на воспоминаніяхъ службы основывало права свои. Раздѣленія на неподвижныя сословія не было. Живое начало проникало весь составъ, и нигдѣ, ни въ какомъ сословіи не застаивалось кругообращеніе силъ государственныхъ; можно было дослужиться до боярина; изъ людей земскихъ можно было перейти въ служилые. Аристократіи западной не было вовсе».

Это отсутствіе аристократического начала сказалось особенно ярко въ былинахъ Владимира цикла, разобранныхъ Конст. Сергѣевичемъ въ особой статьѣ, о которой сказано выше (стр. 213).

Тѣ-же былины Владимира цикла даютъ нашему автору матеріаль для обрисовки высокаго общественнаго положенія славянской женщины. «Женщины былинъ часто носять юяки, панцыри, кольчуги, также выбѣжаютъ въ поле искать бранныхъ опасностей. Сила ихъ иногда не уступаетъ мужской. Такова Настасья Королевишна, на которой женился Дунай, сестра Афросины Королевишины, супруги Великаго Князя Владимира, отличавшейся влюблывымъ сердцемъ. Такова жена Ставра боярина Василиса Микулишна. Прибавимъ, въ дополненіе къ этой мужественности женщинъ образъ, совершенно русскій, Царь-Дѣвицы; вспомнимъ преданія объ Амазонкахъ, о Чешской Власкѣ, и все это вмѣстѣ, утверждая за славянскою женщиною независимость и равныя права съ мужчиною даже въ ратномъ дѣлѣ, совершенно уничтожаютъ тѣмъ самыи всякую мысль о рабствѣ или угнетеніи женщинъ у Славянъ».

Но самый жгучій энтузіазмъ возвуждаетъ въ Конст. Сергѣевичѣ христіанство древней Руси, причемъ исторію его вдоворенія на нашей родинѣ онъ представляетъ себѣ совсѣмъ не въ томъ видѣ, въ какомъ оно намъ извѣстно изъ другихъ историческихъ данныхъ. Занимавшіеся древне-русскою письменностью знаютъ, какую огромную роль играеть въ ней борьба съ двоевѣріемъ. Принявши христіанство, предки наши не могли, конечно, сразу отстать отъ прежнихъ вѣрованій своихъ и въ теченіи многихъ, многихъ вѣковъ примѣшиваютъ ихъ къ вѣрованіямъ новымъ. Противъ этого, какъ его называли древне-руssкіе пастыри, двоевѣрія, направлена значительная часть литературы древняго периода нашей исторіи. Чтобы не оставлялись на мелкихъ явленіяхъ, отмѣтимъ проповѣди пр еп. Феодосія печерскаго, жившаго въ XI вѣкѣ, св. Серапіона, епископа Владімірскаго, жившаго въ ХІІІ вѣкѣ, Максима Грека и Столглава, боровшихся съ двоевѣріемъ еще въ срединѣ XVI вѣка.

Но ничего этого знать не хотѣлъ Конст. Сергѣевичъ. Онъ не прочь даже серьезно утверждать, что русскіе Славяне никогда собственно и не были язычниками. (Статья «О язычествѣ у древнихъ Славянъ»). «У Русскихъ Славянъ мы положительно не видимъ ни жрецовъ, ни храмовъ, не видимъ ни идоловъ, ни даже боговъ». Правда, Несторъ упоминаетъ о богахъ и кумирахъ, но по мнѣнію Конст. Аксакова «слова Нестора объясняются какъ нельзя яснѣ», именно тѣмъ, что «идолопоклонство это — была вѣра Князя и дружины». Язычество же народа «было самое чистое язычество, было при вѣрованіи въ Верховное Существо, постоянное освященіе жизни на землѣ, постоянное ощущеніе общаго высшаго смысла вещей и событий. Слѣдовательно, вѣрованіе темное, не ясное, готовое къ просвѣщенію и ждавшее луча истины». Конечно, сколько-нибудь серьезныхъ доказательствъ этого удивительного взгляда на древне-русскую народную мифологію, богатую цѣльнымъ рядомъ боговъ и божествъ, нашъ авторъ и не приводить въ своеемъ занимающемъ ровно пять страницъ обзорѣ русскаго язычества, на которыхъ онъ, однако же, съ такою рѣшительностью выдвигаетъ взгляды діаметрально-противоположные тому, къ чему пришла русская историческая наука. Эта рѣшительность, имѣющая своимъ единственнымъ основаніемъ желанія автора, составляетъ одну изъ основныхъ чертъ всѣхъ вообще историческихъ и иныхъ писаній Конст. Сергѣевича, который, за исключениемъ статьи о родовомъ бытѣ, почти всегда говорилъ *догматически* т. е. положеніями и утвержденіями, не подкрѣпляемыми фактическими данными.

Но возвратимся къ исторіи христіанства на Руси по пред-

ствленію Конст. Сергѣевича. Мнѣніе обѣ отсутствіи заправскаго язычества у нашихъ предковъ понадобилось намѣму автору для того, чтобы, смѣшавши въ одно всѣ столѣтія допетровской старины,—создать одну общую характеристику древне-руssкаго душевнаго настроенія. Въ результатѣ получается слѣдующая противорѣчащая исторіи картина, въ которой перепутаны такія мало имѣющія общаго между собою эпохи, какъ время Владимира и 1612 годъ и въ которой упущенъ фактъ лишь постепеннаго наростанія древне-руssкаго благочестія. По Аксакову-же это благочестіе народилось сразу:

«При Игорѣ и Владимирѣ идолопоклонство князя и дружины начинаетъ простиаться и въ народъ, но оно не долго продолжалось; скоро свѣтъ христіанскій озарилъ Русскую землю, Русскій народъ, скоро Владимиръ принялъ крещеніе. Народъ легко отдалъ принятые имъ кумиры, и также легко принялъ христіанство,—но оно глубоко проникло его душу и стало необходимымъ условіемъ всего его существованія. Христіаніе и Русскій стали однимъ словомъ. Русь, какъ земля христіанская, именуется святою, и вся послѣдующая исторія показала, что ни соблазны, ни насилия не могутъ лишить насть духовнаго блага вѣры.—Отдавая на терзаніе свое тѣло, русскій не отдавалъ душу, и терпѣливый во всемъ, онъ не переноситъ оскорблѣнія вѣры; исторія казаковъ, исторія польскаго нацества показываютъ намъ это, являютъ намъ этотъ спасающейся на землѣ народъ, падающей какъ грѣшникъ-человѣкъ, но не слабѣющей въ вѣрѣ, не отрывающейся, всегда кающейся и возстающей покаяніемъ. Поляки изумлялись, смотря на это во времена междуцарствія; ихъ католическая вѣра была властью политическая, завоевательная, была дѣло государственное, и поэтому дѣло совсѣмъ другое. Приходя въ частыя соприкосновенія съ Русскимъ народомъ по вопросамъ государственнымъ, Поляки съ изумленіемъ говорятъ: странный народъ: онъ толкуется не о политическихъ условіяхъ, а о вѣрѣ. Но мы, Русскіе, этому не удивимся, а съ благоговѣніемъ слышимъ это.

Когда вспоминаешь, какъ крестился русскій народъ, невольно умиляешься душою. Русскій народъ крестился легко и безъ борѣбы, какъ младенецъ, и христіанство озарило всю его младенческую душу. -- Въ его душѣ не было воспоминаній языческихъ, не было огрубѣлой, опредѣленной лжи».

Мы ознакомили читателя съ цѣльнымъ рядомъ историческихъ взглядовъ Конст. Аксакова, имѣющихъ цѣлью выставить въ идеальномъ свѣтѣ древне-руssкую жизнь.

Можно-ли, однако, сказать, что эта идеализація древней Руси есть окончателльная цѣль историческихъ изслѣдованій Константина Сергѣевича? Нѣть-ли въ его историческомъ міровоззрѣніи другой, еще болѣе центральной идеи?

Намъ кажется, что скольконибудь внимательное изученіе совокупности какъ историческихъ, такъ и иныхъ писаній разсматриваемаго теперь историка-публициста, приводить къ убѣждѣнію, что въ

такой-же степени, какъ всѣ взглѣды Конст. Сергеевича на явленія древне-русской жизни имѣютъ своимъ главнымъ назначеніемъ служить посылками для созданія величавой картины общественнаго и государственнаго быта допетровской Руси, такъ, въ свою очередь, эта идеализація есть по существу тоже ничто иное, какъ посылка для обоснованія мысли, которую мы всего правильнѣе находимъ называть мыслью о *богоизбранности русскаго народа*.

Мы хорошо сознаемъ, что выдвинувъ такую формулировку ученолитературной дѣятельности Конст. Аксакова, мы должны натолкнуться на оживленный протестъ приверженцевъ идей изучаемаго нами теперь первоучителя славянофильства. Уже упреки въ национальной исключительности вызывали со стороны славянофиловъ обвиненія въ клеветѣ. А Иванъ Сергеевичъ Аксаковъ, такъ толь въ предисловіи ко II тому сочиненій своего брата находилъ дажѣ, что направленныя по адресу Конст. Сергеевича обвиненія въ национальной исключительности имѣютъ своимъ источникомъ «незрѣчество противниковъ славянофиловъ».

Очень, однако, нетрудно будетъ показать, что стремленіе къ национальной исключительности, понимая въ данномъ случаѣ этотъ терминъ какъ желаніе отвести русскому народу мѣсто совершенно особенное въ ряду другихъ народовъ цивилизованного міра, лежитъ въ основѣ всѣхъ писаній какъ славянофиловъ вообще, такъ и Конст. Аксакова въ частности. Протесты-же въ родѣ только-что приведенаго основаны на недоразумѣніи и на слишкомъ буквальномъ толкованіи нѣкоторыхъ выраженийъ основателей славянофильства. Не отрицаю, что дѣйствительно въ сочиненіяхъ между прочимъ и Конст. Сергеевича мы иной разъ наталкиваемся на подчеркиваніе «общечеловѣческихъ» чертъ русскаго духа. Такъ читатель вѣроятно вспомнить приведенную нами на стр. 263 цитату изъ изслѣдованія Конст. Сергеевича о русскихъ глаголахъ, гдѣ авторъ такъ опредѣленно говоритъ: «кто изъ насъ станетъ отвергать общее, человѣческое?» Вспомнить, вѣроятно, также читатель диссертацию о Ломоносовѣ, основное стремленіе которой, съ одной стороны, заключается въ томъ, чтобы подсмотретьъ въ русской исторіи фазисы установленные Гегелемъ для всего человѣчества, а съ другой въ томъ, чтобы пропѣть восторженный дифирамбъ Петру за освобожденіе Россіи отъ «оковъ исключительной национальности». Правда, читатель можетъ припомнить и то, что диссертация о Ломоносовѣ не выражаетъ собою *настоящую* Константина Аксакова, какимъ онъ былъ въ періодъ окончательнаго развитія своего міровоззрѣнія. Но мы въ данномъ случаѣ придемъ на помощь людямъ протестующимъ про-

тивъ «навязыванія» славянофиламъ стремлениі къ національной исключительности и укажемъ на рецензію Конст. Сергѣевича о I томъ исторіи Соловьева, въ которой авторъ, прямо отрекаясь отъ прежняго восторженного отношенія къ Петру, съ неменьшимъ, однако, восторгомъ подчеркиваетъ, что національная исключительность чужда и ненавистна русскому народу.

Только-что указанного было-бы совершенно достаточно, чтобы перестать считать ученіе о богоизбранности русскаго народа характерною чертою міровоззрѣнія Конст. Аксакова. Въ особенности убѣдительно то, что и въ періодъ своего фанатического увлеченія реформами Петра, и въ періодъ еще болѣе фанатической ненависти къ нимъ, онъ, подходя къ предмету съ діаметрально-противоположныхъ отправныхъ точекъ, тѣмъ не менѣе одинаково отрицательно относился къ національной исключительности.

Все это на первый взглядъ отрицательное отношеніе, однакоже, только кажущееся, и при сколько-нибудь пристальномъ анализѣ именно тѣ-то самыя немногія мѣста произведеній Конст. Аксакова, гдѣ говорится объ общечеловѣческихъ сторонахъ русскаго духа, только увеличиваются число посылокъ, на которыхъ покоится теорія богоизбранности русскаго народа. Начнемъ хотя-бы съ цитаты, приведенной на стр. 263 настоящаго тома. Что тамъ говорится непосредственно послѣ словъ: «Кто изъ насъ станетъ отвергать общее, человѣческое?»

«Русскій народъ самъ имѣеть на него (общечеловѣческое) прямое право, а не черезъ посредство какого-нибудь народа; оно самобытво и самостоятельно принадлежитъ ему, какъ и другимъ? Можетъ быть ему болѣе, нежели другимъ, и можетъ быть міръ не видалъ еще тою общиною человѣческою, какое явить великая славянская, и именно русская природа».

Это-ли не провозглашеніе богоизбранности русскаго народа, это-ли не превращеніе общечеловѣческихъ сторонъ русской духовной природы въ средство показать, что русскій народъ духовно выше, духовно совершеннѣе другихъ народовъ?

Въ такое-же прославленіе *специально русскому народу* присущихъ доблестей неожиданно превращается, первоначально вытекшее изъ другого источника, желаніе Конст. Аксакова показать, что національная исключительность чужда русскому духовному складу. Восторженное одобрение этой чертѣ русской народной психологіи, высказанное Конст. Сергѣевичемъ въ вышеупомянутой рецензіи на I томъ исторіи Соловьева, конечно, исключило-бы, какъ мы уже сказали, въ озможность видѣть въ нашемъ писателѣ провозвѣстника идеи богоизбранности русскаго народа. Но въ томъ-то и дѣло, что идея

русского превосходства такъ переполняетъ его, желаніе видѣть въ народѣ русскомъ избранный сосудъ Господень такъ велико, что начавши, такъ сказать, за упокой, онъ кончаетъ во здравіе, начавши съ аплодированія идеи общности народовъ, онъ незамѣтно для самого себя переходитъ на почву преимуществъ русского народа передъ другими. «Исключительности національной не было никогда въ до-петровской Россіи» читаемъ мы сперва и вслѣдъ за этимъ идутъ историческія доказательства. «Духъ нашего народа есть христіанско-человѣческій» провозглашаетъ на слѣдующей страницѣ Конст. Сергѣевичъ, идя въ томъ же направленіи. Но вотъ въ одинъ монентъ вся постановка вопроса совершенно мѣняется и мы читаемъ слѣдующія слова, направленныя противъ гордыни европейскихъ народовъ, но на самомъ дѣлѣ обличающія національную гордыню ихъ автора:

«И теперь, ни къ нѣмцамъ, ни къ полякамъ, въ простомъ народѣ нѣтъ никакой ненависти. Но этотъ высокий христіанский взглядъ нашею народа былъ недоступенъ народамъ другихъ, гордынь народа Запада, которые только теперь, и то въ избранныхъ своихъ, въ нѣкоторыхъ сословіяхъ, дошли до человѣческаго взгляда русского народа, да и то больше какъ космополиты, следовательно впали въ новую ошибку».

Опять, значитъ, русскій народъ выше всѣхъ, опять онъ исклю-
чительное вмѣстилище нравственныхъ началъ.

Такъ вотъ къ чему сводятся два, три мѣста въ произведеніяхъ Конст. Аксакова, которыя на первый взглядъ какъ будто противорѣчатъ нашему формулированію центральной идеи его ученого-литературной дѣятельности. На диссертациіи о Ломоносовѣ мы, конечно, не останавливаемся, но читатель, достаточно ознакомленный выше съ тѣмъ, какъ нужно смотрѣть на эту послѣднюю отрыжку гегеліанства юныхъ дней Конст. Сергѣевича, не увидитъ тутъ упущенія съ нашей стороны.

А теперь, послѣ того, какъ мы устранили тѣ немногія препятствія, которыя могли-бы помѣшать нашей формулировкѣ, наша задача становится до нельзяя простою. Намъ не стоило-бы никакихъ усилий составить цѣлую христоматію, цѣлую мозаику цитатъ, настолько рѣзкихъ и опредѣленныхъ, что одно приведеніе ихъ, безъ всякихъ комментаріевъ, ярко обрисовываетъ идею русской богоизбранности.

Оставляеть-ли напр. какія-нибудь сомнѣнія такая фраза: «Русская Исторія имѣть значеніе Всемірной Исповѣди. Она можетъ читаться, какъ житія Святыхъ» (стр. 625).

Спѣшимъ прибавить, что терминъ «богоизбранность» слѣдуетъ въ данномъ случаѣ понимать отнюдь не въ переносномъ смыслѣ, а

непремѣнно въ буквальномъ. Да, по глубокому убѣжденію Конст. Аксакова, Господь Богъ, въ своей неисчерпаемой благости, взыскалъ Россію своею особеною милостію и въ награду за его *смирение* поставилъ русскій народъ превыше всѣхъ буйныхъ и кичливыхъ своюю суетною мудростью народовъ Запада.

Съ мыслями Конст. Сергеевича о смиреніи русскаго народа мы-бы, собственно говоря, должны были ознакомить читателя выше, въ томъ отдѣлѣ, гдѣ шла рѣчь о доблестяхъ древне-русскихъ по представлениіямъ нашего писателя. Но ученіе о русскомъ смиреніи такъ тѣсно переплетено у Конст. Аксакова съ ученіемъ о русской богоизбранности, что ихъ трудно разсматривать отдѣльно. Одно другое дополняетъ и одно изъ другого вытекаетъ.

«Русская исторія» читаемъ мы на стр. 18 (т. I) «въ сравненіи съ исторіей Запада Европы отличается такою простотою, что приведеть въ отчаяніе человѣка, привыкшаго къ театральнымъ выходкамъ. Русскій народъ не любить становиться въ красивыя позы; въ его исторіи вы не встрѣтите ни одной позы, ни одного красиваго эффекта, ни одного яркаго наряда, какими поражаетъ и увлекаетъ вѣсть исторія Запада; личность въ русской исторіи играетъ вовсе не большую роль; принадлежность личности — необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ея — и нѣтъ у насъ. Нѣтъ рыцарства съ его кровавыми доблестями, ни безчеловѣчной религіозной пропаганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообще этого беспрестаннаго, щегольского драматизма страстей».

Въ приведенныхъ покамѣсть словахъ нѣтъ еще ничего специфически славянофильского. Рѣчь идетъ о той составляющей основу русскаго національнаго характера симпатичной простотѣ и безъискусственности, предъ которыми западничество преклоняется не менѣе сплавянофильства. Кто рѣзче Тургенева въ «Запискахъ Охотника» отѣнилъ полное отсутствіе въ коренномъ русскомъ человѣкѣ рисовки и театральности?

Но простое уваженіе къ этой чертѣ русскаго характера не удовлетворяетъ Конст. Аксакова и вотъ создается знаменитая теорія русскаго «смиренія», которою такъ грубо злоупотребляли люди ничего общаго не имѣвшіе съ высотою помысловъ и чистотою намѣреній восторженного славяноfila, но отлично понявши, что «смиреніе» удивительно удобная почва для проповѣди застоя и китайщины.

Обрисовавъ «театральный» характеръ западной исторіи, Конст. Сергеевичъ переходитъ къ исторіи русской.

«Русская исторія — явленіе совсѣмъ иное. Дѣло въ томъ, что здѣсь другую задачу задалъ себѣ народъ на землѣ, что христіанское ученіе глубоко легло въ основаніе его жизни. Отсюда, среди бурь и волнений, насть посѣщашихъ, эта молитвенная тишина и смиреніе, отсюда внутренняя духовная жизнь вѣры. Не

отъ недостатка силъ и духа, не отъ недостатка мужества возникаетъ такое кроткое явленіе! Народъ русской, когда бывалъ вынужденъ обстоятельствами явить свои силы, обнаруживалъ ихъ въ такой степени, что гордые и знаменитые храбростю народы, эти лихие бойцы человѣчества, падали въ прахъ предъ нимъ, смиренными и тутъ-же, въ минуту побѣды, дающимъ пощаду. Смиреніе, въ настоящемъ смыслѣ, несравненно большая и высшая сила духа, чѣмъ всякая гордая, безстрашная доблѣсть. Вотъ съ какой стороны, со стороны христіанского смиренія, надо смотрѣть на Русскій народъ и его исторію. *Въ такомъ народѣ не прославляется человѣкъ съ сю дѣлами, прославляется одинъ Богъ.* Чтобы въ этомъ увѣриться, стонѣть только припомнить нашу исторію. Русскіе одерживають невѣроятную побѣду; и, говоря о ней безъ всякаго слова похвалы или гордости, приписываютъ ее помощи Божіей; не чувство побѣднаго триумфа одушевляетъ ихъ, а чувство благодарности къ Богу. Налетаютъ татары или поляки,—народъ говоритъ: это за грѣхи наша, мы прогнѣвали Господа — кається и выходитъ на неизбѣжную брань. Побѣждены татары, взята Казань, разбиты рыцари, освобождена Москва—Русскій народъ не ставить памятниковъ ни дѣлу, ни человѣку, а строить церкви и учреждаетъ крестные ходы. Скажемъ здѣсь кстати о Русскомъ народѣ, что до христіанства онъ былъ уже добрая почва, и что слово Божіе, упавшее на него, какъ на добрую почву, взросло во благѣ. Поэтому (согласно и съ духомъ Русскаго народа, согласно и съ вѣчными началами Вѣры, которыми по благодати Божіей онъ овъ просвѣтленъ) исполнена такой глубокой простоты Русская исторія; поэтому не встрѣтите вы въ ней ни одной этой красноречивой лжи, которая заставляетъ человѣка любоваться собою въ своемъ собственномъ порывѣ, говорить фразы, щеголять нарядомъ тѣла и души. Въ Русскомъ мірѣ нѣть ничего гордаго, ничего блестящаго, ни единаго эффекта. Все просто. Слово скучно; вы встрѣтите его столько, сколько нужно для дѣла, скорѣе даже менѣе, чѣмъ нужно для дѣла. Совершаются великия дѣла — безъ щегольства и хвастливости. Собирается Земская Дума или Соборъ безъ всякихъ театральныхъ обстановокъ, а просто для дѣла. Идуть освобождать Москву, зовутъ другъ друга на общій подвигъ, искренно и просто. И все кажется не красиво и не видно для неглубокаго взгляда—тому, кто не замѣтить великолѣтіи смиренія и внутренней силы, для того нужной. А кто замѣтить, кто увидѣть это, передъ тѣмъ поблѣднѣютъ всѣ иллюстрированные картинки, которыми такъ богаты истории другихъ народовъ. Въ самомъ дѣлѣ, какая можетъ тамъ быть красота и блескъ, гдѣ нѣть поклоненія человѣку, гдѣ человѣкъ не любуется самъ собой, гдѣ онъ, христіанинъ, постоянно сознаетъ себя грѣховнымъ и недостойнымъ и смиряется, молясь, пе редъ Богомъ. Здѣсь высшая духовная красота, не многимъ понятная. Но Русскій народъ не впадъ и въ другую гордость, въ гордость Вѣрою, т. е. онъ не возгордился тѣмъ, что онъ имѣеть Вѣру. Нѣть, это народъ христіанскій въ настоящемъ смыслѣ этого слова, постоянно чувствуящею свою грѣховность. *Исторія Русскою народа есть единственная во всемъ мірѣ исторія народа христіанскаго не только по исповѣданію, но по жизни своей, по крайней мѣрѣ, по стремлению своей жизни.* (т. I, стр. 19).

Курсивъ послѣднихъ словъ принадлежитъ Конст. Сергеевичу. Онъ, значитъ, хотѣлъ, чтобы они особенно запечатлѣлись въ представлениі читателя, чтобы они особенно крѣпко засѣли въ находящихся «подъ игомъ Запада» умахъ нашихъ «верхнихъ классовъ». И, конечно, цѣль эта настолько блистательно достигается, что при-

веденіе другихъ мѣстъ изъ обширной христоматіи цитать, свидѣтельствующихъ о томъ, что богоизбранность русскаго народа есть центральный пунктъ міровоззрѣнія Конст. Аксакова, было-бы совершенно лишнею тратою времени. Болѣе рѣзкой постановки идеи богоизбранности и представить себѣ нельзѧ. Древне-еврейскіе пророки не говорили въ болѣе восторженныхъ выраженіяхъ о богоизбранности своего народа. А не забудемъ, что древніе евреи были единственнымъ народомъ Востока, дошедшімъ до идеи Единобожія, между тѣмъ какъ Конст. Аксаковъ строить свои параллели не на сравненіяхъ съ язычниками, а на сравненіяхъ съ народами, поклоняющимися тому-же Христу, что и русскіе и притомъ еще просвѣщенными благодатью христіанскаго ученія на много вѣковъ раньше русскаго народа. И вотъ, если принять во вниманіе эту весьма капитальную разницу, то мы неизбѣжно приходимъ къ убѣждѣнію, что ученіе Конст. Аксакова о богоизбранности русскаго народа проникнуто гораздо большею національною исключительностью, чѣмъ то древне-еврейское ученіе о богоизбранности Израїля, которое считается крайнимъ проявленіемъ исключительности и національной гордыни. Не забудемъ также, что біблейскіе пророки, говорившіе такъ страстно и восторженно о любви Господа къ Израилю, были столь-же страстны въ нападкахъ на недостатки своего народа, на его отступленія отъ шествованія по стези богообразненности и добродѣтели. Съ усть-же Конст. Аксакова слова укоризны не срываются никогда по отношенію къ тому ядру русской націи, которое онъ считаетъ «настоящимъ» русскимъ народомъ. Онъ безпощаденъ только въ нападкахъ на «оторванную» отъ «почвы» интеллигентію, созданную реформами Петра. О народѣ-же до-петровскомъ Конст. Сергеевичъ можетъ говорить не иначе, какъ съ молитвеннымъ благоговѣніемъ. Правда, послѣ приведенного выше курсивомъ утвержденія, что русскій народъ «есть единственный во всемъ мірѣ» образецъ истинно христіанской жизни Конст. Сергеевичъ прибавляетъ:

«Да не подумаютъ, чтобы я считалъ исторію русскую исторіею народа святаго? О я тѣмъ-бы нарушилъ и свое мнѣніе о немъ, и святыню его смиренія! Нѣть, конечно это народъ грѣшный: безгрѣшного народа быть не можетъ.»

Но вся эта оговорка, противорѣчаща, впрочемъ, выше цитированному афоризму: «Русская исторія читается какъ житія Святыхъ», въ концѣ концевъ ведеть, все-таки, къ прославленію безпримѣрныхъ качествъ русскаго народа: онъ хотя и

«народъ грѣшный (безгрѣшного народа быть не можетъ), но постоянно, какъ христіанинъ, падающей и кающейся—не гордящейся грѣхами своими, не имѣющей именно тѣхъ блестящихъ суетныхъ сторонъ той славы, величанія и гордости зем-

ной другихъ народовъ, которая показываютъ уже не христіанскій путь. Грѣхъ былъ для русскаго народа всегда грѣхомъ, а не добродѣтелью; онъ въ немъ каялся, а не хвалился имъ. Начало всей его жизни, отъ котораго, по слабости человѣческой, онъ въ поступкахъ и отклонялся иногда, никогда его не отвергая, не переставая къ нему стремиться, и сознавая въ такомъ случаѣ себя виновнымъ—есть Вѣръ Православная. Не даромъ Русь зовется святая Русь. (стр. 20).

Но если духовныя качества русскаго народа такъ высоки, если святая Русь есть такое безпримѣрное вмѣстилище доблестей и богоизбранности, то какая ей за все это уготована награда? Извѣстно, вѣдь, что всякое ученіе о богоизбранности или по крайней мѣрѣ то, съ которымъ мы знакомимся по Ветхому Завѣту, очень краснорѣчиво въ описаніи благъ и милостей, которыми Господь осыпаетъ народы имъ излюбленные особо.

По отношенію къ ученію Конст. Аксакова казалось-бы съ перваго раза, что эта награда должна быть исключительно духовная. Конст. Сергеевичъ такъ часто подчеркиваетъ противоположность между специальнѣ-нравственнымъ духовнымъ складомъ народа русскимъ и грубо-матеріальныемъ другихъ народовъ, что, казалось-бы, что и награду русскому народу за его смиреніе и шествованіе по стезѣ добродѣтели онъ долженъ быть видѣть въ какихъ-нибудь исключительно-духовныхъ благахъ.

Къ удивленію оно не такъ, и восторженный апологетъ русскаго смиренія, беззавѣтнаго служенія истинѣ и безкорыстнаго духовнаго совершенствованія съ тѣмъ-же пафосомъ, съ которымъ древне-еврейскіе пророки говорили о роскошныхъ пажитяхъ и виноградникахъ Израїля, рисуетъ такую картину материальною могущества Россіи:

«И Господь *возвелічилъ* смиренную Русь. Вынуждаемая своими драчливыми соседями и пришельцами къ отчалинной борьбѣ, она *повалила* (sic) ихъ всѣхъ одного за другимъ. Ей дался просторъ на землѣ. Въ трехъ частяхъ света ея владѣнія, седьмая часть земного шара принадлежитъ ей одной. Въ ея предѣлахъ невыносимое знонное лѣто и невыносимая вѣчная зима; въ ея предѣлахъ солнце восходитъ на одномъ концѣ и заходитъ на другомъ въ одно и то-же время. И вѣтъ гордая Европа, всегда презиравшая Русь, презиравшая и не понимавшая ея духовной силы, увидѣла страшное могущество силы материальной, и для нея понятной (sic),—и снѣдаемая ненавистью, въ какомъ-то тайномъ ужасѣ, смотрить она на это страшное, полное жизни, тѣло—души котораго понять не можетъ».

Всего поразительнѣе, конечно, въ этой тирадѣ то, что въ ней говорится о территориальномъ расширѣніи Россіи, которое, какъ извѣстно, главнымъ образомъ происходило при Петрѣ и его преемникахъ, т. е. въ тотъ ненавистный Конст. Сергеевичу *петербургскій* periodъ, когда по ученію славянофиловъ истинно-русскія начала были попраны и тлетворныя вліянія Запада исказили характеръ русской государственной жизни.

Намъ остается теперь, чтобы покончить съ ученіемъ Конст. Аксакова о богоизбранности русского народа, указать на одну изъ наиболѣе характеристическихъ особенностей этого ученія, которую мы, при всемъ нашемъ желаніи оставаться въ предѣлахъ строгой объективности, рѣшаемся назвать одной изъ самыхъ темныхъ сторонъ міровоззрѣнія Конст. Сергѣевича. Мы говоримъ о его фанатической ненависти къ Западу, о егоничѣмъ не оправдываемомъ стремлѣніи для *всѧго прославленія русскаго народа уничтожать и поносить другіе народы цивилизованныю міру*. Хотимъ надѣяться, что читатели настоящей статьи не упрекнутъ насъ въ проявленіяхъ партійного чувства. Принадлежа къ другому лагерю, мы все-таки съ искреннимъ уваженіемъ комментировали экстравагантный патріотизмъ Конст. Сергѣевича, потому что видѣли его источникъ въ *обилии любви* и въ богатствѣ энтузиазмомъ, т. е. такихъ чувствахъ, которые могутъ привести къ ложнымъ и невѣрнымъ выводамъ, но всегда согрѣваютъ сердце читателя возвышенностью своего полета и потому будятъ въ немъ хорошіе инстинкты. Конст. Сергѣевичъ напр. выставляетъ древне-русскую жизнь въ такомъ идеальномъ свѣтѣ, который имѣеть весьма мало общаго съ трезвою правдою другихъ болѣе хладнокровныхъ и менѣе одностороннихъ изслѣдователей нашего прошлаго. Мы поэтому несогласны съ Конст. Сергѣевичемъ *умомъ*. Сердцемъ-же чувствуешь невольную симпатію къ такой удивительной любви и преданности. Конст. Сергѣевичъ, затѣмъ, неоднократно протестуетъ противъ нѣмецкой духовной опеки и нѣмецкихъ взглядовъ на русскую жизнь. Можно, опять-таки, не соглашаться съ вредоносностью нѣмецкой опеки и указать на длиннѣйший рядъ явлений русской духовной жизни, когда нѣмцы и русскіе, воспитанные на нѣмецкихъ возврѣніяхъ, являлись истинными благодѣтелями русского народа, разсѣвая мракъ окружавшаго его невѣжества и внося блага духовнаго совершенства въ грубость первобытныхъ нравовъ. Но все-таки стремленіе къ самостоятельности и нежеланіе быть подъ опекою—чувства самыя законныя и мы не имѣемъ никакого права ставить ихъ кому-бы то ни было въ укоръ. Наконецъ, можно даже простить Конст. Сергѣевичу его провозглашеніе идеи русской богоизбранности, пока она покоится только на отыскиваніи у русского народа совершенно безпримѣрныхъ добродѣтелей. Эта идея, конечно, совершенно нелѣпая, потому что всѣ люди и народы равны предъ Богомъ и только младенчествующая мысль можетъ серьезно предаваться подобнымъ наивнымъ иллюзіямъ. Несомнѣнно шокируетъ также грубая хвастливость объемомъ и силою «повалившаго» своихъ супротивниковъ кулака русского, хвастливая болѣе достойная охотничьяд-

скихъ молодцевъ, нежели такого высокаго идеалиста, какъ Конст. Сергеевичъ. И все-таки, въ общемъ, идея русской богоизбранности не оскорбляет нравственного чувства потому что источникъ ея, повторяемъ, есть *общество любви*, переполняющей духовное существо Конст. Аксакова, т. е. такой источникъ, о которомъ всегда можно сказать: лучше больше, чѣмъ меньше.

Но дѣло принимаетъ совсѣмъ другую окраску разъ Конст. Сергеевичъ, изъ человѣка защищающаго величие своей родины отъ высокомѣрнаго презрѣнія къ ней заправскихъ и домашнихъ европейцевъ, самъ превращается въ фанатического ругателя всего европейскаго. Тутъ уже значитъ не любовь является подкладкою, а вражда и вражда, къ тому-же, совершенно ненужная для тѣхъ цѣлей, къ которымъ стремится Конст. Аксаковъ. Если ему хочется непремѣнно доказать, что «Россія—земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейскія государства и страны» и что «очень ошибаются тѣ, которые прилагаютъ къ ней европейскія возврѣнія и на основаніи ихъ судятъ о ней» (стр. 7), то для доказательства этой мысли было-бы достаточно установить *разницу* между Россіею и Европою и ихъ взаимную противоположность, а не было рѣшительно никакой надобности поносить Европу. Зачѣмъ было затемнять такое свѣтлое и возвышенное чувство, какъ патріотизмъ человѣко-ненавистничествомъ, зачѣмъ было поддаваться такому нехристіанскому побужденію, какъ униженіе ближняго?

А сильно и стремительно было это побужденіе. Просто до смѣшнаго доходила у Конст. Сергеевича вражда къ Западу. Чего, чего только не приписывалъ онъ ему!

Ужасно прошлое Запада:

«Въ основаніи государства западнаго лежало: *насилие, рабство и вражда*» (курсивы К. С.) и «если тамъ и была тишина, какъ явление, въ основѣ все-таки лежала вражда» (стр. 8). Въ то время какъ «благодать сошла на Русь и Православная Вѣра была принята ею, Западъ пошелъ по дорогѣ католицизма. Страшно въ такомъ дѣлѣ говорить свое мнѣніе, но если мы не ошибаемся, то скажемъ, что по заслугамъ дался и истинный, дался и ложный путь Вѣры,—первый Руси, второй Западу» (стр. 9). Пошли по ложному пути, Западъ является «страшныя преступленія, превосходящее всякую мѣру злѣйство, предательство, всѣвозможныя гнусности». Правда, Конст. Сергеевичъ не можетъ отрицать того, что и въ «русской исторіи встречаются преступленія, но они лишены этого страшнаго, не человѣческаго характера, по которому человѣкъ становится въ рядъ животныхъ, какъ новый, совершившій видъ его, и которымъ отличаются кровавыя дѣла Запада» (стр. 22).

Не многимъ лучше прошлого Запада его настоящее:

«Западъ весь проникнутъ ложью внутренней, фразой и эффектомъ: онъ постоянно хлопочетъ о красивой позѣ, картинномъ положеніи. Картина для него все. Покуда онъ былъ молодъ, картина еще была хороша и красива сама по себѣ; красивъ былъ рыцарь въ жемчужныхъ латахъ, красивъ былъ хитрый, безжалостный монахъ; красивы были художники XV столѣтія. Но когда молодость его прошла, когда исчезли кипящія силы жизни, и осталась одна только картина, одна фраза, даже безъ пылкости юношеской, тогда это становится въ высшей степени жалкимъ, и сказать-ли?—*отвратительнымъ явленіемъ*. Таковъ Западъ теперь въ своихъ смутахъ, безъ всякой внутренней жизни, даже безъ кипѣнія крови. Таковы теперешнія его борьбы и волненія, волненія и борьбы безъ малѣшаго убѣжденія, безъ малѣшайшей искренности, безъ малѣшаго увлеченія, совершающіяся въ страшной апатіи, вламы, несмотря на напряженность. Скука и безучастіе, отсутствіе энергіи во всѣхъ кровопролитіяхъ и смятеніяхъ. Старческія мечты запада, мечты, лишенныя своей единственной правды, кипѣнія молодой крови, мечты, которыми разгорячалъ онъ себя такъ долгое время, подействовали на него, какъ раздражительное средство и привели въ механическое движеніе его ослабшій организмъ. Если нѣть духа, то нѣть и истинной жизни» (т. I, стр. 22).

И такъ-таки ни *единой сильной точки* не усматриваетъ грозный обвинитель въ духовной и государственной жизни «одряхлѣвшаго» Запада. Что тутъ, впрочемъ, эта «дряхлость» ни причемъ видно изъ того, что и молодая Америка весьма мало симпатична нашему пламенному ненавистнику всего непохожаго на Россію и русскіе порядки. У него даже хватаетъ ослѣщенія усматривать неполноту въ американской гражданской свободѣ:

«Въ Соединенныхъ Штатахъ вместо живого народа государственная машина изъ людей. Отношенія тамъ становятся политическими: миръ и спокойствіе основаны не на любви, а на взаимной выгодѣ. Какъ ни блестящъ вицѣній порадокъ, но блескъ его наружный; какъ ни строенъ онъ кажется, но этострой машины, какъ ни кажется онъ свободенъ, но это свобода—личный взаміно ограниченный произволъ. *Нѣтъ, свобода не тамъ*» (стр. 58).

Гдѣ-же истинная свобода? полюбопытствуетъ читатель. Въ Россіи, «идѣ-же духъ Господень».

Нужно-ли серьезно доказывать *умственную* несостоятельность этого удивительного отношенія ко всему западному? Неужели кто-либо, при всемъ уваженіи къ знаніямъ и искренности Конст. Сергеевича, повѣрить ему хотя-бы на единую минуту, что ничего, кроме «нечеловѣческаго звѣрства» въ прошломъ и «лжи» въ настоящемъ нельзя усмотреть въ ходѣ европейской исторіи, неужели «ложью» объясняется реформація, о которой почему-то ни единимъ словомъ не упоминается нашъ прокуроръ, такъ что можно подумать, что все человѣчество исповѣдуется католицизмъ, неужели въ Шиллеровскомъ «Донъ-Карлосѣ» можно видѣть одни только «старческія мечты, лишенныя кипѣнія молодой крови», неужели «безъ малѣшайшей искрен-

ности» действовали пуритане, ушедшие въ Новую Англию, неужели отъ «скучи и безучастія» горѣли на кострахъ и сгнивали въ тюрьмахъ Джордано Бруно, Галилей, итальянские патріоты и сотни имъ подобныхъ мучениковъ стремлениія къ истинѣ, нравственному совершенству и духовной красотѣ, неужели, наконецъ, «ослабшій организмъ» можетъ породить такое могучее литературное, научное и художественное движение, которымъ ознаменована европейская духовная жизнь послѣднихъ трехъ столѣтій и неужели этого движенія долженъ чураться всякой «настоящей» русской человѣкѣ?

Повторяемъ еще разъ, у насъ нѣть охоты серьезно доказывать умственную несостоятельность совершенно непонятнаго по своей парадоксальнотѣ отношенія Конст. Аксакова къ западу, отношенія, которое достаточно дискредитируетъ уже одна огульность его и исключительное употребленіе чернѣйшей краски, благодаря чему, вмѣсто картины съ разнообразными деталями, получается сплошное мрачное пятно, ни о чёмъ не дающее понятія.

Но намъ, въ данномъ случаѣ, было-бы интересно выяснить вотъ какія двѣ вещи: во-первыхъ изолированность фанатической ненависти Конст. Сергеевича даже къ средѣ славянофильства и во вторыхъ *нравственную несостоятельность ея*.

Съ обычною своею необузданностью, съ обычною страстью своей незнающей удержану, какъ въ симпатіяхъ, такъ и въ антипатіяхъ, натуры, Конст. Аксаковъ не валюбивъ Западъ, быстро дошелъ до Геркулесовыхъ столбовъ национальной розни. Какъ известно, дурное отношеніе къ Западу не есть что-либо специально Конст. Аксакову принадлежащее. «Гніеніе» Запада было провозглашено Шевыревымъ раньше тѣхъ статей, изъ которыхъ мы только что приводили цитаты, и тезисъ этотъ можно вообще назвать однимъ изъ любимѣйшихъ у всѣхъ «первоучителей» славянофильства. Но никто изъ нихъ не доходилъ, все-таки, до такихъ крайностей, какъ Конст. Аксаковъ. Современное «гніеніе» не мѣшало имъ, прежде всего, признавать огромныя историческія заслуги не-русской Европы предъ человѣчествомъ и Хомяковъ, напр. говорилъ о Западѣ не иначе, какъ

. странѣ святыхъ чудесъ.

А, затѣмъ, что касается даже современного состоянія европейскихъ народовъ, то усматривая въ немъ начала разложенія, большинство славянофиловъ не думало, однако, отрицать значеніе такихъ напр. свѣтлыхъ явлений, какъ быстрый прогрессъ европейской науки и высокій уровень европейской литературы и искусства. Конечно, нельзя сомнѣваться ни единой минуты въ томъ, что еслибы къ Конст. Аксакову приступить съ категорическимъ запросомъ от-

носительно европейской науки, онъ-бы не причислилъ ее къ «отвратительнымъ зрѣлищамъ». Но тѣмъ непростительнѣе, значить, огульность его характеристики.

Однако-же, мы все еще стоимъ на почвѣ фактической невѣрности характеристики Запада, сдѣланной Конст. Аксаковымъ, т. е. на умственной несостоительности ея, очевидной для всякаго, кто запасся даже самыемъ кратенькимъ обзоромъ хода европейской культуры. Между тѣмъ гораздо любопытнѣе подчеркнуть нравственную несостоительность фанатической ненависти Конст. Сергеевича, несостоительность, которая не отпадаетъ *если даже стать на славянофильскую точку зрения*. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, болѣе всего гордится славянофильствомъ? Если при столкновеніи съ вопросами практической жизни славянофилы и тѣ, которые объявляли себя ихъ приверженцами, сплошь да рядомъ становились за сильного противъ слабаго, — сплошь да рядомъ симпатизировали тенденціямъ застоя и сплошь да рядомъ оказывали поддержку идеямъ человѣконенавистничества, то, все-таки, въ теоріи славянофильство всегда было искренно воодушевлено совсѣмъ иными стремленіями и убѣжденно писало на своеѣ знамени: миръ, любовь, гармонія. Мы въ этомъ могли убѣдиться изъ ознакомленія съ идеями Конст. Сергеевича. Его стремленія превратить древнюю Русь въ какую-то Аркадію, гдѣ «въ основаніи лежали: добровольность, свобода и миръ» (курсивы автора), его пламенная любовь къ общенному началу, его преклоненіе предъ русскимъ смиреніемъ и кротостью, все это можетъ быть не достаточно фактически обосновано, но все это проникнуто свѣтомъ духовной красоты и согрѣто самыми лучшими намѣреніями. Но въ томъ, что говорить Конст. Аксаковъ о Западѣ и добрыхъ намѣреній нѣтъ. Слова его дышутъ только ненавистью и слѣпымъ озлобленіемъ, они проникнуты только враждою и безцѣльнымъ униженіемъ всего, что не есть русское. И вотъ почему мы придаемъ такое значеніе нашему замѣчанію. Оно отгѣняетъ крупное противорѣчіе въ системѣ міровоззрѣнія рассматриваемаго нами писателя и выясняетъ въ немъ детали столь-же смѣшныя, сколько и антипатичныя. Единственнымъ смягчающимъ обстоятельствомъ въ данномъ случаѣ можетъ служить то, что страстныя филиппики Конст. Сергеевича писались въ самый разгаръ партійной полемики. Въ тѣ времена национальное самосознаніе было такъ мало развито и въ обществѣ, и въ литературѣ, сколькое поклоненіе Западу въ ущербъ всему русскому было такимъ общимъ явленіемъ, что было дѣйствительно съ чѣго озлобиться и изъ чувства протеста начать гнуть въ діаметрально-противоположную сторону.

Закончимъ нашъ обзоръ литературной дѣятельности Конст. Аксакова замѣткою о непосредственно-публицистическихъ сторонахъ ея. Подчеркиваемъ слово «непосредственно», потому что, какъ мы уже имѣли случай не одинъ разъ сказать, все, что когда-либо писалъ Конст. Сергеевичъ, представляетъ собою и по намѣреніямъ, и по способу исполненія публицистику чистѣйшей воды. Говорить-ли онъ о призваніи Варяговъ, характеризуетъ-ли подвиги Ильи Муромца, объясняетъ-ли значеніе суффікса *s*, знакомить-ли читателя съ языкомъ Ломоносова, обозрѣвать-ли современную литературу, наконецъ, сочинять-ли стихи и драмы—все это онъ дѣлаетъ только затѣмъ, чтобы обосновать тезисы своей общественно-политической программы. И желаніе это настолько ясно сквозить въ каждой строкѣ, что вы изъ чтенія по виду «историческихъ», «критическихъ», «филологическихъ» и «беллетристическихъ» произведеній Конст. Сергеевича т. е. тѣхъ, гдѣ не намеками и общимъ смысломъ, а прямо и определенно авторъ говорить о своихъ общественныхъ идеалахъ мы не узнаемъ ничего новаго. И если мы нѣсколько остановимся на этихъ непосредственно-публицистическихъ сторонахъ литературной дѣятельности Конст. Аксакова, то только затѣмъ, чтобы рельефнѣе формулировать основные пункты его общественно-политического міросозерцанія.

Во главѣ ихъ, конечно, слѣдуетъ поставить требование «самобытности».

Лучшая страна въ мірѣ, обитаемая единственнымъ во всемъ свѣтѣ истинно-христіанскимъ народомъ, исповѣдующая лучшую религию, имѣющая лучшій образъ правленія, само собою разумѣется, не должна быть рассматриваема съ точки зрѣнія «европейскихъ шаблоновъ» и все въ ней, не исключая даже такой нейтральной области, какъ наука, должно быть строго-самобытно, должно въ точности соответствовать тѣмъ исконнимъ началамъ русского духа, которыя по мнѣнію Конст. Сергеевича, пронесены русскимъ народомъ во всей ихъ неприкословенности чрезъ все тысячелѣтнее историческое существованіе его.

„Надо воротиться къ началамъ родной земли, путь запада ложень, постыдно подражаніе ему, Русскимъ надо быть Русскими, идти путемъ Русскими, путемъ вѣры, смиренія, жизни внутренней, надо возвратить самый образъ жизни, во всѣхъ его подробностяхъ, на началахъ этихъ основанный, и слѣдовательно надо освободиться совершенно отъ Запада, какъ отъ его началъ, такъ и отъ направлений, отъ образа жизни, отъ языка, отъ одежды, отъ привычекъ, обычаевъ его,

именно отъ этого свѣта и свѣтскости, вошедшихъ къ намъ, однимъ словомъ отъ всего, что запечатлѣло на чистою духа, что вытекаетъ даже какъ малѣйшій результатъ изъ его направлениа» (т. I стр. 24).

Вотъ какъ понималъ Конст. Сергеевичъ самобытность. Дальше идти въ этомъ направлениѣ уже, конечно, нельзя.

Но приглядимся еще разъ, чѣмъ обусловливается Конст. Аксаковъ свое требование самобытности. Такое требование самобытности можетъ вытекать изъ очень различныхъ источниковъ. Извѣстно, напр., что есть воззрѣніе, всего менѣе восторгающееся русскими порядками, но полагающее, вмѣстѣ съ тѣмъ, что мы еще не «доросли» до Европы и потому должны пробавляться своими самобытными общественно-политическими учрежденіями. Есть затѣмъ воззрѣніе, полагающее, что на свѣтѣ нѣть ничего абсолютнаго, и въ томъ числѣ нѣть ни абсолютнно-хорошаго, ни абсолютнодурнаго общественнаго устройства, а есть просто нормы, *соответствующія* или *несоответствующія* культурному состоянію того или другого народа и потому желательныя или нежелательныя. Такое воззрѣніе тоже требуетъ самобытности, но руководствуясь принципомъ: что русскому здорово, то нѣмцу смерть *и наоборотъ*.

Ни подъ одно изъ этихъ воззрѣній не могутъ быть подведены требования Конст. Аксакова. Онъ далеко не потому только добивается торжества русскихъ началь, что они *свои, родныя*, а потому что они *самая лучшая на свѣтѣ*. И вотъ почему для него не существуетъ простаго констатированія историческихъ явлений. Такъ мы уже знаемъ, что Конст. Сергеевичъ со свойственною ему настойчивостью указываетъ на исконнее нежеланіе русскаго народа государствовать. Всякій другой историкъ на его мѣстѣ ограничился бы этимъ констатированиемъ. Историкъ-публицистъ, пожалуй, прибавилъ бы къ такому констатированію, что согласно этой чертѣ русскаго народнаго характера должна складываться и современная русская государственчая жизнь. Но нашему апостолу русской богоизбранности нужно не констатированіе, а непремѣнно апофеозъ и вотъ почему онъ вслѣдъ за выясненіемъ русскаго отношенія къ государствованію, рѣзко осуждаетъ не похоже на него государственные порядки Запада. На Западѣ, говорить онъ

«внѣшнее начало, законъ, сперва жестокій, почти непремѣнно дѣйствующій при завоеваніи и порабощеніи, долженъ былъ усилиться, развиться и одинъ стать высоко въ глазахъ человѣка. Такъ и случилось. Вопросъ жизни и истории былъ решенъ для западныхъ народовъ: государство, учрежденіе (институтъ), централизація, власть внѣшняя стала ихъ идеаломъ; народъ (земля) отказался отъ внутреннаго, свободнаго, нравственного общественнаго начала и вкусила плоды начала внѣшняго, государственнаго; народъ (земля) захотѣлъ государственной вла-

сти. Отсюда революции, смуты и перевороты, отсюда насильтственный виѣшній путь къ насильтственному виѣшнему порядку вещей. Народъ изъ Запада плѣняется идеаломъ государства. Республика есть попытка народа быть самому государствомъ, перейти ему всему въ государство; слѣдовательно попытка бросить совершенно нравственный, свободный путь, путь внутренней правды, и стать на путь виѣшній, государственный. Самое крайнее выраженіе такой попытки, самое *избѣльное* (sic) огосударствленіе народа видимъ въ Америкѣ, въ Соединенныхъ Штатахъ" (т. I, стр. 57).

Мы рѣшаемся утверждать, что сопровождаемое подобнымъ отношеніемъ ко всему нерусскому требование самобытности есть уже не простое желаніе устраивать свою жизнь по собственному усмотрѣнію, а нѣчто весьма похожее на деспотическое желаніе *подчинить* русскому міросозерцанію міросозерцанія всѣхъ другихъ европейскихъ народовъ и объявить истину исключительною монополіею русского духа. Тутъ уже не русскій патріотизмъ, а какой-то пан-руссизмъ, стремящійся устроить все человѣчество по своему образцу.

Не есть ли напр. доведенный до крайнихъ предѣловъ панруссизмъ другой пункть общественно-политической программы Конст. Аксакова—его нелюбовь къ писанной конституції? Только потому, что историческія изслѣдованія выработали въ немъ тотъ взглядъ на роль Земскихъ Соборовъ, который намъ извѣстенъ изъ предыдущаго изложенія, Конст. Сергеевичъ объявляетъ *противоправственія* учрежденіемъ всѣ существующіе на Западѣ договоры между властью и народомъ.

«Намъ скажутъ», восклицаетъ онъ «или народъ или власть могутъ измѣнить другъ другу. Гарантія нужна!—Гарантія не нужна! Гарантія есть зло. Гдѣ нужна она, тамъ нѣть добра; пусть лучше разрушится жизнь, въ которой нѣть доброго, чѣмъ стоять съ помощью зла» (стр. 9).

Что можно было бы возразить противъ этой дышащей самымъ высокимъ идеализмомъ тирады, еслибы она была редактирована такъ: «*всѣ Russi* не нужны гарантіи». Въ ней заключался-бы отвѣтъ (вѣрный или невѣрный—это въ данномъ случаѣ не имѣть значенія) русскимъ конституціоналистамъ, она носила-бы характеръ опроверженія, основанного на проверкѣ европейскихъ нормъ данными русской дѣйствительности. Но теперь Конст. Аксаковъ дѣлаетъ какъ разъ тоже самое, противъ чего борется. Конституціоналисты считаютъ писанную картю *всебицкой панацеи*, годной для всѣхъ странъ и народовъ, а Конст. Сергеевичъ только всего и дѣлаетъ, что одну *всебицкую* панацею замѣняетъ другою, съ тою, однако, весьма существенною разницѣю, что противники его основываютъ свои стремленія на опыте *многихъ* европейскихъ народовъ, а онъ выводить

свою государственную теорію изъ наблюдений надъ жизнью одною наарода.

И если принять во вниманіе, что теоріи, противъ которыхъ борется Конст. Сергѣевичъ, отнюдь не считаютъ свои положенія идеаломъ человѣческаго благоустройства, а только лучшимъ изъ золь, обусловленныхъ стремлениемъ сильныхъ подчинить себѣ слабыхъ, между тѣмъ какъ Аксаковъ не знаетъ какъ достаточно восторгаться русскимъ соотношеніемъ государственныхъ элементовъ, то мы неизбѣжно должны прийти къ тому-же формулированію публицистическихъ стремлений разсмотриваемаго нами автора, къ которому привело насъ изученіе историческихъ его произведеній: русскій народъ есть носитель специально ему одному присущихъ высокихъ доблестей, которыя отводятъ ему особое, высокое и безпримѣрное положеніе во всемирной исторіи, онъ народъ богоизбранный и горе тѣмъ народамъ, которые не хотятъ заимствовать у него его начала духовной и государственной жизни. Ихъ ждетъ гибель.

Но если все это такъ, если мы русскіе такъ безмѣрно возвышаемся надъ гнилью западомъ, то какія проклятія достаточно сильны для тѣхъ «отступниковъ», для тѣхъ «рабовъ» европейскаго просвѣщенія, которые въ умственной слѣпотѣ своей преклонились предъ мишурунымъ блескомъ западной цивилизаци?'

Съ которыхъ поръ идеть это отступничество?

Съ реформъ Петра и основанія Петербурга, отодвинувшаго на второй планъ настоящую столицу Россіи—Москву. Удивительно-ли, что то и другое одинаково ненавистно Конст. Сергѣевичу.

Мы уже знаемъ, что отношеніе Конст. Аксакова къ реформамъ Петра имѣло два діаметрально - противоположныхъ другъ другу фазиса. Въ первомъ изъ нихъ онъ посвятилъ все обширное предисловіе диссертациі о Ломоносовѣ прославленію энергического стремленія великаго царя освободить Россію отъ оковъ исключительной національности», во второмъ фазисѣ онъ со свойственною ему прямотою заявлялъ, что «напрасно» занимался такимъ прославленіемъ. (т. I стр. 4?).

Собственно говоря, взгляды Конст. Сергѣевича на реформы Петра должны были быть разсмотрѣны вами въ обзорѣ историческихъ работъ его. Но дѣло въ томъ, что эти взгляды такъ тѣсно переплетаются съ отношеніемъ нашего писателя къ современной ему жизни, что скорѣе должны быть причислены къ непосредственной публицистикѣ. Конст. Сергѣевичъ всего менѣе считаетъ Петровскую эпоху

законченою. Для него она все еще продолжается, онъ съ горечью видить, что «обезъянничіе» въ полномъ ходу, что «измѣна» русскимъ началамъ не прекратилась и потому-то петровскія реформы для него не тѣма для исторического изслѣдованія, а предметъ для негодованія чисто публицистического.

Къ тому-же Конст. Сергеевичъ въ историческихъ сочиненіяхъ своихъ настолько отрывочно и эпизодически говорилъ о Петрѣ, что наиболѣе цѣльнымъ выраженіемъ его *отрицательныхъ мнѣній* о дѣятельности великаго преобразователя можетъ считаться *стихотворение* «Петру», напечатанное впервые въ «Руси» 1881 г. Стихотворение всего менѣе блещетъ поэтическими достоинствами, но за то оно представляетъ собою какъ-бы сводъ славянофильскихъ возврѣній на реформу Петра и связанного съ ними москофильства. Приводимъ его цѣликомъ.

Великій геній мужъ кровавый
Вдали на рубежѣ родномъ
Стонишь ты въ блескѣ страшной славы,
Съ окровавленными топоромъ
Съ великой мыслью просвѣщенія
Въ своей отчизнѣ ты возникъ.
И страшныя подьялья мученья
И казни страшныя возвѣгъ.
Во имя пользы и науки,
Добытой изъ страны чужой,
Не разъ твои могучи руки
Багрились кровью родной.
Ты думалъ,—быстрою вспоръ,
Предупреждая времена,—
Что кровью полныя, скоро,
Взойдутъ науки съмена!
И вкругъ она ялась обильно,
И воинъ Руся не внемля,
Упорство ты сломилъ, о сильный!
И смолкла Русская земля.
И по назначенію сѣду,
Куда ты ей сказаль: „иши!“
Она пошла. Ты могъ побѣду
Торжествовать, но погоди!
Ты много снесъ головъ стрѣлецкихъ,
Ты много крѣпкихъ рукъ сломилъ,
Сердцеъ ты много младецкихъ
Ударомъ смерти поразилъ.
Но въ часъ невзгоды удалялся,
Скрывъ право вѣчное свое,
Народа духъ живеть, таися,

Храня родное бытіе.
И ждетъ завѣтнаго онъ часа,
И вождѣній часъ придетъ,
И снова звукъ родного гласа
Народа волны соберетъ;
И снова вспыхнетъ взоръ отважный,
И вновь подвигнется рука,
Порывъ юладой и помыслъ важный
Взволнуетъ духъ, иѣмой пока.
Тогда къ желанному предѣлу
Борьба достигнетъ, и конецъ
Положитъ начатому дѣлу,
Достойный, истинный вѣнецъ!
Могучій мужъ! желая ты блага,
Ты мысль великую питалъ,
Въ тебѣ и сила, и отвага,
И духъ великій обиталъ.
Но истреблѧ ѿ въ отчизнѣ,
Ты всю отчизну оскорбила;
Гона пороки русской жизни
Ты жизнь безжалостно давилъ.
На самобытный трудъ, стремленье,
Не вызывалъ народъ ты свой,
Въ его не вѣрилъ убѣждены
И весь закрылъ его собой.
Всѧ Русь, вся жизнь ея доселе,
Тобою презрѣна была,
И на твоемъ великомъ дѣлѣ
Печать проклятія легла.
Отринулъ ты Москву жестоко
И отъ народа ты вдали

Построилъ городъ одинокій—
Вы вмѣстѣ жить ужъ не могли!
Ты граду дадъ свое названіе,
Лишь о тебѣ гласитъ оно.
И—добровольное сознанье—
На чуждомъ языкѣ дано.
Настало время вѣа и горя,
И съ чужестранною толпой
Твой градъ, пирующей у моря,
Сталь Руси тажкою грозой.
Онъ сокъ народъ истощаетъ,
Названный именемъ твоимъ
Объ Русской онъ землѣ не знаетъ
И духомъ движется чужинъ.
Грѣхъ Руси дадъ тебѣ побѣду,
И Русь ты смиль. Но не всегда
По твоему ей влечеся слѣду

Путемъ блестящаго стыда.
Такъ, будетъ время, Русь воспрянеть,
Разсѣеть долголѣтній сонъ
И на неправду дружно гранеть—
Въ неправдѣ подвигъ твой свершень!
Народный духъ подниметъ крылья,
Отступниковъ обниметъ страхъ,
Созданы лжи, дѣла насилия
Падутъ, разсыпаются во прахъ!
И вновь оправданный судбою
Возстанетъ къ жизни твой народъ
Съ своимъ древнемъ Москвою—
И жизнь свободный примѣть ходъ.
Все отпадетъ, что было лживо,
Любовь всѣ узы сокрушить,
Отчизна зацвѣтеть счастливо—
И твой народъ тебя простить.

Предвозвѣщаемая второю частью стихотворенія побѣда славяно-фильскихъ принциповъ составляетъ одну изъ любимыхъ тэмъ Конст. Сергеевича, къ которой онъ возвращается весьма часто. Онъувѣренъ въ грядущемъ торжествѣ своей партии и потому всегда говорить о ней въ мажорномъ тонѣ.

«Наступаетъ борьба» резюмируетъ онъ свой обзоръ «петербургскаго» периода русской исторіи. «Москва начинаетъ и продолжаетъ дѣло нравственнаго освобожденія, поднимаетъ вновь знамя русской самобытности, русской мысли. Въ наше время среди верхнихъ, отъ народа оторванныхъ, классовъ пробуждается сознаніе ложности направлѣнія иностранного и стыдъ обезьянства. Русская мысль начинаетъ освобождаться изъ плѣна; вся дѣятельность ея въ Москвѣ и изъ Москвы, и окончаніе долгаго испытанія, а вмѣстѣ и торжество, и возникновеніе истинной Руси и Москвы, кажется, приближается» (стр. 49).

Къ стремленіямъ же противниковъ Конст. Сергеевичъ, какъ всякий фанатикъ, конечно, ничего кроме глубочайшей антипатіи чувствовать не можетъ и на каждомъ шагу, расточая своей партии самые лестные эпитеты, не находить ни одного привѣтливаго слова для западничества. Соотношеніе славянофильства и западничества ему рисуется въ такомъ видѣ:

«Надъ русскимъ простымъ народомъ и надъ его священнымъ миромъ и типиою, въ обществѣ, Русскимъ начальствомъ измѣнившемъ, идеть вражда и борются два направлѣнія. Одно силится поддержать свою неправду — измѣны всему Русскому и покорности западнымъ уставамъ. Другое искренно жаждетъ возстановленія Русскихъ святыхъ началь Вѣры, Русского основнаго образа жизни, всего Русскаго духа, Русскаго ума и христіанскихъ добродѣтелей, по крайней мѣрѣ въ

общемъ дѣлѣ. Съ одной стороны: всякое упорство и желаніе, побуждающее удобной лѣни, оставаться, безъ труда, подражателями залада, пользоваться всѣми его политическими благами, повторять за нимъ слова и дѣйствія, и не знать труда самостоятельной жизни; съ другой стороны: добрая надежда и дѣятельное стремленіе возвратиться къ святымъ началамъ Русской жизни. Нужно-ли говорить, что такое стремленіе есть правое и законное и спасительное?

Зародилось это стремленіе, какъ мы уже знаемъ изъ предыдущей цитаты, въ Москвѣ. Зародилось не случайно. Москва, по мнѣнию славянофиловъ вообще и Конст. Аксакова въ частности, имѣть своимъ провиденціальнымъ назначеніемъ быть средоточиемъ русского духа. И какъ въ бытныя времена не одинъ разъ первопрестольная спасала Россію отъ разныхъ иноземныхъ нашествій, такъ и въ наши дни она выдвинула славянофильство, которое раскрыло «верхнимъ классамъ» тайники русского духа. Раскрыло именно потому, что въ Москвѣ эти тайники доступнѣе, явственнѣе, неотразимѣе дѣйствуютъ чѣмъ въ «Санктпетербургѣ».

Москвофильство Конст. Сергеевича должно быть названо однимъ изъ главныхъ устоевъ его міровозрѣнія, одною изъ существеннѣйшихъ деталей его желанія порвать всякия связи съ послѣпетровскою Россіей. Всего цѣльнѣе это москвофильство, въ видѣ отдѣльныхъ фразъ и изрѣченій разбросанное по всѣмъ писаніямъ Конст. Сергеевича, выразилось въ статейкѣ «Семисотлѣтие Москвы», изъ которой и приводимъ наиболѣе существенные выдержки:

«Москва, безъ сомнѣнія, выразила въ себѣ общее всерусское значеніе, и для насъ во всякомъ случаѣ является она представительницей общей Русской жизни, жизни всей Русской земли, жизни земской (собственно народной), говоря словомъ такъ часто встречающимся въ лѣтописахъ и грамотахъ, со временемъ возвышенія Москвы на степень Русской столицы. Были-ли довольны князья, или нѣтъ—это по крайней мѣрѣ вопросъ; но народъ былъ доволенъ. Москва выражала собою не власть надъ Русскою землею, но власть Русской земли; и если Москва принимала участіе въ войнахъ и не рѣдко коварныхъ поступкахъ удѣльного времени, если она виновата въ томъ, въ чемъ былъ виноватъ каждый городъ Русскій,—то она загладила вину свою, храня святую Русь и терпя за нее, выражая въ себѣ общую всерусскую жизнь. Успѣхъ, ей одной изъ всѣхъ городовъ принадлежащий, основывается на ея общемъ значеніи.

Въ Москвѣ раздался голосъ Русской земли, зовущій подняться противъ Татарь; въ нее стеклось и въ неї собралось ополченіе изъ многихъ городовъ Русскихъ; изъ неї пошло оно на Куликово поле. Съ тѣхъ поръ она всегда привлекала на себя удары врага, и самая лютая доля бѣдствій доставалась ей на часть; ей назначалось страданіе за Русскую землю—самое важное неоспоримое ея право и свидѣтельство, что она истинная столица Русская. — Въ нее, при Ioаннѣ IV, созвана была первая Земская дума изъ городовъ и вообще изъ земли Русской. Ioаннъ IV, свирѣпый къ боярамъ, но милостивый къ народу и соблюдавшій права его, хранилъ областную жизнь; тому доказательствомъ являются многія его гра-

моты, напечатанные въ драгоценныхъ актахъ, изданныхъ Археографическою Комиссиею. Въ свидѣніяхъ является его личность: въ этомъ же благомъ дѣйствіи духъ Москвы и Руси, что одно. Борисъ, покоряя Сибирь, въ грамотѣ своей писалъ, чтобы спрашивать Остяковъ: какъ имъ лучше. Но всего важнѣе, важнѣе всѣхъ возможныхъ доказательствъ и изысканій, сильнѣе всѣхъ сужденій и теорій—голосъ народа, голосъ Божій, который призналъ Москву свою столицею, называлъ ее матерью Русскихъ городовъ, корнемъ Русского царства и возвѣстилъ къ ней народную любовь.

Когда Дмитрій Самозванецъ взошелъ на престолъ и хотѣлъ перемѣнить Русскую вѣру, хотѣлъ покрыть Русскую народность, то дальновидные Иезуиты совѣтовали ему оставить Москву, уничтожить ее, какъ столицу и основать новую столицу: безъ этого, говорили они ему, ты никакъ не успѣшь въ своихъ на мѣреніяхъ.

Въ эпоху междуцарствія ссыпало другъ друга на враговъ, ссыпало въ Москву; тутъ-то называется она матерью городовъ Русскихъ и корнемъ Русского царства. Вотъ слова одної окружной грамоты: «Будьте съ нами обще за одно, противъ враговъ нашихъ и вашихъ общихъ; помяните одно: только коренемъ основаніе крѣпко, то и дерево неподвижно: только кореня не будетъ, къ чему пригнуться? Здѣсь образъ Божія Матери, вѣчныя заступницы крестьянскія, Богородицы, ея-же Евангелистъ Лука написалъ; и великие свѣтильники и хранители Петръ, Алексѣй и Иона чудотворцы».

До Петра Великаго существовала въ Москвѣ такая перекличка стрѣльцовъ, когда вечеромъ въ 8 или 9 часовъ запирались ворота Кремлевскія:

Близъ Собора Успенской часовой сторожъ первый начинаетъ протяжно и громогласно, какъ-бы на распѣвъ, возглашать: Пресвятая Богородица, спаси насы! за тѣмъ второй въ ближнемъ притинѣ возглашаетъ: Святые Московскіе Чудотворцы, молите Бога о насы! потомъ 3-й: Святой Николай Чудотворецъ, моли Бога о насы! потомъ 4-й: Всѣ святые, молите Бога о насы! 5-й: Славенъ юродъ Москва! 6-й: Славенъ юродъ Кіевъ! 7-й: Славенъ юродъ Владимиръ! 8-й: Славенъ юродъ Сузdalъ! и такъ поименуютъ: Ростовъ, Ярославль, Смоленскъ и проч.

Многозначительное свидѣтельство! Въ этой перекличкѣ раздается голосъ Русской земли; слышишь какъ она сама себя чувствуетъ, сама себя называетъ и сознаетъ въ городахъ своихъ, въ общемъ чувствѣ себя самой, единимъ совершеннымъ цѣлымъ. Въ этомъ не придуманномъ народномъ голосѣ слышишь, что царствующій градъ Москва помнила всѣ города Русскіе, всю Русскую землю.

Но въ 1708 году была основана новая столица, городъ Санктпетербургъ... Какой-же послѣ этого удѣльь Москвы? Имѣеть-ли она еще прежнее значеніе? Въ Петербургъ, какъ извѣстно, было перенесено все управлѣніе... Прежде нежели станемъ отвѣтчать на нашъ вопросъ, взглянемъ на самыя события съ тѣхъ поръ, какъ Петербургъ сталъ столицею.—Спасенная, соединенная и укрѣпленная Москвою, Россія представляла много силъ, и съ этими силами были ведены войны и завоевывались разныя страны; но вотъ чрезъ столѣтіе снова собралась гроза, гроза неожиданная, невѣроятная. Съ запада шелъ Наполеонъ и вѣль безжалостныя побѣдоносныя войска. Въ эту минуту бѣдъ, когда все смущалось предъ страшною грозою, въ эту минуту явилась Москва, опять со всѣми своими зна-

312 КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

чениемъ столицы, какъ и прежде, и приняла на себя тяжелый ударъ новѣйшаго врага. Какъ въ 1612, такъ въ 1812-мъ она вновь объялась пламнемъ; по всей Русской землѣ раздалось вновь ея имя: Москва! Москва! И на это имя снова поднялся Русской народъ и спасъ Русскую землю. — Такое явленіе обнаружило внутри-сокровенное и, кажется, навсегда утвердило значеніе Москвы, вѣчной столицы земли Русской, столицы народной. Здѣсь опять встрѣчаемъ сужденіе великаго иностранца. Наполеонъ сказалъ въ разговорѣ съ Тучковымъ: «столица ваша Москва, а не Петербургъ, который не что иное, какъ резиденція Государя».

Ясно для насъ и для всѣхъ истинно Русскихъ вѣчное значеніе Москвы. Она жива, и жива къ ней любовь Русского народа, и будетъ вѣчно живо и то и другое; бытіе ея неразлучно съ бытіемъ святой Руси. На нее крестясь смотрить крестьянинъ; сильно движеть она и образованнаго Русскаго въ чужестранной одеждѣ, въ комъ пробудилось Русское народное чувство. Но болѣе всего любить и разумѣвать ее народъ. Онъ называетъ ее матушкой; повторяемъ съ нимъ это слово.

Любовь къ Москвѣ есть любовь къ Русской землѣ, потому что Москва имѣть въ себѣ не мѣстное, а общее значеніе и единство всей земли Русской.

Да здравствуетъ Москва!

Только что приведенными выдержками мы-бы могли закончить нашъ обзоръ непосредственно-публицистическихъ взглядовъ Конст. Аксакова. Правда, можно-бы было привести еще очень много другихъ непосредственно-публицистическихъ мѣстъ разбросанныхъ по разнообразнымъ писаніямъ Конст. Сергеевича. Но этого не стоитъ дѣлать. Мы-ы уже не узнали ничего новаго. Опять поношеніе западно-европейской «лжи», опять восхваленіе русскаго превосходства, опять упреки интеллигенціи за «оторванность» и предвозвѣщеніе грядущаго торжества славянофильства и, наконецъ, опять восторженное преклоненіе предъ современнымъ крестьянствомъ, какъ единственнымъ представителемъ «истинно-русскихъ» началь — вотъ къ чему сводятся всѣ «лирическія отступленія» Конст. Сергеевича и не могутъ не сводиться, потому что только этими думами и было наполнено его духовное существо, только ими онъ и тѣшилъ себя въ своей аскетической жизни, ничего не знавшей, кроме умственныхъ интересовъ.

Мы сдѣлаемъ исключеніе только для одного произведенія Конст. Сергеевича — его записки «О внутреннемъ состояніи Россіи», поданной въ 1855 г. чрезъ графа Блудова только что вступившему тогда на престолъ Императору Александру II¹). Сдѣлаемъ это не потому, чтобы записка ознакомляла насъ съ какими-нибудь новыми сторонами міровоззрѣнія Конст. Сергеевича, а потому, что она представ-

¹) Въ печати появилась въ «Руси» 1881.

лять собою единственное его произведение, где съ высотъ заоблачнаго идеализма онъ спускается на почву практическихъ совѣтовъ. И высоко-поучительно прислушаться къ этимъ совѣтамъ! Рѣзко они выясняютъ, что въ сущности разница между «западниками» и честными славянофилами, т. е. такими, для которыхъ славянофильство не есть красивое прикрытие самого низменнаго сервилизма, совсѣмъ не такъ велика, что, строго говоря, разница только въ теоретическомъ обоснованіи. Приглядитесь, въ самомъ дѣлѣ, къ тезисамъ записки, которые мы сей часъ приведемъ, отбросьте въ нихъ теоретическія посылки и вы увидите, что не только одна и та же цѣль воодушевляетъ и западниковъ и искреннихъ славянофиловъ—счастье и благоденствіе Россіи, но что и пути достижениія этого счастія всего менѣе расходятся между собою. Подъ практическою частью записки съ величайшимъ удовольствіемъ подписались бы самые передовые изъ тогдашнихъ западниковъ; въ 1855 г., по крайней мѣрѣ, ихъ мечтанія не простирались дальше. «Благодѣтельная гласность» долго составляла единственное требование западническаго лагеря. А между тѣмъ Конст. Аксаковъ пошелъ дальше этого требованія.

Записка раздѣляется на три части: вступленіе, изложеніе взгляда автора на сущность русскаго государственного уклада и тезисы.

Во вступленіи Конст. Сергеевичъ объясняетъ, почему именно теперь онъ напечать нужнымъ представить свою записку:

«Государь! ты вступилъ на престолъ. Эти первыя минуты драгоценны и важны не только для тебя, но и для твоихъ подданныхъ. Облекшись мгновенно въ санъ царскій, ты еще не привыкъ быть Царемъ. Внутренній слухъ твой имѣть всю свою свѣжесть и тонкость, внутреннее зрѣніе всю остроту и дальновидность; скажу болѣе: и слухъ твой, и зрѣніе напряжены въ эти первыя минуты царствованія сильнѣе, чѣмъ когда нибудь. Надѣемся, что ты постоянно будешь напрягать всѣ силы души для узнанія истины, ко благу своего народа; но всякое мгновеніе имѣть свой смыслъ и свою честь, собственно ему подобающіе: таковы и эти первыя минуты власти царской, свѣжесть и чуткость которыхъ не можетъ повториться. Благое употребленіе этихъ минутъ, конечно, будетъ имѣть для тебя, и слѣдовательно для твоихъ подданныхъ, важное значеніе».

Всѣдѣ за вступленіемъ идеть изложеніе достаточно известныхъ намъ взглядовъ Конст. Сергеевича на русскую государственную жизнь, на раздѣльность «земли» и государства и т. д. Первоначально теоретизированіемъ записка и ограничивалась. Но чувствуя всю абстрактность и практическую непригодность подобнаго приема,

самъ сознавая, что въ его запискѣ «недостаетъ сосредоточенного вы-
фода, извлеченаго изъ общихъ указаній и необходимаго для над-
лежащей ясности и для ощущительного показанія дѣйствительнаго,
жизненнаго и въ этомъ смыслѣ практическаго ихъ значенія» Конст.
Сергѣевичъ представилъ дополненіе къ запискѣ, которое заканчи-
валось слѣдующими тезисами:

I. Русскій народъ, не имѣющій въ себѣ политическаго элемента, отдѣлилъ
государство отъ себя, и государствовать не хочетъ.

II. Не желая государствовать, народъ предоставляетъ правительству неогра-
ниченную власть государственную.

III. Въ замѣнъ того, Русскій народъ предоставляетъ себѣ нравственную сво-
боду, свободу жизни и духа.

IV. Государственная неограниченная власть, безъ вмѣшательства въ нее на-
рода,—можетъ быть только неограниченная монархія.

V. На основаніи такихъ началь зиждется русское гражданское устройство:
правительству (необходимо монархическому)—неограниченная власть государствен-
ная, политическая; народу—полная свобода нравственная, свобода жизни и
духа (мысли и слова). Единственно, что самостоятельно можетъ и долженъ пред-
лагать безвластный народъ полновластному правительству,—это мнѣніе (слѣдоват-
ельно сила чисто нравственная), мнѣніе, которое правительство вольно принять и
не принять.—

VI. Эти истинныя начала могутъ быть нарушены и съ той, и съ другой
стороны.

VII. При нарушеніи ихъ со стороны народа, при ограничении власти пра-
вительства, слѣдовательно при вмѣшательствѣ народа въ правительство, народъ
прибѣгааетъ къ внѣшней принудительной силѣ, измѣняетъ своему пути внутренней
духовной свободы и силы—и непремѣнно портится нравственно.

VIII. При нарушеніи этихъ началь со стороны правительства, при стѣсненіи
правительствомъ въ народа свободы нравственной, свободы жизни и духа,—нео-
граниченнага монархія обращается въ деспотизмъ, въ правительство безнравст-
венное, гнетущее всѣ нравственныхъ силы и разворачивающее душу народа.—

IX. Начала русского гражданского устройства не были нарушены въ Россіи
со стороны народа (ибо это его коренные народныя начала), но были нарушены
со стороны правительства. То есть: правительство вмѣшалось въ нравственную
свободу народа, стѣснило свободу жизни и духа (мысли, слова), и перешло та-
кимъ образомъ въ душевредный деспотизмъ, гнетущій духовный міръ и человѣ-
ческое достоинство народа, и наконецъ обозначившійся упадкомъ нравственныхъ
силъ въ Россіи и общественнымъ развращеніемъ. Впереди же этотъ деспотизмъ
угрожаетъ или совершеннымъ разслабленіемъ и паденіемъ Россіи, на радость
враговъ ея, или же искаженіемъ русскихъ началь въ самомъ народа, который,
не находя свободы нравственной, захочетъ наконецъ свободы политической, при-
бѣгаютъ къ революціи и оставить свой истинный путь.—И тотъ и другой исходъ
ужасны, ибо тотъ и другой гибельны: одинъ въ материальномъ и нравственномъ,
другой въ одномъ нравственномъ отношеніи.

X. И такъ, нарушеніе, со стороны правительства, русского гражданского
устройства, похищеніе у народа нравственной его свободы; однимъ словомъ: от-
ступление правительства отъ истинныхъ русскихъ началь—вотъ источникъ вся-
каго зла въ Россіи.

XI. Поправление дѣла, очевидно, зависитъ отъ правительства.

XII. Правительство наложило нравственный и жизненный гнетъ на Россію; оно должно снять этотъ гнетъ. Правительство отступило отъ истинныхъ началъ русского гражданского устройства, оно должно воротиться къ этимъ началамъ, а именно:

Правительству—неограниченная власть государственная, народу—полная свобода нравственная—свобода жизни и духа. Правительству—право действія и следовательно закона; народу—право мнѣнія и следовательно слова.—

Вотъ единственный, существенно жизненный совѣтъ для Россіи въ настоящее время.

XIII. Но какъ-же его привести въ исполненіе? Отвѣтъ на это находится въ самомъ указаніи общихъ началъ. Духъ живетъ и выражается въ словѣ. Свобода духовная или нравственная народа есть свобода слова.

XIV. И такъ, свобода слова: вотъ что нужно Россіи, вотъ прямое приложеніе общаго начала къ дѣлу, до того съ нимъ нераздѣльное, что свобода слова есть начало (принципъ) и явленіе (фактъ).

XV. Но и не удовлетворяясь тѣмъ, что свобода слова, а поэтому и общественное мнѣніе, существуетъ, правительство чувствуетъ иногда нужду само вызывать общественное мнѣніе. Какимъ образомъ можетъ правительство вызвать это мнѣніе?

Древняя Русь указываетъ намъ и на дѣло самое, и на способъ. Цари наши вызывали, въ важныхъ случаяхъ, общественное мнѣніе всей Россіи, и созывали для того Земскіе соборы, на которыхъ были выборные отъ всѣхъ сословій и со всѣхъ концовъ Россіи. Такой земскій соборъ имѣть значение только мнѣнія котораго Государь можетъ принять и не принять.

И такъ, изъ всего, сказанного въ моей «Запискѣ» и объясненного въ этомъ «Дополненіи», вытекаетъ ясное, опредѣленное, прилагаемое къ дѣлу, и, въ этомъ смыслѣ, практическое, указаніе: что нужно для внутренняго состоянія Россіи, отъ котораго зависить и вѣнчшее ея состояніе.

Именно:

Полная свобода словъ устнаго, письменнаго и печатнаго—всегда и постоянно; и Земскій соборъ въ тѣхъ случаяхъ, когда правительство захочетъ спросить мнѣнія страны.

Внутренний общий союзъ жизни,—сказалъ я въ своей «Запискѣ»,—до того ослабѣлъ въ Россіи, сословія въ ней до того отдалились другъ отъ друга, вслѣдствіе полуторастолѣтней деспотической системы правительства, что Земскій соборъ, въ настоящую минуту, не могъ бы принести своей пользы. Я говорю: въ настоящую минуту, т. е. немедленно. Земскій соборъ непремѣнно полезенъ для государства и земли, и нужно пройти нѣкоторому только времени, чтобы правительство могло воспользоваться мудрымъ указаніемъ древней Руси и созвать Земскій соборъ.

Открыто возвѣщаемое общественное мнѣніе—вотъ чѣмъ въ настоящую минуту можетъ быть замѣнено для правительства Земскій соборъ; но для того не обходима свобода слова, которая дастъ правительству возможность созвать вскорѣ съ полною пользою для себя и народа Земскій соборъ.

Закончимъ настоящую статью нѣсколькими словами о томъ значеніи, которое, по нашему мнѣнію, имѣть Конст. Аксаковъ въ русской литературѣ послѣдняго полустолѣтія. Мы старались до сихъ

поръ очертить его роль въ славянофильствѣ—роль огромную, потому что всякое ученіе вербуетъ себѣ послѣдователей только энтузіазмомъ, только тою глубокою вѣрою въ непреложность своихъ принциповъ, которою дышетъ каждая строчка Конст. Сергѣевича. Но имѣеть-ли его литературная дѣятельность какое нибудь значеніе виѣ тѣсной сферы славянофильства, поучительно-ли чтеніе его сочиненій для людей, которымъ думается, что полное осуществленіе идеаловъ Конст. Сергѣевича отодвинетъ Россію куда-то очень далеко отъ общечеловѣческаго просвѣщенія?

Намъ кажется, что и для такихъ людей изученіе Конст. Аксакова имѣеть въ себѣ нечто высоко-привлекательное и поучительное. Не было-бы, въ самомъ дѣлѣ, проявленіемъ крайней узости оцѣнивать писателей съ точки зрѣнія соответствія или несоответствія ихъ взглядовъ и убѣжденій съ нашими? Не значить-ли это упираться въ стѣну, которая закрываетъ намъ широкія перспективы истинно-научной критики, не одобряющей и не порицающей, а всего только анализирующей и констатирующей? Не смѣшно-ли вообще брать на себя задачу опредѣлять на сколько тѣ или другія убѣжденія «правильны»? Гдѣ мѣрило «правильности» и не разлетаются ли всѣ такія оцѣнки какъ дымъ, какъ только вы подойдете къ нимъ съ противоположными симпатіями? Все «правильно» что честно надумано и искренно прочувствовано, все хорошо и поучительно, въ чемъ вы видите высокій полетъ и широкій размахъ.

Да, эти два критерія не призрачны и не разлетаются какъ дымъ, съ какой-бы точки зрѣнія вы къ нимъ не подошли. Полетъ и искренность—это факты, которые не перестаютъ быть таковыми для васъ, къ какому-бы вы направленію не принадлежали.

И вотъ если съ такими критеріями подойти къ оцѣнкѣ литературной дѣятельности Конст. Аксакова — значеніе ея несомнѣнно будетъ крупное. Со стороны умственной нельзя не оцѣнить высоты полета и широты размаха мысли Конст. Сергѣевича. Его идеи свидѣтельствуютъ объ умѣ большомъ, онѣ безусловно значительны и, какъ мы уже разъ сказали, открываютъ новые горизонты, можетъ быть и невѣрные, но безспорно обширные. Для людей, которыхъ увлекутъ взгляды Конст. Аксакова, они являются новымъ откровеніемъ, для людей, которые не согласятся съ ними, они послужатъ могущественнымъ ферментомъ, способнымъ напречь всѣ силы ихъ ума и привести въ движение всѣ запасы ихъ знаній: легко-ли въ самомъ дѣлѣ побѣдить такого вооруженного съ головы до ногъ противника, какъ Конст. Сергѣевичъ?

Но, конечно, всего крупнѣе становится значеніе Конст. Аксак-

кова когда вы приступаете къ оцѣнкѣ чистоты его помысловъ и искренности его намѣреній. Въ этомъ отношеніи мы кромѣ Бѣлинского не знаемъ ни одного человѣка въ поколѣніи сороковыхъ годовъ, котораго можно было бы поставить съ нимъ рядомъ. Знавшіе Конст. Аксакова лично, утверждаютъ, что всякий разъ послѣ того, какъ имъ приходилось сталкиваться съ нимъ, они чувствовали себя чище и нравственнѣе. Тоже ощущеніе испытываетъ и каждый, изучающій Конст. Аксакова по даннымъ его біографіи и литературной каррьеры. Невольно умоляетъ въ васъ тотъ желчный пессимизмъ, то горькое и обидное чувство, которое назрѣваетъ въ исторікѣ литературы по мѣрѣ того, какъ онъ ближе присматривается къ разнымъ установившимся литературнымъ репутаціямъ. Если пессимизмъ есть неизбѣжный удѣль всѣаго вообще, кто ближе знакомится съ людьми, то еще горьшее разочарованіе ждетъ насъ, если эти люди не кто нибудь такіе, а писатели, глашатаи добра по профессії, пророки правды по основному назначенію своему. Сколько ложныхъ репутаций, сколько мишурь вмѣсто золота, сколько фразерства вмѣсто дѣйствительныхъ убѣждений, сколько праздной болтовни и драпировки, вмѣсто дѣйствительнаго желанія слѣдовать проповѣдуемымъ принципамъ!

Но ни къ одной изъ этихъ категорій даже близко не подходитъ Конст. Сергеевичъ. Въ его лицѣ мы имѣемъ дѣло съ пророкомъ настоящимъ, до мозга костей воодушевленнымъ своими идеями, съ глашатаемъ правды, понимаемой имъ, конечно, по своему, но исповѣдуемой имъ съ такою горячею искренностью, съ такою святою чистотою, что онъ будять хорошія чувства въ каждомъ, кто приходитъ съ ними въ соприкосновеніе. И вотъ почему литературная дѣятельность Конст. Аксакова не замыкается, по нашему мнѣнію, тѣснымъ кругомъ славянофильской доктрины, а имѣеть значеніе для всей русской литературы вообще. Главное назначеніе литературы— порождать честныя стремленія, а въ какихъ формахъ такія, разъ пробужденныя, стремленія впослѣдствіи проявятся— это, право, детали второстепенного значенія. Мы глубоко убѣждены, что истинно-честные и добрые люди, не прикрывающіе разными принципами какія-нибудь низменныя побужденія, никогда вреда не принесутъ, къ какой партии они-бы ни принадлежали и къ какому «толку» они-бы себя не причисляли. Люди, искренно-желающіе добра своей родинѣ, всегда стѣумѣютъ столковаться и, стремясь къ нему даже съ разныхъ теоретическихъ точекъ зрѣнія, на практикѣ придутъ къ однѣмъ и тѣмъ-же вѣковѣчнымъ началамъ, которымъ живо и движется впередъ человѣчество. Чтобы не ходить далеко за примѣрами, возьмемъ

редакціонныя комиссіи по крестьянскому дѣлу, гдѣ честные славянофилы въ родѣ Юрия Самарина, расходясь въ частностяхъ, въ общемъ шли къ такой-же цѣли, какъ и люди «крайняго» и западническаго «Современника».

Аксаковъ, Иванъ Сергеевичъ †) младшій сынъ Сергея Тимофе-

†) Уже при жизни Ив. Аксакова, число біографическихъ указаний о немъ было весьма значительно. Правда, сколько-нибудь обстоятельной статьи объ немъ мы не знаемъ ни одной, но за то краткія біографическія данные объ Ив. Сергеевичѣ можно было найти рѣшительно во всѣхъ справочныхъ изданіяхъ, какъ русскихъ, такъ и иностраннѣхъ. Какъ на наиболѣе подробнѣй изъ этихъ не большихъ и потому сдавали достойныхъ регистрированій указаний, отмѣтимъ 2 столбца, отведенныя Аксакову *Mих. Ил. Михайловымъ* въ «Энц. Слов.» изд. рус. пис. и учеными въ 60-хъ г.г., столько-же приблизительно столбцовъ, удѣленныхъ ему *Де-Губернатисомъ* въ его «Dizionario dei scrittori contemporanei». Изъ русскихъ и славянскихъ иллюстрированныхъ изданій 70-хъ и 80-хъ г.г. рѣдкое не давало портрета Ив. Сергеевича.

Но если такимъ образомъ полный біблиографіческій перечень всѣхъ біографическихъ указаний объ И. Аксаковѣ былъ бы весьма значителенъ при жизни И. С., то уже послѣ смерти его онъ сталъ-бы просто необъятнымъ, потому что, можно прямо сказать, ни одно изъ многихъ тысячъ periodическихъ изданій, издающихся въ разныхъ частяхъ свѣта, не прошло молчаніемъ кончины всемирно-запоминатаго славянофилы. Какъ и всегда подавляющее большинство этихъ некрологическихъ статей повторяютъ данные справочныхъ изданій и очень мало любопытны. Но есть тутъ и много содержательнаго, которое мы и отмѣтимъ. Включаемъ въ нижеслѣдующій списокъ и нѣкоторыя статьи, вызванныя изданіемъ сочиненій И. С.

- 1) *К. П.* въ «Гражданинѣ» № 14. 2) «Новое Время» № 3563 (А. Суворина?), 3581, 3584. 3) *Т. Флоринскій*, въ «Кievлянинѣ» № 25 и 26. 4) *Н. А.* въ «Рус. Курьерѣ» № 28. 5) *Ор. Ф. Миллеръ*, въ «Рус. Старинѣ» № 3. 7) *Н. Страховъ* въ «Нов. Вр.» № 3599. 7) «Новор. Телеграфъ» № 3274. 8) *Анна Евреинова* въ «Сѣв. Вѣстникѣ» № 2. 9) *П. Кулаковскій* въ «Рус. Филол. Вѣст.» № 3. 10) *А. Никольскій* въ № 3 «Истор. Вѣст.». 11) «Совр. Изв.» № 31. Статья видимо принадлежитъ *Гилярову-Платонову*. 12) «Яросл. губ. вѣд.» № 11. 12) *С. Епифановъ* въ № 33 «Совр. Изв.». 14) *А. Благородова* въ «Нов. Вр.». 15) *С. И.* въ «Нов. Вр.» № 3576. 16) «Рус. Дѣло» № 1. 17) «Вѣст. Евр.» № 3. 18) *А. Пыпинъ* тамъ-же № 8 и 1887 г. № 3. 19) *В. Модестовъ* въ «Новостяхъ» за февраль. 20) *В. Буренинъ* въ «Нов. Вр.» за мартъ. 21) *Н. Х.* въ «Нов. Вр.» за декабрь. 22) *Бестужевъ-Рюминъ* въ «Изв. Слав. Общ.». 23) *А. Молчановъ* въ «Ист. Вѣст.» № 8. 24) *Д. Языковъ* въ «Ист. Вѣст.» № 4). 25) «Ист. Вѣст.» № 6 (переписка А. съ нѣкоторыми молодыми людьми о народничествѣ). 25) *М. Гребенщиковъ* въ «Дѣлѣ» 1887 г. № 2.

Списокъ этотъ конечно очень не полонъ. Но смерть Аксакова и изданіе его сочиненій такія недавнія события, что сколько-нибудь уловительная полнота въ перечинѣ отзывовъ на нихъ почти не мыслима. Закончимъ же мы нашъ списокъ указаніемъ на разосланный «при № 33 «Руси» интересный «Сборникъ статей напечатанныхъ во различныхъ periodическихъ изданіяхъ по случаю кончины И. С. Аксакова». Въ немъ помимо первыхъ 16 № нашего перечня помѣщено около

вича, послѣдній по времени представитель московскаго кружка основателей славянофильскаго ученія, но первый между ними по всесвѣтной извѣстности и практическому вліянію. Всякая доктрина имѣеть своихъ теоретиковъ и своихъ практиковъ. Теоретики въ тиши ночей и уединеніи кабинета вырабатываютъ принципы новаго ученія, обосновываютъ его историческими, философскими и всякими иными доказательствами и именно по тому, что весь энтузіазмъ ихъ уходитъ на теоретическое обоснованіе, на изысканіе путей, при помощи которыхъ можно было бы покорить умъ читателя, у нихъ мало остается душевнаго жара для покоренія *сердца* его и оттого-то большинство общества ихъ совершенно не знаетъ. Когда умирали Кирѣевскіе, Хомяковъ за ихъ гробомъ шло нѣсколько десятковъ человѣкъ, а сочиненія ихъ, даже въ наши дни, т. е. въ эпоху сравнительно огромнаго распространенія славянофильскихъ идей, читаются болѣе, чѣмъ мало. За гробомъ же Ивана Аксакова шло болѣе ста тысячъ человѣкъ, и статьями его зачитывалась вся грамотная Россія. А между тѣмъ онъ не далъ славянофильству ни одной новой идеи, не обогатилъ запаса его доказательствъ ни однимъ новымъ аргументомъ, не выдвинулъ ни одной новой, сколько-нибудь имѣющей значеніе теоретической детали. Но практикъ въ томъ смыслѣ, что, взявши новое ученіе совершенно готовымъ и не сомнѣваясь въ его непреложности, онъ тридцать лѣтъ подъ рядъ рассматривалъ вопросы практической жизни съ точки зрењія славянофильской доктрины, точно она была собраніемъ математическихъ

сотни некрологовъ, газетныхъ замѣтокъ, стихотвореній, надгробныхъ рѣчей, воспоминаній, писемъ, отзывовъ славянскихъ и другихъ иностраннѣй газетъ и т. д.

При жизни Ив. Сергеевича появились слѣдующіе отзывы о его литературной дѣятельности:

Объ «Ієзультованіи о торюозѣ на українскихъ прмаржахъ»: 1) В. П. Безобразовъ въ „Вѣст. Геогр. Общ.“ 1857. Ч. 19 От. № 3, 2 стр. 227—242 2) И. Бабстъ въ „Атенеѣ“, 1858 № 37—38. 3) В. И. Вешняковъ въ „Вѣст. Рус. Геогр. Общ.“ 1859 Т. 25. Отд. 4, стр. 13—16. 4) М. П. Заблоцкій въ „Жур. Мин. Гос. Имущ.“ 1858; Ч. 67, отд. 3, стр. 114—125. 5) «Бібл. д. Чт.» 1858. Т. 152, отд. 6, стр. 15—31 6) М. В. въ «Моск. Вѣд.» 1858 № 113—7) „Экон. Указатель“ 1858, вып. 34 № 86, стр. 776—777. 8) „Современникъ“ 1858. Т. 71, отд. 2, стр. 174—186 9) С. Турбинъ въ «Вѣст. Промышл.» 1858 № 3 и 1860 № 2. 10) „Землед. Газ.“ 1858 № 94. 11) «Отеч. Зап.» 1859 № 2, отд. 3, стр. 57—81, 12) Н. Х. Буніе въ «28 присуж. Демидов. нагр.» стр. 95—130, 13) Д. М. въ «Жур. Мин. Нар. Пр.» 1859, ч. 101, отд. 6, стр. 1—29 и 63—88. 14) «Жур. Мин. Внутр. Дѣлъ» 1859 № 1, стр. 7—9.

О біографії Тютчева: 1) „Голосъ“ 1874 № 294, 2) М. въ „Гражданинѣ“ 1874 № 49. Относительно отзывовъ о журнальной дѣятельности Ивана Сергеевича см. приб. къ I т.

аксіомъ, практикъ въ этомъ смыслѣ, Иванъ Аксаковъ больше сдѣлалъ для торжества славянофильскихъ идей, болѣе чѣмъ всѣ теоретики - славянофилы вмѣстѣ взятые, хотя они превосходили его и широтою мысли и глубиною эрудиції. Огромный публицистический талантъ, необыкновенная сила и красота рѣчи дѣлали Ив. Аксакова въ полномъ смыслѣ этого слова пророкомъ славянофильства, о которомъ безъ всякаго риторического преувеличенія можно сказать, что онъ умѣль глаголомъ жечь сердца людей.

Иванъ Сергеевичъ Аксаковъ род. 26 Сентября 1823 г. въ селѣ Надежинѣ, Куроѣдовѣ тожъ, белебеевскаго уѣзда, уфимской губ. Какъ и въ биографіи Конст. Сергеевича подчеркнемъ, что по матери Ив. Сергеевичъ былъ внукъ плѣнной турчанки Игель-Сюмъ и повторимъ, что можетъ быть эта-то примѣсь восточной крови и сообщила ему ту страсть и энергію, которую едва-ли онъ могъ унаслѣдовать отъ мягкаго и добродушнаго Сергея Тимофеевича.

По четвертому году И. С. вмѣстѣ со всею семьею перѣхалъ въ Москву. Школьные годы свои онъ, однако, провелъ въ Петербургѣ, гдѣ учился въ только-что основанномъ тогда Училищѣ Правовѣдѣнія. При невысокомъ уровнѣ преподавательскихъ силъ Училища, Аксаковъ особенно много познаній оттуда не могъ вынести и если тѣмъ не менѣе изъ него впослѣдствіи выработался одинъ изъ наиболѣе образованныхъ русскихъ журналистовъ, то, главнымъ образомъ, благодаря высоко-интеллигентной атмосферѣ родительскаго дома, гдѣ около жившаго тамъ-же Константина Сергеевича собирался весь кружекъ «первоучителей» славянофильства. Кое-чѣмъ въ своемъ умственномъ развитіи Аксаковъ обязанъ и путешествіямъ заграницею. Изъ этихъ своихъ блужданій Иванъ Сергеевичъ съ особенностью любовью вспоминалъ путешествіе по Германіи, которую онъ, тогда молодой восторженный поклонникъ нѣмецкой литературы, наизусть знавшій Шиллера и Гете, вмѣстѣ съ Боденштедтомъ исходилъ пѣшкомъ.

Въ 1842 году Аксаковъ, окончивши курсъ Училища поступилъ на службу въ существовавшій еще тогда московскій сенатъ. Не безъ душевнаго волненія сдѣлалъ молодой правовѣдѣтъ этотъ столь обычный и естественный для всякаго дворянина тѣхъ временъ шагъ. Свидѣтельствомъ тяжелаго раздумья, которое брало его раньше, чѣмъ зачислиться въ чиновники, можетъ служить найденная послѣ его смерти полуумористическая «мистерія въ 3-хъ периодахъ» подъ названіемъ «Жизнь чиновника», написанная имъ въ годъ поступленія на службу. Сколько-нибудь замѣтнаго литературнаго значенія она не имѣть никакого, но для характеристики того, какъ серъ-

еино относился еле сошедши со школьной скамьи юноша къ предстоявшей ему дѣятельности, «мистерія» очень любопытна. Въ первомъ «періодѣ» ея дѣйствуетъ «чиновникъ будущій», онъ задается вопросомъ:

Служить? или не служить? да, вотъ вопросъ!
Какъ сильно онъ мою тревожить душу!
Не я-ль мечталъ для общей пользы жить?
Ужель теперь я свой обѣтъ нарушу?

Но службою достичну-ль цѣли я?
Но благородныхъ движенья,
Тревожная дѣятельность моя
Найдутъ-ли въ ней себѣ вознагражденье?

«Демонъ службы» напшептываетъ ему:

И начальство высшее, дорожа тобой,
Грудь украсить лентою, осѣнить звѣздой!

Не ища фортуны милости случайной,
Будешь ты дѣйствительный, будешь ты и
{тайный!}

Но другой «тайственный голосъ» говорить ему иное:

Прекрасного въ тебѣ таится много.
Ты Божьей искрой свыше надѣленъ,
И жизни пошлой битая дорога
Не твой удѣлъ: къ иному ты суждены!
Да, съ раннихъ лѣтъ жила въ тебѣ тревога,
Стремлѣніе твой волновало сонъ,
Иную цѣль, цѣль высшихъ наслажденій,
Тебѣ давно предназначалъ твой гений!
Остановись! и для мертвящей жизни
Не отдавай юладой души своей
Чтобъ не виншило поздней укоризны
Сознаніе ничтожности твоей!

На поприщѣ служебномъ для отчизны
Не будешь ты полезный и славный.
Еще въ тебѣ такъ силы свѣжіи, искры.
Ужель на нихъ надѣшишь ты оковы?
Вѣрь-же мнѣ! грядущее богато
Вознаградить тревожные года!
Ничтожныхъ выгодъ мелкая утрата
Раскаянья не вызоветъ сѣда!
Сѣда-же въ путь, съ надеждой цѣлѣй
На поприще и славы и труда!
И ты придишь, стремясь безвозвратно
И къ лучшимъ днамъ и къ цѣли благодатной.

Береть верхъ, однако, демонъ службы, хотя послѣ упорной борьбы. Во второмъ «періодѣ» этой борьбы уже нѣть. «Будущій» чиновникъ сталъ «настоящимъ» и когда «тайственный голосъ» укоризненно спрашивается его:

Это-ль дѣятельность духа
Это-ль цѣль была твоя?
Гдѣ-же движения, гдѣ-же благо

Сердца искренній призывъ
Благородныхъ душъ отвага
Прежнихъ лѣтъ твоихъ порывъ?

онъ не обращаетъ на это никакого вниманія и весь погружается въ мечты о крестѣ, который за угодливость начальству и получаетъ.

Въ третьемъ «періодѣ» нѣкогда «будущій» чиновникъ, а теперь старый «генераль», достигшій всякихъ степеней извѣстныхъ подводить подъ вліяніемъ вновь пробудившагося въ немъ «тайственного голоса» итоги своей жизни и что-же въ результатѣ оказывается:

Да! счастье пошлое судьба мнѣ даровала,
Занятья дѣльные мой изсушили умъ,
И грудь чиновника ничто не волновало:
Лишь служба-вотъ предметъ моихъ привыч-
ныхъ думъ.

А памяти мнѣ прежніе тѣ годы,
Когда быль молодъ я и на своемъ пути
Такъ смѣло выжидалъ житейскія невзгоды...
Но жизнь прожить—не поле перейти!

Душа тогда прекрасное любила
Порывы доблести миѣ волновали грудь.
Но жизнь бумажная въ ней свѣжестъ погубила
И охватилъ меня избранный мною путь.
И грустно думать миѣ, что тщетно я тру-
дила.
Что даромъ отдалъ жизнь на жертву службъ я

Что труженикомъ здѣсь вничтожимъ я
явился,
Что не своей я шелъ дорогой бытия!
Что отъ моей усердной, долгой жизни,
Отъ моего служебнаго труда,
Ни пользы никому, ни блага для отчизны,
Ни свѣтлой памяти, ни яснаго сада.

Мы нѣсколько остановились на этомъ малоизвѣстномъ юношескомъ произведеніи, потому что оно характеризуетъ необыкновенно высокій душевный строй молодого Аксакова. Въ тѣ времена, когда, не смотря на столѣтнюю давность грамоты о вольности дворянской, имѣлась специальная квалификація: «неслужащий дворянинъ» и когда особи этой породы составляли такую-же рѣдкость, какъ бѣлый слонъ или черный лебедь, всякий поступалъ на службу безъ малѣйшаго раздумья, одни для того, чтобы «числиться», другіе для того, чтобы достичь степеней извѣстныхъ. Объ, «общемъ благѣ» не думали при поступленіи на службу не только люди средняго калибра, но даже люди высшихъ умственныхъ и нравственныхъ требованій. Одно едино съ Аксаковымъ поступалъ напр. на службу Тургеневъ но никакихъ, однако, сомнѣній при этомъ не испытывалъ.

За то уже и чиновникъ изъ Аксакова вышелъ и совсѣмъ-то заурядный. Какъ только онъ убѣдился, что сенатъ: я занятія его, по существу, ничто иное какъ бездушная канцелярщина И. С. пренебрегая выгодами столичной службы, началь проситься въ провинцію. Его искреннее стремленіе принести пользу родинѣ не могло удовлетвориться бумажною дѣятельностью въ столичной канцеляріи. Его тянуло къ живому, непосредственному дѣлу и, какъ у всѣхъ, впрочемъ, правовѣдовъ первыхъ выпусковъ, въ немъ глубоко сидѣло желаніе внести свѣтъ въ темное царство тогдашней юстиціи. И вотъ онъ уѣзжаетъ въ глушь, поступаетъ въ уголовную палату, сначала калужскую, а потомъ астраханскую. Какъ совершилъ вѣрно сказалъ кто-то послѣ смерти Аксакова, отѣзду его въ провинцію изъ столицы, гдѣ при огромныхъ связяхъ Сергея Тимофеевича и славянофильского кружка, онъ могъ-бы сдѣлать самую блестящую карьеру, быть своего рода хожденіемъ въ народъ.

Отдавшись дѣламъ уголовнымъ, онъ мечталъ хоть въ малой степени парализовать ту «неправду черную», которой были полны суды старого времени и отъ которой всего болѣе, конечно, страдалъ неимущій людъ. «Знавшіе Ивана Сергеевича въ эту пору его дѣятельности» сообщаютъ одинъ изъ наиболѣе обстоятельныхъ некрологистовъ Аксакова, знать, какъ томилась и мучилась молодая еще тогда душа его въ эту суровую эпоху и какъ поборалъ онъ въ себѣ

чувство личнаго отвращенія, чтобы несть эту тяжелую службу, зная, что несение этого креста ему удастся, все-таки, уменьшить хотя немногого количества обильно расточаемыхъ плетей, пролагать хотя ничтожный просторъ правдѣ и справедливости. Извѣстная литературному миру Авдотья Петровна Елагина послала ему въ этотъ періодъ его отчужденія отъ Москвы мраморное распятіе, на которомъ ликъ облеченаго терновымъ вѣнцомъ Спасителя представлялся ей особенно хорошо выражющимъ глубь нравственнаго страданія. Въ письмѣ, которымъ сопровождалась эта посылка, старая уже и тогда Авдотья Петровна писала, что, взирая на этотъ ликъ представителя высшаго страданія, она всегда вспоминала о тѣхъ внутреннихъ мукахъ, о той нравственной пыткѣ, которую приходится переживать И. С. на добровольномъ поприщѣ его служенія».

Да, невеселы были судейскія впечатлѣнія молодого правовѣда и глубокій оставили они слѣдъ въ его воззрѣніяхъ на задачи русскаго правосудія. Подъ этими впечатлѣніями сложилось «Утро въ уголовной палатѣ» и подъ ихъ - же вліяніемъ писалъ Иванъ Сергеевичъ цѣлыхъ тридцать лѣтъ спустя горячія статьи въ защиту новаго, гласного и всенароднаго суда. Ужасъ предъ нашою дoreформенною, келейною чиновницею юстиціей сидѣлъ въ немъ такъ глубоко, что не смотря на то, что въ послѣдніе годы своей жизни онъ во многомъ соприкасался со взглядами реакціонной партіи, попытки этой партіи подкопаться подъ реформенный судъ вызвали въ немъ пламенный отпоръ.

Не долго продолжалась судейская карьера Ив. Сергеевича. Скоро онъ убѣдился, что и самыя лучшія личныя намѣренія членовъ судебнаго персонала безсильны что - нибудь сдѣлать противъ цѣлой системы. Опять началъ онъ искать такой дѣятельности, при которой могъ - бы принести практическую пользу родинѣ. И вотъ въ 1848 году онъ переходить въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, чиновникомъ особыхъ порученій. Извѣстенъ типъ чиновника особыхъ порученій — этого пріятнаго во всѣхъ отношеніяхъ молодого человѣка, гордо носящаго титулъ «души общества», первого вальсера и полькера, организатора любительскихъ спектаклей и т. д. Иванъ Сергеевичъ избралъ, однако, другую часть и одну за другою выправливаетъ себѣ разныя коммандировки въ провинцію, коммандировки все очень серьезныя и требовавшія самыхъ усиленныхъ занятій. Такъ, тотчасъ по поступленіи на новую службу, онъѣздилъ по раскольничкимъ дѣламъ въ Бессарабію, а вслѣдъ затѣмъ выхлопоталъ себѣ коммандировку въ ярославскую губернію для ревизіи городскаго управления, для введенія единовѣрія и изученія загадочной

секты «бѣгуновъ». Сохранились доказательства того, какъ серьезно относился молодой чиновникъ къ взятымъ на себя порученіямъ. «Никто изъ ревизовавшихъ ни прежде, ни послѣ Ив. Сергеевича», пишетъ одинъ ярославскій старожилъ, «не представлялъ своихъ записокъ высшему начальству въ такомъ правдивомъ и изящномъ изложении всѣхъ замѣчаній и соображеній, въ какомъ получались отъ него эти записки и сообщались по порядку губернскому начальству, а черезъ него и городскимъ управлѣніямъ. Быстро и неутомимость И. С. въ работахъ ревизіонныхъ были поразительны. Онъ не знаетъ отдыха», говорилъ тогда чиновный міръ. А знаніе И. С.—чѣмъ новыхъ законовъ, частныхъ положеній и всѣхъ изданныхъ въ разное время отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ циркуляровъ изумляло даже прославленныхъ въ то время дѣльцовъ-чиновниковъ, уже посѣдавшихъ надъ практическимъ изученіемъ законовъ и циркуляровъ и надъ примѣненіемъ ихъ къ дѣламъ».

Что касается раскольническихъ порученій Ив. Сергеевича, то свидѣтельствомъ его рвения остался объемистый трудъ о бѣгунахъ, часть которого была напечатана въ «Русск. Архивѣ», 70-хъ годовъ. Мы еще вернемся далѣе къ этому изслѣдованию, теперь же отмѣтимъ, что если относительно многихъ положеній его и можно дѣлать возраженія, то, во всякомъ случаѣ, какъ докладъ чиновника онъ представляетъ собою рѣдкій образчикъ служебной добросовѣтности.

Казалось-бы, такому-то рачительному чиновнику и преуспѣвать на службѣ. Вышло, однако, не совсѣмъ такъ и административная дѣятельность Ив. Сергеевича длилась столь-же мало, какъ и судебная карьера его. Открылись за нимъ разные изъянны. Такъ, ярославскій губернаторъ сообщилъ въ Петербургъ, что молодой чиновникъ читаетъ знакомымъ какую-то подозрительную рукопись. Потребовали объясненій у Ив. Сергеевича. Онъ переслалъ рукопись, которая оказалась известною поэмою его «Бродяга». Поэму прочли и не нашли въ ней ничего предосудительного. Но тѣмъ не менѣе молодому поэту были поставлены на видъ два обстоятельства. Во первыхъ, ему письменно предложили вопросъ: «почему онъ, Аксаковъ, безпаспортиаго человѣка выбралъ себѣ въ герой?», а затѣмъ, возвращая поэму, сдѣлали при этомъ конфиденціальное сообщеніе, что «занятіе стихотворствомъ неприлично человѣку, облеченному довѣріемъ правительства». Ив. Сергеевичъ былъ, однако, другого мнѣнія и потому вышелъ вскорѣ (въ 1852 г.) въ отставку, дослужившись до чина наадворнаго совѣтника.

Вернувшись въ частную жизнь, Ив. Сергеевичъ рѣшилъ посвятить себя журнализму. Но и на этомъ пути его ждали большія

испытавія, которыя, по странному недоразумѣнію, не прекращались вплоть до самой смерти его. Не смотря на доходившую до фанатизма преданность основамъ русскаго государственного строя, ему пришлось перенести столько цензурныхъ невзгодъ, что, со стороны глядя и безъ знакомства съ характеромъ его литературной дѣятельности, это можно было принять за представителя самыхъ разрушительныхъ тенденцій.

Первая невзгода разразилась надъ Ив. Сергеевичемъ съ первыхъ-же шаговъ его на журнальномъ пріищѣ. Изъ статьи о Конст. Сергеевичѣ мы уже знаемъ исторію «Моск. Сборника» (стр. 212—213). Ив. Сергеевичъ былъ редакторомъ этого сборника и потому на него было обращено особенное вниманіе. Ему не только было предписано, какъ и остальнымъ членамъ славянофильского кружка, представлять свои произведенія для цензурированія непосредственно въ Главное Управление по дѣламъ печати, но, кроме того, его лишили права когда-бы то ни было быть издателемъ или редакторомъ журнала. Затѣмъ, когда онъ хотѣлъ было поѣхать на военномъ кораблѣ вокругъ свѣта, этому воспротивились.

Остался онъ, такимъ образомъ, ни при чемъ. Но тутъ, къ счастью для его дѣятельной натуры, подвернулось порученіе Географического Общества описать торговлю на украинскихъ ярмаркахъ. Съ радостью ухватился Ив. Сергеевичъ за это порученіе, которое такъ шло на встрѣчу его собственному желанію во всей подробности изучить русскую жизнь. Въ концѣ 1853 г. онъ уѣхалъ въ Малороссію и со свойственnoю ему энергией началъ собирать нужные свѣдѣнія. Работы было много. Приходилось самому добывать даже самые элементарныя данные, потому что существовавшіе официальные статистические материалы и не внушили довѣрія, и были очень неполны. Цѣлыя полтора года употребилъ Ив. Сергеевичъ на изученіе малороссийской торговли, что ему дало возможность изучить русскую торговлю вообще. Тутъ-то онъ впервые завелъ тѣ тѣсныя связи съ купечествомъ, которыхъ впослѣдствіи доставили ему доходное мѣсто предсѣдателя Московскаго Общества Взаимнаго Кредита.

Результатомъ командировки Ив. Сергеевича явилось объемистое «Изслѣдованіе о торговлѣ на Украинскихъ ярмаркахъ», появившееся пъ свѣтъ въ 1859 г. Оно было встрѣчено единодушными похвалами всѣй печати, а два ученыхъ собранія удостоили его почетныхъ наградъ: Географическое Общество, на свой счетъ издавшее «Изслѣдованіе», присудило Ив. Сергеевичу большую Константиновскую медаль, а Академія Наукъ (писалъ рецензію Н. Х. Бунге)—полувинную Демидовскую премію.

Относительно позднее появление въ свѣтѣ изслѣдованія Ив. Сергѣевича объясняется тѣмъ, что, собравши весь матеріалъ къ началу 1855 г., онъ окончательно обрабатывалъ его въ концѣ 1856 и началѣ 1857 года. Большую же часть 1855 г. и первую половину 1856 г. недавній этнографъ провелъ, командуя однимъ изъ отрядовъ серпуховской ополченской дружины. Не молоденькимъ записался онъ въ ополченіе—ему шель тогда 33-й годъ—и неудивительно, что многіе находили подобное проявленіе патріотизма не совсѣмъ цѣлесообразнымъ. На это Хомяковъ, особенно горячо отнесшійся къ добровольчеству Ив. Сергѣевича, обыкновенно отвѣчалъ: «нѣтъ, должно, чтобы изъ настѣ, людей слова и мысли, дѣломъ за свидѣтельствовали свое слово и мнѣніе». Возможность такого засвидѣтельствованія не преминула представиться въ самомъ непродолжительномъ времени. Правда, въ непосредственномъ «дѣлѣ» серпуховской дружины не довелось участвовать и дальше Бессарабія она не доходила. Но если назвать «дѣломъ» нравственное воздействиѳ на окружающую среду, то Ив. Сергѣевичъ заявилъ себя за времена своего ополченства «дѣлами» не маловажными. Совсѣмъ забывъ о двухъ знаменитыхъ принципахъ, которыми питается наша общественная апатія: «плетью обуга не перешибешь» и «моя хата съ краю», онъ бодро вступилъ въ бой съ «царюющимъ зломъ», какъ принято говорить въ лирическихъ стихотвореніяхъ, и, выхлопотавъ себѣ тягостную должность казначея дружины, удивилъ, по выражению одного изъ своихъ некрологистовъ, «официальный міръ мужествомъ честности. Командующій (московскимъ) ополченіемъ даже не рѣшился подписать отчетъ, представленный изумительнымъ казначеемъ, ибо отчетъ этотъ былъ въ силу великой экономіи обвинительнымъ актомъ чуть не всѣхъ другихъ поголовно. Отчетъ такъ и остался неподписанымъ, несмотря на всѣ настоянія Аксакова». «Ополченская служба Ив. Сергѣевича» сообщаетъ другой некрологистъ (Гиляровъ-Платоновъ) «сопровождалась полемикою литератора-ополченца съ командовавшимъ всею московскою дружиною графомъ Строгоновымъ. Оригинальная полемика, философская и политическая, ведшаяся подъ видомъ официальныхъ приказовъ и официальныхъ рапортовъ, гдѣ Аксаковъ—ополченецъ бытъ тотъ-же непреклонный боецъ за менѣшую братію, какъ Аксаковъ—редакторъ «Дня», «Москвы» и «Руси». Это Аксаковское вліяніе!, воскликнулъ Строгановъ, когда при распускѣ ополченія, собравъ дружину, обратился къ рядамъ съ предложеніемъ не想要ъ-ли кто изъ ратниковъ перейти въ военную службу и когда въ отвѣтъ на его слова «кто хочетъ, ребята, пусть подыметъ руку» послышался каламбуръ: «Кто-же, ваше сіятельство, на себя руку подниметъ?».

Въ мартѣ 1856 г., когда было заключено перемирие, Ив. Сергеевичъ поспѣшилъ вернуться въ Москву. Месяца чрезъ два, однако, онъ опять пойхалъ къ театру военныхъ дѣйствій, въ Крымъ, куда его пригласилъ кн. Васильчиковъ для участія въ извѣстной комиссіи, снаряженной тогда для разслѣдованія интенданскихъ подви-
говъ Затлера и К°. Поработавъ въ комиссіи нѣсколько месяціевъ. Ив. Сергеевичъ въ декабрѣ 1856 г. окончательно вернулся въ Москву.

Мы знаемъ уже, что въ 1853 г. Аксаковъ былъ лишенъ права когда-бы то ни было издавать журналъ или газету. Запрещеніе это было настолько серьезно, цензура по прежнему настолько подозрительно относилась къ мистическому демократизму славянофильского кружка, что даже прогрессивная вѣянія первыхъ лѣтъ новаго царствованія долго были бессильны сломить наложенный на Ив. Сергеевича запретъ. Вотъ почему, взявши на себя въ 1858 г. редакцію славянофильской «Рус. Бесѣды», онъ не имѣлъ возможности поставить на оберткѣ свою фамилію и официально редакторомъ журнала считался издатель его—А. И. Кошелевъ. Въ 1859 г., однако, Ив. Сергеевичу послѣ усиленныхъ стараній, удалось выхлопотать себѣ разрѣшеніе издавать еженедѣльную газету «Парусъ». Но эту газету ждала еще болѣе печальная участіе, чѣмъ «Моск. Сборникъ». Тамъ редакціи удалось, все таки, выпустить въ свѣтъ объемистый томъ, «Парусъ»-же быть прекращенъ на 2 №.

Изъ всѣхъ многочисленныхъ недоразумѣній, которыми таکъ богата журнальная карьера Ив. Сергеевича, история «Паруса», безспорно, должна быть названа недоразумѣніемъ самимъ страннымъ. Достаточно сказать, что къ числу четырехъ, крайне-неблагонамѣренныхъ и «дерзкихъ» статей, за которые газета была запрещена, была отнесена и статья Погодина по внѣшней политикѣ. Того самого Погодина, который всю свою жизнь былъ представителемъ самаго казеннаго патріотизма и который послѣ запрещенія «Паруса» послать Министру Нар. Просвѣщенія патетическое письмо, гдѣ, между прочимъ, говорилъ:

«Главное Управлениe называетъ меня неблагонамѣреннымъ. Нѣть, ваше высокопревосходительство, въ благонамѣренности я не уступлю никому на свѣтѣ. Приближаясь къ концу своего поприща, на 60 почти году, я не позволю никому относиться легко къ моей гражданской чести, которую я берегу какъ зеницу ока. Я требую суда, я прошу ваше высокопревосходительство сообщить это письмо Главному Управлению цензуры, дабы оно, разсмотрѣвъ и уваживъ предложенія мною доказательства, отмѣнило свое первое рѣшеніе, поз-

волило мнѣ перепечатать статью въ настоящемъ ея видѣ, и исходаѣствовало у Государя Императора законное для меня удовієтвореніе въ нанесенномъ мнѣ по недоразумѣнію оскорблениі».

И дѣйствительно, вся статья Погодина только и состоить, чтобы изъ самой патріотической скорби о томъ, что Англія и Франція въ ущербъ Россіи имѣютъ слишкомъ большое вліяніе на Востокѣ.

Что касается другихъ инкриминированныхъ статей, то статья напр. «Мѣщанина о мѣщанахъ» трактуетъ о такихъ несовершенствахъ мѣщанской сословной жизни, которыя не имѣютъ даже самого отдаленнаго отношенія до какой-бы то ни было «внутренней политики», а если во вступительной статьѣ № 1, есть намеки на цензуру, то такого невиннаго свойства, что цензоръ 1859 г. т. е. эпохи разгара «весеннихъ вѣяній» немогъ къ нимъ придѣться. Вотъ для иллюстраціи маленькая выдержка изъ этой статьи, почти сплошь написанной въ такомъ-же шутливомъ тонѣ:

«При всемъ нашемъ желаніи совершить спокойное плаваніе, при всемъ стараніи изучить свойства мѣстности и погоды, мы не разъ испытывали нѣчто въ родѣ кораблекрушенія, и потому, не довѣряя своему искусству и сознавая несостоятельность въ настоящемъ случаѣ всякихъ логическихъ выводовъ и соображеній, мы обращаемся простотою заклинаніемъ къ всѣмъ подводнымъ владыкамъ, духамъ и демонамъ, древнимъ и новымъ, чужимъ и доморощеннымъ, отъ Нептуна съ его трезубцомъ до русскаго синяго водяного, съ тритонами, не-реидами, русалками и со всѣмъ ихъ причтомъ: да даруютъ они намъ плаваніе ровное и безмятежное, да покоятся смиро въ своихъ кристальныхъ чертогахъ, не всплывая на верхъ, не пугая пловцовъ, не воздигая подводныхъ преградъ, а съ ними вмѣстѣ стремнинъ и водоворотовъ, всегда и вездѣ опасныхъ».

Лучшимъ доказательствомъ невинности этихъ шутливыхъ намековъ можетъ служить отношеніе къ ней мѣстной власти. Петербургское же отношеніе объясняется только неясными представлениями о сущности славянофильства. Достаточно сказать, что даже самая невинная деталь славянофильскихъ возврѣній — идея всеславянского единенія была настолько заподозрѣна въ Петербургѣ, что дала мѣсто слѣдующему эпизоду, служащему эпилогомъ исторіи «Паруса». Когда невлагода, разразившаяся надъ Аксаковскимъ органомъ, возбудила всеобщее недоумѣніе, въ соответственныхъ сферахъ начали дѣлать шаги для ослабленія этого впечатлѣнія и, между прочимъ, намекнули одному изъ близкихъ къ Аксаковскому кружку людей — Чижову, что если онъ захочетъ, ему будетъ дозволено издавать еженедѣльную-же газету и съ ктакимъ-же направлениемъ какъ

«Парусъ». Чижовъ, съ согласія Аксакова, съ радостью ухватился за это предложеніе и началъ ходатайствовать о разрѣшении издавать «Пароходъ». Разрѣшеніе не замедлило послѣдовать, но вмѣстѣ съ тѣмъ новому редактору было предложено, «чтобы идея о правѣ самобытности развитія народностей, какъ славянскихъ, такъ иноплеменныхъ, не имѣла места въ газете и все, что относится до сего предмета, было бы изъ нея исключено».

На такихъ условіяхъ Ив. Сергеевичъ не пожелалъ возобновлять «Паруса» и вернулся обратно къ редактированію «Рус. Бесѣды». Не долго, однако, пришлось ему и тутъ редакторствовать. На этотъ разъ причиной явились чисто-семейные обстоятельства. 30 Апрѣля 1859 г. послѣдовала смерть Сергея Тимофеевича и мы знаемъ уже какъ она потрясающе подействовала на Конст. Сергеевича. Могучій богатырь свалился, какъ подкошенный снопъ и незнавшій въ теченіи 40 лѣтъ своей жизни, что такое простуда «печеньгъ», какъ его прозвали доктора за желѣзное здоровье, въ два мѣсяца отъ тоски получилъ чахотку. Доктора усыпали его въ теплые края. Но можно ли было отпустить одного этого взрослого ребенка? Ив. Сергеевичъ побѣжалъ съ нимъ и не оставлялъ его до самой смерти Конст. Сергеевича на островѣ Зантѣ (декабрь 1860 г.).

Пребываніемъ заграницею Ив. Сергеевичъ воспользовался для ознакомленія съ западнымъ и южнымъ славянствомъ. Онь посѣтилъ главнѣйшіе центры европейскаго славянства и завязалъ личныя знакомства со многими изъ наиболѣе видныхъ представителей его. Какъ представителя только-что основаннаго тогда въ Москвѣ славянскаго благотворительнаго комитета его всюда встрѣчали очень тепло, въ особенности въ Бѣлградѣ.

Въ срединѣ 1861 года Ив. Сергеевичъ возвращается домой и начинаетъ хлопотать о еженедѣльной газетѣ «День». Разрѣшеніе было ему дано, но съ тѣмъ, однако, чтобы въ газетѣ не было политическаго отдѣла. Кромѣ того цензурѣ было предписано имѣть за новымъ изданіемъ особенно бдительное наблюденіе.

«День», начавшій выходить съ конца 1861 года, быстро занялъ выдающееся мѣсто въ ряду органовъ русской печати и первые годы имѣлъ до 4,000 подписчиковъ—по тому времени цифра для еженедѣльнаго изданія огромная. Много причинъ содѣствовали этому успѣху, совершенно неожиданному для славянофильскаго органа: известно, что прежніе славянофильскіе органы всѣ умирали въ такъ называемой «борьбѣ съ равнодушіемъ публики».

Одна изъ главныхъ причинъ, конечно, лежала въ первостепенномъ публицистическомъ таланѣ изданія—редактора. Читающая

Россія знала до того Ив. Сергеевича, какъ недюжинного поэта и добросовѣстнаго этнографа. «День» неожиданно показалъ въ немъ высоко-даровитаго журналиста, къ голосу которого нельзя было не прислушиваться. Глубокая искренность, въ связи съ страстью горячностью и благороднымъ энтузіазмомъ, заставляли читать его написанныя удивительно-блестящимъ и вдохновеннымъ слогомъ статьи даже людей совсѣмъ иного склада мыслей.

Однакоже, одною талантливостью успѣхъ «Дня» не можетъ быть объясненъ. Талантливость Ив. Сергеевича не уменьшилась, когда онъ издавалъ «Москву», «Москвича» и «Русь». А между тѣмъ эти газеты не имѣли и половины того успѣха, какой выпалъ на долю «Дня». Да и самыи «День» въ послѣдніе годы своего существованія не имѣлъ того количества подписчиковъ, которое имѣлъ въ первые. Значить, еще одна причина была.

Она заключалась въ томъ, что въ «Днѣ» свободолюбивыя стороны славянофильства преобладали надъ всѣми другими особенностями этого ученія.

Существенно расходясь по многимъ пунктамъ съ идеями, преобладающими въ русской интелигенціи, славянофильство въ нѣкоторыхъ вещахъ, однакоже, тѣсно съ ними соприкасается. Тамъ, где у славянофиловъ дѣло идетъ о защитѣ народа и угнетенныхъ народностей, тамъ они выступаютъ бойцами за попранныя права, тамъ, наконецъ, где они отстаиваютъ свободу слова и совѣсти, тамъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи о разногласіяхъ между славянофильствомъ и прогрессивною частью русского общества. И вотъ въ «Днѣ» именно эти-то стороны славянофильства не то, чтобы исключительно господствовали, но проявлялись довольно ярко. Аксаковъ—издатель «Руси» былъ по преимуществу глашатай русской «самобытности» и связанной съ нимъ национальной исключительности, глашатай ожесточенной вражды ко всему тому, что дорого прогрессивной части нашей интеллигенціи. Аксаковъ-же—издатель «Дня», поддавшись общему течению эпохи, рѣже направлялъ свой талантъ на бесплодную и чисто-отрицательного значенія пикировку съ «оторванными отъ почвы» прогрессистами, а предпочиталъ посвящать его положительнымъ задачамъ времени—восторженному коментированію реформъ, быстро тогда скѣдовавшихъ одна за другой. Наиболѣе горячія симпатіи «Дня» принадлежали крестьянскому дѣлу. Ни одинъ изъ органовъ тогдашней печати не посвящалъ столько мѣста выясненію разныхъ деталей, которыхъ возникли при практическомъ выполненіи крестьянской реформы. «День» славился своими обстоятельными корреспонденціями по крестьянскому дѣлу, въ кото-

рыхъ всегда отстаивались интересы мужика. По горячности тона и искренности демократизма эти корреспонденции могли быть напечатаны въ любомъ изъ прогрессивныхъ органовъ.

По другимъ вопросамъ времени «День» въ первые годы своего существованія тоже держался мнѣній, сближавшихъ его съ такими элементами, которые для Ив. Сергеевича впослѣдствіи, какъ для издателя «Руси» напр., были предметомъ очень оживленной борьбы. Такъ, даже по польскому вопросу, «День», какъ мы подробнѣе объ этомъ скажемъ въ дальнѣйшемъ изложеніи, въ 1861, 62 и началѣ 1863 г. держался такого примиряющаго направленія, что одно время многіе поляки именно въ «День» посыпали статьи, имѣвшія цѣлью выяснить разныя стороны русско-польскихъ отношеній.

Но тотъ-же польскій вопросъ, въ дальнѣйшемъ своемъ ходѣ, кореннымъ образомъ измѣнилъ общій характеръ «Дня». Наступившая, благодаря польскому восстанию, реакція захватила и Ив. Сергеевича; свободолюбивыя стороны его міровозрѣнія какъ-то отошли на второй планъ, а на первый выступили тенденціи, сдѣлавшія «День» подголоскомъ «Моск. Вѣдомостей».

Издание «Дня» продолжалось до конца 1865 года, когда Ив. Сергеевичъ прекратилъ его въ силу обстоятельствъ чисто-личного свойства. Въ цензурномъ отношеніи газета, сравнительно съ другими журнальными предпріятіями Аксакова, претерпѣвала мало незадѣгъ. Отдельные статьи, правда, запрещались цензорами «Дня» очень часто, но крупная непріятность вышла всего одинъ разъ. Это было въ юнѣ 1862 г., когда отъ Ив. Сергеевича потребовали, чтобы онъ выдалъ имя автора одной корреспонденціи, рѣзко порицавшей административные порядки въ Остзейскомъ краѣ. Ив. Сергеевичъ бралъ ответственность на себя, но этимъ не удовлетворились и онъ долженъ былъ сложить съ себя званіе редактора. На газетѣ сталъ подписываться Юрій Самаринъ, хотя фактически редакторомъ, по прежнему, оставался Ив. Сергеевичъ. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, однако, запрещеніе было снято.

Совсѣмъ иначе сложилась исторія ежедневной газеты «Москва», которую Ив. Сергеевичъ, соскучившись бездѣйствіемъ, началъ издавать уже чрезъ годъ послѣ прекращенія «Дня». «Москва» выходила съ 1 Января 1867 года по 21 октября 1868 г. значить менѣе 22 мѣсяцевъ и за этотъ короткій промежутокъ времени газета получила дѣсять предостереженій и слѣдовательно три раза была пріостановлена, первый разъ на три, второй—на четыре, третій—на шесть мѣсяцевъ. Итого, значитъ, изъ 22 мѣсяцевъ своего существованія, газета 13 мѣсяцевъ находилась въ пріостановкѣ, хотя во время

пріостановокъ «Москву» замѣнялъ «Москвичъ», выходившій, правда, подъ номинальною редакціей другого лица, но фактически редактирувавшійся Ив. Сергѣевичемъ и даже виѣшнімъ видомъ представлявшій собою полное возврощеніе «Москвы».

Мы уже сказали, что человѣкъ, незнакомый съ характеромъ литературной дѣятельности Ив. Аксакова, можетъ на основаніи его цензурныхъ невзгодъ принять его за представителя самыхъ разрушительныхъ тенденцій. Такое заключеніе должно въ особенности относиться къ «Москвѣ», которая, по обилію постигшихъ ее за такой короткій промежутокъ административныхъ взысканій, занимаетъ совершенно безпримѣрное мѣсто въ исторіи русской журналистики.

Въ дѣйствительности, однакоже, цензурныя кары «Москвы» были обусловлены не неблагонамѣренностью ея, а исключительно тѣмъ, что она была *plus royaliste, que le roi*. Время изданія «Москвы» совпало съ генераль-губернаторствомъ (въ Вильнѣ) Потапова, явившагося на смѣну Муравьеву съ тенденціями примирительного характера. Съ ними-то «Москва» и повела ожесточенную борьбу. Выставивши на свое мѣсто знамени «охрану русскихъ интересовъ» и «защиту православія», Аксаковская газета съ необыкновенною рѣзкостью нападала на «антирусскую» политику администрації юго-западнаго края, на ея «угодливость» и «расшаркиваніе» предъ поляками и т. д. Съ такою-же рѣзкостью газета нападала на администрацію прибалтійскихъ губерній, гдѣ нѣмцы, въ то время имѣвшіе огромные связи въ высшихъ столичныхъ сферахъ, дѣлали все возможное для германизации края.

Впрочемъ, не только за такого рода выходки «Москву» постигали взысканія. Она отличалась вообще рѣзкимъ отношеніемъ къ бюрократіи, которую обвиняла въ исключительно-формальномъ исполненіи своихъ обязанностей, въ желаніи скрыть разныя невеселыя стороны дѣйствительности, противорѣчащія излюбленной формулы: «все обстоитъ благополучно», наконецъ въ неискренности, выражавшейся въ тѣ годы, по мнѣнію газеты, въ томъ, что бюрократія, одною рукою насаждая земскія учрежденія, другою дѣлала все для того, чтобы тормозить ихъ.

Послѣдняя пріостановка «Москвы» была вызвана нападками ея на министерство внутр. дѣлъ за то, что оно скрывало голодъ, свирѣпствовавший въ 1868 г. въ губерніяхъ крайнаго сѣвера. Пріостановливая газету на 6 мѣсяцевъ, тогдашній министръ внутр. дѣлъ Тимашевъ, вмѣсть съ тѣмъ, вошелъ, согласно теперь уже отмененной статьѣ законовъ о печати, въ 1 департаментъ сената съ представлениемъ о необходимости окончательно прекратить газету, какъ издание «вредное».

Узнавъ объ этомъ представлениі и его главномъ мотивѣ, Ив. Сергеевичъ подалъ прошеніе о дозволеніи ему представить возраженія. Разрѣшеніе послѣдовало и бывшій редакторъ представилъ краснорѣчівый докладъ, въ которомъ доказывалъ, что при его безграницной преданности основамъ русскаго государственного строя, при его пламенной приверженности идеѣ Царской власти и ея союза съ православіемъ, «Москва» могла впадать въ отдѣльныя ошибки, могла не нравиться отдѣльнымъ представителямъ администраціи, но что въ общемъ ея строго-патріотическое направление ни въ какомъ случаѣ не заслуживаетъ обидной клички «вреднаго».

Все это, однакоже, ни къ чему не привело. Такимъ образомъ Ив. Сергеевичъ опять былъ выбитъ изъ журнальной колеи и волей неволею долженъ былъ пріостановить свою литературную дѣятельность, потому что въ сотрудники чужой газеты онъ не годился, опять завести свою собственную газету ему не дозволяли, а источникъ поэтическаго вдохновенія, столь обильный въ авторѣ «Бродяги» въ годы, предшествовавшія его публицистической карьерѣ, окончательно въ немъ изсякъ еще въ самомъ началѣ 60-хъ годовъ.

Посвятилъ себя теперь Ив. Сергеевичъ практической дѣятельности. Частью для того, чтобы хоть какими-нибудь путами отстаивать дорогія ему убѣжденія, частью-же для удовлетворенія своихъ материальныхъ потребностей, которыхъ сдѣлялись въ особенности настоятельными съ тѣхъ поръ какъ онъ женился въ концѣ 60-хъ годовъ на дочери известнаго поэта Тютчева, Фрейлинѣ Аннѣ Федоровнѣ. Для первой изъ этихъ цѣлей Ив. Сергеевичъ ретивѣе прежняго начинаетъ заниматься дѣлами московскаго славянскаго комитета, для второй—поступаетъ на службу во 2-е Московское Общество Взаимнаго Кредита на видное и многими тысячами оплачиваемое мѣсто предсѣдателя совѣта.

По поводу банковской службы Ив. Сергеевича одинъ изъ наиболѣе рѣзкихъ поклонниковъ только-что умершаго тогда публициста—А. Молчановъ, въ одномъ изъ наиболѣе прославлявшихъ Алексакова журналовъ—«Историческомъ Вѣстникѣ», писалъ:

«Сколько разъ слово «банкъ» бросалось въ лицо И. С. какъ обида, оскорблѣніе и упрекъ. Быть на издивеніи у купцовъ, да еще банкировъ—какой позоръ для публициста!—говорили не только недруги, но и друзья И. С.; но что-же долженъ дѣлать публицистъ и поэтъ, для котораго закрыты всѣ двери, имѣнио потому, что онъ проповѣдникъ принциповъ, которыми не можетъ поступиться? Онъ много разъ пробовалъ издавать газету и журналъ. Публика давала плохой доходъ, потому что публика наша малограмотная, а жизнь наша еще не выработала въ обществѣ достаточной потребности къ духовной пищѣ. Власть съ своей стороны запрещала изданіе. Идти на службу государственную, увы, и тутъ были эти непре-

одолимыхъ препятствія. Первое—чинъ титулярного (надворного) советника, съ которымъ можно лишь прислуживаться, но не служить. Я живо помню, что въ короткіе дни министерства гр. Игнатьева былъ вопросъ о предложении И. С. мѣста государственного значенія, разбившійся именно обь это первое препятствіе: «нельзя и предлагать Аксакова, онъ титулярный (надворный) советникъ».

Въ дальнѣйшемъ изложеніи своихъ воспоминаній объ Аксаковѣ г. Молчановъ сообщаетъ: «обязанности Ив. Сергеевича въ банкѣ, очевидно, были только формального свойства». Такія-же оговорки мы встрѣчаемъ во всѣхъ дружественныхъ Ив. Сергеевичу некрологахъ. Его поклонники этимъ хотятъ умалить значеніе непріятнаго имъ факта банковской службы Ив. Сергеевича. Но не замѣчаютъ они, что всѣ такого рода оговорки не только не скрашиваютъ, а напротивъ того бросаютъ тѣнь на нравственный характеръ покойнаго публициста. Если его обязанности были исключительно «формального» свойства, если, какъ сообщалось во многихъ некрологахъ, они ограничивались «подписьваніемъ» бумагъ, то значитъ Ив. Сергеевичъ занималъ синекуру. Хорошее выходитъ оправданіе!

Въ дѣйствительности оно, кажется, было не совсѣмъ такъ. По крайней мѣрѣ, на собраніи выборныхъ московскаго купечества 18 февраля 1886 года говорилось слѣдующее:

«Съ 1874 г. предсѣдателемъ правленія Московскаго Купеческаго Общества Взаимнаго Кредита состоялъ покойный И. С. Аксаковъ. Въ періодъ этого времени обороты сказанного общества все болѣе и болѣе расширялись, довѣріе къ нему крѣпло, и въ настоящее время оно занимаетъ видное мѣсто въ ряду другихъ находящихся въ Москвѣ частныхъ кредитныхъ учрежденій. Такимъ упроченнымъ своимъ положеніемъ Общество Взаимнаго Кредита обязано главнымъ образомъ дѣятельности покойнаго Ивана Сергеевича Аксакова и высокому общественному къ нему довѣрію».

Дѣятельность Ив. Сергеевича въ Славянскомъ Комитетѣ началась еще при самомъ основаніи его въ 1858 г. Онъ былъ первымъ секретаремъ этого вначалѣ чисто-благотворительнаго учрежденія. Съ ростомъ такъ называемой «славянской идеи», росло значеніе московскаго Славянского Комитета, и вмѣстѣ съ тѣмъ росло участіе въ дѣлахъ его Ив. Сергеевича. Мало по малу онъ становится центромъ всего дѣла, такъ что общественное мнѣніе, какъ въ Россіи, такъ и заграницею начинаетъ смѣшивать комитетъ и личность Аксакова въ одно понятіе. Пожалуй оно такъ и было. Помимо того, что послѣ смерти Конст. Сергеевича, Хомякова и Кирѣевскихъ, Ив. Сергеевичъ остался почти единственнымъ представителемъ старого, правовѣрнаго славянофильства, онъ не могъ не

занять первенствующаго положенія въ комитетѣ уже и потому, что въ высокой степени обладать даромъ краснорѣчія. Это былъ первоклассный ораторъ во всѣхъ отношеніяхъ, въ которомъ высота по мысловъ и блескъ изложения соединялись въ одно стройное и прекрасное цѣлое. Нельзя безъ глубокаго удивленія читать рѣчи Аксакова. Въ стилистическомъ отношеніи онъ сдѣлали бы честь самому лучшему писателю. Лучшему же писателю не стыдно просидѣть нѣсколько дней надъ такою отдѣлкою, какая встрѣчается въ рѣчахъ Ив. Сергеевича. А между тѣмъ многія изъ рѣчей Аксакова говорились почти экспромтомъ и безъ малѣйшаго намека на какой-бы то ни было конспектъ. И если прибавить, что у Аксакова были всѣ видѣнія данныхъ хорошаго оратора: могучій голосъ, богатырская фигура, величественные жесты и унаслѣдованный отъ отца замѣчательная декламаторскія способности, то намъ не трудно будетъ понять, почему онъ всегда производилъ потрясающее впечатлѣніе на своихъ слушателей.

Кульминаціоннымъ пунктомъ ораторской дѣятельности Ив. Сергеевича были годы 1875—1878. Нечего много распространяться о томъ, что это были за годы для славянской идеи. Герцеговинское восстаніе, Сербская война съ ея добровольческимъ движеньемъ, на конецъ напа собственная война изъ за освобожденія Болгаръ, все это довело идею славянского единенія до такого напряженія, котораго она никогда уже болѣе не достигала ни до того, ни послѣ. Смолкли прежнее враждебное отношеніе ко всему, исходящему изъ славянофильскихъ кружковъ и, можно сказать, всѣ слои русскаго общества слились въ одномъ общемъ чувствѣ искренней братской пріязни къ угнетенному славянству.

Естественное руководительство всѣмъ этимъ возбужденіемъ должно было выпасть на долю славянскихъ комитетовъ, куда стали стекаться сотни тысяч рублей и являться сотни людей съ предложеніемъ своихъ личныхъ услугъ. Больше другихъ собиралъ московскій комитетъ, предсѣдателемъ котораго въ то время былъ Ив. Сергеевичъ. Его имя болѣе всего одушевляло жертвователей, контингентъ которыхъ въ значительной степени рекрутировался изъ непосредственныхъ слушателей его рѣчей и тѣхъ, кому попадались вдохновенные импровизаціи Ив. Сергеевича въ печати.

Эти-то годы 1875—1878 должны считаться кульминаціоннымъ пунктомъ славы Аксакова. Значеніе его приняло огромные размѣры. Про Виктора Гюго говорили, что онъ во Франціи составляетъ не лицо, а цѣлое учрежденіе. Еще съ большими правомъ это можно было сказать про Аксакова въ эпоху славянского возбужденія. Въ

России, где государственные вопросы всегда решаются въ официальныхъ сферахъ, голосъ Аксакова, надворного советника въ отставкѣ, вдругъ пріобрѣлъ такое влияніе, что каждое слово его являлось политическимъ событиемъ. О каждой рѣчи его летѣли телеграммы во всеи концы міра и вся западная печать гадала по нимъ о тѣхъ или другихъ предстоящихъ шагахъ русской политики. Когда Аксаковъ умеръ, въ большинствѣ западно-европейскихъ некрологовъ, посвященныхъ его памяти, прямо говорилось, что послѣдняя война наша съ турками была всецѣло дѣломъ рукъ московского публициста. Это, конечно, не много преувеличено. Войну 1877—78 г.г. создали цѣлый рядъ обстоятельствъ. Но что въ ряду такихъ «обстоятельствъ» однимъ изъ рѣшающихъ моментовъ были пламенные рѣчи и воззванія Ивана Сергеевича—въ этомъ едва-ли станеть сомнѣваться кто-нибудь изъ переживавшихъ эпоху славянскаго возбужденія и знающихъ, следовательно, по личному опыту, какой немыслимый слѣдъ оставляли тогда въ умахъ и сердцахъ горячіе призывы Аксакова и какое они поселяли во всѣхъ желаніе спасти южное славянство отъ турецкаго ига.

Но тѣ-же горячіе призывы Ив. Сергеевича были для него лично причиною весьма крупной непріятности, приключившейся съ нимъ въ іюнѣ 1878 г. Въ это время, какъ извѣстно, происходилъ печальной памяти берлинскій конгресъ. Мирный трактатъ еще не былъ ратифицированъ, но уже содержаніе его было установлено почти окончательно и, какъ выражался Ив. Сергеевичъ, «корреспонденціи и телеграммы ежедневно, ежечасно, на всѣхъ языкахъ, во всеи концахъ свѣта разносили изъ Берлина позорныя вѣсти о нашихъ уступкахъ». Не могъ перенести Ив. Сергеевичъ этого «надругательства» надъ Россіею, онъ находилъ «что щеки пылаютъ у Россіи отъ получаемыхъ ею пощечинъ» и въ засѣданіи московскаго Славянскаго Комитета отъ 22 іюня 1878 г., разразился самую пылкою изъ всѣхъ своихъ рѣчей, въ которой далъ полную волю своему патріотическому негодованію. «Мы собрались сегодня,—говорилъ онъ,—хоронить миллионы людей, цѣлые страны, свободу Болгаръ, независимость сербовъ, хоронить великое, святое дѣло, завѣты и преданія предковъ, наши собственные обѣты, хоронить русскую славу, русскую честь, русскую совѣсть». Но почему-же дѣло приняло такой оборотъ? Развѣ «пламенные турецкія арміи подъ Плевной, Шибкой и на Кавказѣ, зимний переходъ русскихъ войскъ черезъ Балканы и геройскіе подвиги нашихъ солдатъ, потрясшіе міръ изумленіемъ, торжественное шествіе ихъ вплоть до Царьграда, эти необычайные победы, купленные десятками тысячъ русскихъ жизней, эти несметные жертвы,

принесенный русскимъ народомъ, эти порывы, это священнодѣйствіе народнаго духа,—развѣ все это сказки, миѳъ, порожденіе распаденной фантазіи, можетъ быть даже «измышеніе московскихъ фанатиковъ»? «Ты-ли это, Русь-побѣдительница, сама добровольно разжаловавшая себя въ побѣженную? Ты-ли на скамьѣ подсудимыхъ, какъ преступница, каешься въ святыхъ, подъятыхъ тобою трудахъ, молишь простить твои побѣды?.. Едва сдерживая веселый смѣхъ, съ презрительною ироніей, похваливая твою политическую мудрость, западныя державы, съ Германіей впереди, нагло срываются съ тебя побѣдный вѣнецъ, преподносятъ тебѣ взамѣнъ шутовскую съ гремушками шапку, а ты послушно, чуть-ли не съ выраженіемъ чувствительнѣйшей признательности, подклоняешь подъ нее свою многострадальную голову!..» Но не хочетъ всему этому повѣрить ораторъ. «Ложь» восклицаетъ онъ. «Если въ такомъ чудовищномъ образѣ и представляется Россія изъ берлинскихъ писемъ и телеграммъ, то самая чудовищность служить лучшей порукой, что этому не бывать». «Какихъ-бы щедрыхъ уступокъ, во вредъ Россіи и къ выгодѣ нашихъ враговъ, ни натворили русскіе дипломаты, развѣ Россія, въ лицѣ Верховнаго представителя, сказала свое послѣднее слово? Не вѣримъ, чтобы всѣ эти щедроты на счетъ русской крови и чести были одобрены высшою властью; не вѣримъ и не повѣримъ, пока не появится о томъ офиціальное правительственное извѣщеніе. Но даже и предположить подобное извѣщеніе было-бы преступленіемъ противъ достоинства власти!»

Вслѣдъ за этимъ ораторъ приступилъ къ анализу «колосальнаго абсурда и ошеломляющей нелѣпости» рѣшеній конгресса. Изъ-за чего возгорѣлась война? «Изъ-за повальной рѣзни, совершенной надъ населеніемъ Южной Болгаріи». И что-же? Теперь «съ соизволенія той-же самой великодушной избавительницы—Россіи, какъ по живому тѣлу распиливается Болгарія на двѣ части, и лучшая, плодороднѣйшая ея часть, забалканская, та именно, которая наиболѣе истерзана, изъязвлена, осрамлена турецкими звѣрствами, возвращается въ турецкое рабство!.. Русскія-же побѣдоносныя войска, тѣ самыя, что цѣною своей крови добыли свободу южныхъ Болгаръ, приглашаются вновь закрѣпостить ихъ побѣженному извергу, собственоручно отвести христіанскихъ женъ на поруганіе, дѣтей на посрамленіе, всѣхъ на лютую турецкую месть за то, что вѣрили въ русскую власть, за братское сочувствіе къ русскимъ». На такую комбинацію могла согласиться только ненавистная оратору порода русскихъ дипломатовъ. «Слово нѣмѣеть, мысль останавливается, пораженная, предъ этимъ колородствомъ русскихъ дипломатическихъ

умовъ, предъ этою грандіозностью раболѣства! Самый злѣйшій врагъ Россіи и престола не могъ-бы изобрѣсть чего-либо пагубнѣе для нашего внутренняго спокойствія и мира. Воть они наши настоящіе нигилисты, для которыхъ не существуетъ въ Россіи ни русской народности, ни православія, ни преданій, которые, какъ и нигилисты въ родѣ Боголюбовыхъ, Засуличъ, и К—ія, одинаково лишены всякаго историческаго сознанія и всякаго живого национальнаго чувства. И тѣ, и другіе—иностранцы въ Россіи и поютъ съ чужаго европейскаго голоса; и тѣ и другіе чужды своему народу, смотрѣть на него какъ на *tabula rasa*, презираютъ его органическія, духовныя начала, стараются сдвинуть его съ пути, заповѣданнаго ему исторіей и направлять насильственно на путь противостоятельный... Всѣ они близкая другъ другу родня, порожденіе одного сѣмени, хотя и различествуютъ между собою бытъ, воспитаніемъ, нравами, доктринаами и главное—степенью самосознанія... Предоставляю вамъ самимъ рѣшить, кто-же, однако, изъ нихъ: сознательныхъ и безсознательныхъ, грубо анархическихъ или утонченныхъ государственныхъ нигилистовъ въ сущности опаснѣе для Россіи, для ея народнаго и духовнаго преуспѣянія и государственаго достоинства». Благодаря всему этому «весь конгрессъ есть ничто иное, какъ открытый заговоръ противъ русскаго народа. Заговоръ съ участіемъ самихъ представителей Россіи!» Выходъ ораторъ тутъ видѣлъ только одинъ:

«Что-бы не происходило тамъ на конгрессѣ, какъ-бы ни распиналась русская честь, но жить и властеть ея вѣчный Оберагатель, Онъ-же и иститѣль! Если въ насть, при одномъ чтеніи газетъ, кровь закипаетъ въ жилахъ, что же должно испытывать Царь Россіи, несущій за нее отвѣтственность предъ исторіей? Не онъ-ли самъ назвалъ дѣло нашей войны «святымъ»? Не онъ-ли, по возвращеніи изъ-за Дуная, объявилъ торжественно привѣтствовавшимъ его депутатамъ Москвы и другихъ русскихъ городовъ, что «святое дѣло будетъ доведено до конца?» Страшны ужасы браны, и сердце Государя не можетъ легкомысленно призывать возобновленія смергей и кровопролитія для своихъ самоотверженныхъ подданныхъ,— но не уступками, въ ущербъ чести и совѣсти, могутъ быть предотвращены эти бѣдствія. Россія не желаетъ войны, но еще менѣе желаетъ «позорнаго мира. Спросите любого русскаго изъ народа, не предпочтѣть-ли онъ биться до истощенія крови и силъ, только-бы избѣжать срама русскому имени, только-бы не стать предателемъ христіан-братьевъ».

Несокрушимъ и непобѣдимъ Русскій Царь, если только Онь, съ ясностью историческаго сознанія, съ твердою вѣрою въ предназначеніе своего народа, отложивъ въ сторону попеченіе объ интересахъ западно-европейскихъ державъ интересахъ своеокорыстныхъ, а намъ враждебныхъ воздѣнетъ, по выражению нашихъ древнихъ грамотъ, «высоко, грозно и честно» въ своей длані знамя Россіи—онъ-же знакъ славянъ и всего восточнаго христіанства!

Волнуетъ, ропщетъ, негодуетъ народъ, смущаемый ежедневными сообщеніями о берлинскомъ конгрессѣ и ждетъ, какъ благой вѣсти, рѣшенія свыше. Ждетъ и надѣется. Не солжетъ его надежда, потому что не преломится Царское слово: «святое дѣло будетъ доведено до конца».

Долгъ вѣрноподданныхъ велить всѣмъ надѣяться и вѣрить,—долгъ же вѣрноподданныхъ велить намъ и не безмолствовать въ эти дни беззаконія и неправды, воздвигающихъ средоточія между Царемъ и землю, между царскою мыслью и землею, между царскою мыслью и народною думой. Ужели и въ самомъ дѣлѣ можетъ раздаться намъ сверху въ отвѣтъ внушительное слово: «молчите честныя уста! гласите лишь вы, лесть да кривда!»

На современного читателя вся эта наиболѣе нашумѣвшая изъ рѣчей Ив. Сергеевича особеннаго впечатленія произвести не можетъ. Вспоминается ему съ одной стороны, что «лютая казнь», подъ которую «подпала» созданная конгрессомъ Восточная Румелія, была въ дѣйствительности полной автономіей, между тѣмъ какъ въ «свободности» Болгаріи Батенбергъ, безъ малѣйшаго протеста со стороны москвича, скаго славянофильства, уничтожилъ конституцію, въ вѣрности которой торжественно клялся. Вспоминается затѣмъ современному читателю, что когда филиппопольская революція осуществила завѣтные желанія только-что приведенной рѣчи и «святое дѣло» было доведено до конца т. е. «распиленная какъ-бы по живому тѣлу» Болгарія возвсединилось въ одно цѣлое, то именно Иванъ-то Сергеевичъ съ особенною злобою отнесся къ этому факту. Почему онъ отнесся съ такою злобою, будеть видно изъ иаложенія политическихъ взглядовъ Ив. Сергеевича, гдѣ мы постараемся доказать, что онъ былъ не столько славянофиль, сколько руссофиль и что онъ заботился не столько о благоденствіи славянскихъ народовъ, сколько о величинѣ и престижѣ Россіи. Какъ-бы тамъ однако ни было, повторяемъ, что въ виду событий позднѣйшихъ лѣтъ современный читатель не можетъ вполнѣ сочувствовать той скорби, которою проникнута рѣчь. Но въ то время, когда оскорбления, нанесенные нашему національному самолюбію конгрессомъ, были ясны и безъ всякихъ коментарievъ, рѣчь Аксакова должна была произвести огромную сенсацію какъ въ публикѣ, такъ и въ административныхъ сферахъ. Въ особенности въ послѣднихъ, гдѣ, правда, никто не сомнѣвался въ томъ, что Ив. Сергеевичъ говорилъ подъ диктовку самой горячей преданности основамъ русскаго государственного строя, но гдѣ не привыкли, чтобы наши actualit  s были обсуждаемы съ подобною рѣзкостью и страстью. Всего-же важнѣе были затрудненія, которыхъ она создавала въ положеніи и безъ того достаточно тягостномъ, и вотъ почему эта рѣчь, которая въ настоящее время безпрепятственно напечатана въ I т. сочиненій Ив. Сергеевича, въ

1878 году привела къ тому, что московский комитетъ былъ закрытъ, а Ив. Сергеевичъ долженъ быть оставить Москву.

Онъ поселился въ селѣ Варваринѣ, юрьевскаго уѣзда, владимирской губ., принадлежавшемъ родственницѣ его жены Анны Федоровны. Какъ ни тяжело ему было сознаніе опалы, тѣмъ не менѣе, какъ сообщаетъ близко знавшій его въ это время свящ. Благонравовъ, «по душѣ пришлось И. С. мирная сельская жизнь въ укромномъ и миломъ Варваринскомъ пріютъ». Послѣ тяжелаго и утомительного труда ему нужень было покой и физический, и нравственный. «Здѣсь на просторѣ, говорилъ онъ, я буду имѣть возможность разобраться въ моихъ воспоминаніяхъ». Скучать ему не приходило, да и некогда было: время все было распределено для занятій. Кромѣ составленія записокъ, относящихся къ эпохѣ борьбы Россіи съ Турціей, онъ велъ огромную переписку. Къ нему присыпалась масса писемъ изнутри Россіи и къ славянскихъ земель».

Къ эпохѣ варваринскаго пребыванія Ив. Сергеевича относится кандидатура его на болгарскій престолъ, выдвинутая нѣсколькими болгарскими избирательными комитетами, кандидатура, правда, не имѣвшая никакого серьезнаго политическаго значенія, но тѣмъ не менѣе свидѣтельствовавшая о широкой популярности недавняго предсѣдателя московскаго славянскаго комитета.

Недолго продолжалась ссылка Ив. Сергеевича. Ему не трудно было доказать, что рѣзкости его рѣчи проистекали не отъ недостатка благонамѣренности, а напротивъ того отъ избытка ея, и уже въ декабрѣ 1878 года Ив. Сергеевичъ возвращается въ Москву. Но на поприще общественной дѣятельности онъ возвращается не раньше конца 1880 года, когда события вновь пробудили въ немъ жилку журнализа. Онъ подалъ прошеніе о разрѣшениі ему издавать еженедѣльную газету «Русь» и времена стояли тогда такія, что разрѣшеніе это, не смотря на то, что оно давалось бывшему редактору «Москвы», послѣдовало въ теченіи одного дня.

«Русь» начала выходить въ ноябрѣ 1880 г. Всѣ ожидали ее съ большімъ интересомъ. Думалось, что именнотеперь-то газета Аксакова выступить съ тѣми требованіями славянофильскаго міровоззрѣнія, которыя прежде славянофильству не удавалось развить въ полной мѣрѣ по причинамъ отъ него независѣвшимъ. Ожиданія эти, однако, совсѣмъ не сбылись. Давая общую характеристику «Руси» за всѣ пять лѣтъ ея существованія, можно сказать, что въ такой-же степени, въ какой «День» былъ выразителемъ свободо-любивыхъ и народо-любивыхъ стремленій славянофильства, въ такой-же степени

«Русь» была по преимуществу представительницей тѣхъ сторонъ славянофильского ученія, которыми оно тѣсно примыкаетъ къ византизму и квасному патріотизму. Только изрѣдка «Русь» обмолвливалась горячею тирадою о свободѣ слова и совѣсти, о благодѣтельности гласнаго суда и т. п. Большею-же частью она занималась борьбою съ петербургскимъ «либерализмомъ», что едва-ли было особенно по сезону, съ «интеллигенціей» вообще, что тоже едва-ли было особенно своевременно и тому подобными вопросами, о которыхъ, кажется, смѣло можно сказать, что они въ годы 1881—85 гг. совсѣмъ не нуждались въ такомъ ожесточенномъ обсужденії. Если-же и нѣкоторые дѣйствительно жгучіе вопросы обсуждались на страницахъ «Руси», то въ такомъ странномъ освѣщеніи, которое непріятно коробило всѣхъ помнившихъ прежнюю публицистическую дѣятельность Ив. Сергеевича. Такъ напр. въ первомъ-же № «Руси» была напечатана многонашумѣвшая статья Дмитрія Самарина, въ которой серьезно доказывалось, что весь вопросъ о малоземельи выдуманъ фрондерствомъ либераловъ.

Подобные статьи не могли содѣйствовать успѣху «Руси». До выхода первыхъ номеровъ она пріобрѣла было много подписчиковъ, привлеченныхъ объявленіемъ Ив. Сергеевича, въ которомъ говорилось, что надо «наконецъ, внести правду въ русскую жизнь и возвратить ей свободу органическаго самороста». Но всѣ такие обманувшиеся подписчики быстро ушли и неуспѣхъ газеты даже въ кругахъ, доброжелательно относящихся къ славянофильству, обрисовался очень ясно. Весьма опредѣленная указанія объ этомъ неуспѣхѣ мы находимъ въ некрологѣ Аксакова, написанномъ близайшимъ сотрудникомъ Ив. Сер.—редакторомъ газеты «Русское Дѣло», которая смѣнила собою «Русь». Приводимъ его свидѣтельство, въ которомъ негодованіе дѣлаетъ особенно цѣннымъ сообщаемыя имъ свѣдѣнія о многихъ сторонахъ литературной исторіи «Руси».

«Со второго же года изданія «Руси» оказалось, что людей смотрящихъ, строго и трезво (?) на русскую дѣйствительность вмѣстѣ съ Аксаковымъ слишкомъ не много. Общество не привыкшее къ простой и серіозной русской мысли и ждавшее отъ «Руси» эффектной борьбы съ существующимъ порядкомъ вещей, той страстной и смѣлой борьбы, которая велась въ «Москвѣ» и «Москвичѣ», разочаровалось Аксаковъ, при всемъ невысокомъ мнѣніи оставшемъ у дѣль консерватизмѣ, не объявилъ ему открытой войны... Правильно это было или нѣтъ, пока не будемъ судить, но несомнѣнно, что это обстоятельство было одной изъ причинъ, обусловливавшихъ неуспѣхъ «Руси» даже у людей, способныхъ выслушать и прочувствовать сердцемъ русское слово.

Нечего и говорить, что наша такъ называемая либеральная печать постаралась извлечь изъ этого нежеланія борьбы все, что могла и не замедлила пропричать о союзѣ «Руси» съ органами край资料 of консерватизма.

До самого послѣдняго времени оставался Аксаковъ на избранной имъ позиціи. Его увлекло въ борьбѣ лишь вновь обѣщавшее возгорѣться славянское движение. Больше всего ему было видѣть рѣзкую перемѣну фронта въ консервативномъ лагерѣ, его покорное отиошеніе къ Берлину, и вотъ когда рѣшилъ онъ порвать съ нимъ, не скажемъ союзъ, такого никогда не было, но вѣжливо—дипломатическая отиошенія съ стороны «Руси», на которыхъ другая сторона отвѣчала злымъ и угрюмымъ молчаніемъ.

И—такова публика! Съ того момента, какъ въ Аксаковѣ вновь пробудился оскорбленный трибуналъ, его вліяніе и усилѣхъ газеты удесятерились... это было почти накалуны кончины Аксакова!».

Обстоятельства, на которыхъ намекаютъ послѣднія строки, состояли въ слѣдующемъ. Въ одной изъ статей по болгарскому вопросу, появившейся въ концѣ 1885 года. Ив. Сергеевичъ со своейственною ему рѣзкостью напалъ на нашу дипломатію. Онъ утверждалъ, что у заправиль нашей иностранной политики нѣтъ ни ума, ни сердца, ни совѣсти, ни чести. Подобные нападки неоднократно уже появлялись на страницахъ «Руси», все равно какъ мысли, высказанные Аксаковымъ въ рѣчи о берлинскомъ конгрессѣ, тоже не были новостью для постоянныхъ его слушателей и читателей. Но какъ и во время произнесенія рѣчи этой рѣчи, политической моментъ появленія вышеупомянутой статьи былъ затруднительный и «Руси» было дано предостереженіе, мотивированное тѣмъ, что газета «обсуждаетъ текущія события тономъ несовмѣстимымъ съ истиннымъ патріотизмомъ».

Исполняя точную букву закона, «Русь» напечатала предостереженіе безъ всякихъ оговорокъ, но въ слѣдующемъ-же № (22) Ив. Сергеевичъ помѣстилъ совершенно неслыханную по своей рѣзкости отповѣдь, на тему о томъ, что должно считаться «истиннымъ» патріотизмомъ, отповѣдь на этотъ разъ уже не по адресу дипломатовъ, а по адресу министерства внутреннихъ дѣлъ. Условія современной печати не позволяютъ намъ привести выдержекъ изъ статьи Аксакова, за которую его, вѣроятно, постигло-бы какое нибудь административное взысканіе, еслибы судьба не распорядилась иначе. Статья, о которой только-что шла рѣчь, появилась въ декабрѣ 1885 г., а 27 января 1886 года Ив. Сергеевича не стало. Его сразила болѣзнь сердца. Уже лѣтомъ 1885 г. онъ почувствовалъ, что силы его надламываются и что ему нужно отдохнуть отъ чрезмѣрного напряженія духовныхъ и физическихъ силъ. На немъ, дѣйствительно, лежало черезъ чурь много работы. Служба въ банкѣ, редактированіе «Руси», а главное дѣятельнѣшее сотрудничество въ газетѣ, гдѣ онъ въ каждомъ № помѣщалъ пространную передовую статью, и въ добавокъ еще обширнѣшая корреспонденція—все это множе-

ство работы, благодаря которой онъ простоявалъ по 6 часовъ у конторки, ни на минуту не оставляя пера, не могло не подействовать разрушительно даже на его могучій организмъ. Уступивъ увѣща-
ніямъ близкихъ людей онъ, поэтому, весною 1885 г. пріостановилъ на время издание «Руси»¹⁾ и уѣхалъ въ Крымъ. Отдыхъ подействовалъ на него благотворно. Онъ вернулся осенью въ Москву съ новыми силами и бодро взялся опять за работу. Въ головѣ его зароились разные литературные планы, онъ хотѣлъ между прочимъ приступить къ составленію своихъ воспоминаній, привести въ порядокъ семейный архивъ. Смерть такимъ образомъ застигла его совершенно въ расплохъ.

Извѣстіе о кончинѣ Ив. Сергеевича произвело впечатлѣніе рѣ-
шительно во всѣхъ кругахъ общества, какъ русскаго, такъ и за-
падно-европейскаго. Люди самыхъ разнообразныхъ направленій живо
почувствовали, что ихъ постигла незамѣнимая утрата. О привержен-
цахъ идей Аксакова уже и говорить нечего: они теряли въ немъ
вождя и вдохновеннаго пророка. Но и противники идей Ивана
Сергеевича теряли очень много съ его смертью: они лишались чест-
наго врача, человѣка, который могъ страстно и ожесточенно поле-
мизировать, но который никогда не кричалъ «слово и дѣло» и счи-
таль свободу мнѣній священнымъ правомъ гражданина и главнѣй-
шею основою общественной жизни.

Удручающее впечатлѣніе смерти Ив. Сергеевича прежде всего
выразилось въ огромномъ количествѣ телеграммъ соболѣзвованія,
полученныхъ его вдовою. Одною изъ первыхъ была телеграмма
Государя ИМПЕРАТОРА, въ которой говорилось:

«ИМПЕРАТРИЦА и Я съ душевнымъ прискорбiemъ узнали о вн-
запной смерти вашего мужа, котораго уважали, какъ честнаго чело-
вѣка и преданнаго русскимъ интересамъ. Дай Богъ вамъ силь пре-
нести эту тяжелую сердечную потерю».

Всгдѣ за Высочайшею телеграммою послѣдовали телеграммы
отъ Великой Княгини Александры Петровны, князя Николая Чер-
ниговскаго, Сербскаго митрополита Михаила, болгарскихъ митропо-
литовъ Климента и Герасима, Каравелова, гр. Игнатьева, гр. Ми-
лютина, К. П. Побѣдоносцева, мин. нар. просвѣщенія Делянова,

¹⁾ Это была уже не первая перемѣна въ ходѣ изданія «Руси». Въ 1883 г.
Ив. Сергеевичъ, чувствуя, что для тѣхъ немногихъ подписчиковъ, которые оста-
лись ему вѣрными, есть настоятельной необходимости въ частомъ появленіи га-
зеты, носившей по преимуществу теоретическій характеръ, превратилъ «Русь»
въ двухнедѣльникъ. Но въ 1885 г. онъ опять сталъ выпускать свою газету еже-
недѣльно.

344 КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

членовъ государственного совѣта Стояновскаго, Галагана, Танѣева, сенаторовъ Сабурова, Безобразова и множества другихъ чиновныхъ и нечиновныхъ, прикосновенныхъ и неприкосновенныхъ къ литературѣ, знаменитыхъ и незнаменитыхъ лицъ. За лицами послѣдовали учрежденія. Прислали телеграммы, полныя искренняго сочувствія: 2-ое отдѣленіе Академіи Наукъ, Географическое Общество, университеты кіевскій, харьковскій, одесскій, Демидовскій лицей, и болѣе двадцати пяти земскихъ собраній и городскихъ думъ. Учащаяся молодежь была представлена телеграммами правовѣдовъ, студентовъ петербургскаго университета, петербургской Духовной Академіи, Военно-Медицинской Академіи, Горнаго Института, харьковскаго университета и кіевскаго филологического факультета. Отъ петербургской и провинціальной печати было прислано 28 телеграммъ. Въ общемъ-же было получено болѣе 160 телеграммъ общественнаго и литературнаго значенія—цифра до того совершенно небывалая.

Всѣдѣль за телеграммами начались панихиды. Не было того самаго маленькаго городишкаго, гдѣ бы не устраивалось поминовенія пламеннааго публициста. Но, конечно, наибольшее торжественностью отличались столичныя панихиды. Особый отпечатокъ придавалъ послѣднимъ присутствіе лицъ, которыхъ всего меньше можно было здѣсь встрѣтить. Такъ напр. на панихиду въ Казанскомъ Соборѣ пришли отдать честь памяти Ивана Сергеевича писатели, значительная часть литературной дѣятельности которыхъ прошла въ борьбѣ съ идеями покойнаго. Тутъ были, съ одной стороны, сотрудники «Нового Времени», «Гражданина», но были тоже и сотрудники «Вѣстника Европы», «Сѣвернаго Вѣстника», «Русской Мысли».

Печатныя проявленія общественной горести, вызванной смертью Ив. Сергеевича, были столь-же единодушны. За самыми малыми исключеніями, не только славянофильствующая пресса, но и органы западническаго и прогрессивнаго направленія помѣстили некрологи самые теплые и проникнутые искреннѣйшимъ уваженіемъ къ нравственной личности редактора «Руси».

Но кульминаціоннымъ пунктомъ чувствованія памяти Аксакова были проводы его тѣла въ Троицко-Сергіевскую Лавру. При такомъ стеченіи народа въ Москвѣ хоронили только Скобелева.

Обзоръ литературной дѣятельности Ив. Аксакова см. въ концѣ настоящаго тома.

Алабинъ, Петръ Владимировичъ. Ветеранъ венгерской и крымской кампаний, для описанія которыхъ сдѣлалъ очень много ^{†)}. Началъ

^{†)} Отзывъ о «Походи. Зап.» въ «Сѣв. Пч.» 1862 г. № 159.